



БОРИС ОСТАИИИ

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ



н а п л а т ф о р м е



ИЗДАТЕЛЬСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ

letmeprint.ru

БОРИС ОСТАНИН

ТРИДЦАТЬ СЕМЬ И ДВА

Схемы, мифы, догадки, истории
на каждый день 2018 года с 7 января

Вторая половина



П А Л Ь М И Р А

Санкт-Петербург

2 0 1 7

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6
О76

Останин Б.

О76 Тридцать семь и два: Схемы, мифы, догадки, истории на каждый день 2018 года с 7 января / Борис Останин ; [сост. Б. Мартынов]. — СПб. : ООО «Издательство «Пальмира» ; М. : ООО «Книга по Требованию», 2018. — 000 с.

ISBN 978-5-521-00876-6

Продолжение книги «Тридцать семь и один» (2015). Разнообразно, любовно и в большом объёме представленные цитаты из книг, которые в 1970-80-х годах читали, писали и переводили ленинградцы-«неофициалы».

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6

© Останин Б. В., 2018
© Мартынов Б., составление,
послесловие, 2018
© Оформление.
ООО «Пальмира»,
АО «Т8 Издательские
Технологии», 2018

ISBN 978-5-521-00876-6

КНИГА - КАЛЕНДАРЬ

2018 ГОД ИЮЛЬ

Я радуюсь румянцу на щеке,
горячему неровному загару,
полыни тёплой, вянущей в руке.
На Кара-Даг зелёная отара
в завидном миролюбии бредёт,
от ветра воздух кажется упругим
и потому естественным полёт
над берегом, где водорослей дуги
сывают изумрудных крепких мух
в коричневую терпкую утробу.
Пучок полыни так горяч и сух! —
натри ладонь и оглянись вокруг,
и восхитись, и промолчать попробуй.
Вон дельтоплан неровный чертит круг,
вон рыбаков кораблик подплывает,
вон белый домик окнами на юг,
там женщина урюк перебирает.
А дельтоплана жёлтое пятно,
меняя фон, сближается с долиной,
и замерли зелёные раины,
и женщина захлопнула окно.

(Нина Самойлович, 1977)



Узник

ИЮЛЬ

2

понедельник

Простой, редко удающийся пасьянс, он не требует особых раздумий, раскладывается механически, годится для детей.

Из колоды в 36 карт выкладывают *верхний ряд* из девяти карт картинкой вверх, внизу «собачка» из трёх карт: крайние — рубашкой вверх, средняя — картинкой. На среднюю карту собирают все карты верхнего ряда того же достоинства, после чего поверх в «собачку» выкладывают новые три карты из колоды: крайние — вверх рубашкой, среднюю — картинкой, и вновь собирают на неё все карты верхнего ряда того же достоинства и т.д. Колоду раскладывают один раз. Пасьянс сошёлся, если в верхнем ряду не останется ни одной карты, что случается крайне редко. Отсюда, вероятно, название: узнику есть чем занять себя в тюрьме.

КАРТИНКА

Элегия

ИЮЛЬ

3

вторник

Кукушка о своём, а горлица — о друге
а друга рядом нет —
лишь звуки дикие гортанны и упруги
из горла хрупкого летят за нами вслед
над сельским кладбищем над смутною рекою
небес избранники гонимые грозой
к стригам и жалобам изведшим бирюзой
где образ твой невольно беспокою

нам имя вымолвить однажды не дано —
подковой выгнуто и найдено подковой
оно с дремотой знается рисковей
колечком опускается на дно
стрекошет чаемое дудкой стрекозиной

исходит меланхолией бузинной
забыто намертво и ведомо вполне —
и нет луны чтоб до дому добраться
и в сердце что не смеет разорваться
темно вдвойне

кукушка о своём, а горлица о милом —
изгибам птичьих горл с изгибами реки
ужель не возвеличивать тоски
когда воспоминанье не по силам? —
и времени мятежный водоём
под небом неизбежным затихает —
кукушке надоело о своём
а горлица ещё не умолкает.

(Владимир Алейников, 1976)

Я, разумеется, не стану утверждать, что мир устал от лжи, может быть, он лгал всегда ещё больше, чем сегодня, мне это неизвестно, но, возможно, никто никогда не видел, как циркулирует ложь. Сегодня сама ложь больна, её терзает тайная болезнь. Ту ложь, которую мы когда-то считали полной сил, цветущей, с влажными ноздрями и блестящей шерстью, всегда готовую откликнуться на первый зов, достаточно крепкую, чтобы в одиночку тащить за собой колесницу триумфатора, сегодня мы едва ли сможем признать в этом облезлом паршивом звере с жёлтыми зубами, сонно пощипывающем редкую траву на склоне горы и просыпающемся лишь от удара палки хозяина. Понятно, что я не говорю о случайной, неожиданной лжи, с грехом пополам продолжающей оказывать услуги, которых ждут от неё честолюбивые мальчишки и мошенники. Как и у всех паразитов, у неё огромная способность к сопротивлению. Я говорю о лжи более чистой породы, выведенной за тысячелетия вождями челове-

ства, благодаря их кропотливому труду, о благородном животном, к которому древние возводили когда-то своих богов и полубогов.

<...>

Если истина больна, то и ложь тоже. Анти-истина необъяснимым образом разделяет судьбу истины, подделывает её, как бы заимствуя её божественную субстанцию.

<...> Мир, потерявший жизненную силу, вероятно, гибнет и сам, исчезает, утрачивает различие между добром и злом, утрачивает безвозвратно. Мир идёт к тому, чтобы умереть от холода. Мир медленно скользит к низшему равновесию, всякая ложь имеет частичку истины, всякая истина — частичку лжи, они не располагаются рядом друг с другом, но смешиваются так, что вводят в заблуждение и ненависть дьявола и милосердие Бога. Добавлю, что когда мир дойдёт до крайней степени падения, его дела не будут идти хуже.

<...>

Уже давно проблема обмана кажется мне важной: тот, кто решит её, получит ключ ко всем остальным, всем тем, что лежат в основе человеческих несчастий. Уже давно я не принимаю обман за переодетую истину, а обманщика — за комедианта, который намерен время от времени обновить свой гардероб у старьевщика. Обманщик и обман делают одно и то же, в обмане есть нечто фатальное. Если бы обманщик не был таким, он не был бы ни правдивым, ни лжецом, он был бы никем, он защищает свой обман как свою жизнь, и это на самом деле и есть его жизнь.

(Жорж Бернанос. Дневник 1939–1940)

→ 31 августа: Бернанос, 5

90

У совершившего странствие, у беспечального, у свободного во всех отношениях, у сбросившего все узы нет лихорадки страсти.

91

Мудрые удаляются; дома для них нет наслаждения. Как лебеди, оставившие свой пруд, покидают они свои жилища.

92

Они не делают запасов, у них правильный взгляд на пищу, их удел — освобождение, лишённое желаний и обусловленное. Их путь, как у птиц в небе, труден для понимания.

93

У него уничтожены желания, и он не привязан к пище; его удел — освобождение, свободное от желаний и условий. Его стезя, как у птиц в небе, трудна для понимания.

94

Чувства у него спокойны, как кони, обузданные возницей. Он отказался от гордости и лишён желаний. Такому даже боги завидуют.

95

Подобный земле, он не знает смятения; такой добродетельный подобен столпу Индры; он как пруд без грязи. У такого нет сансар.

96

У него спокойная мысль, и слово спокойно и деяние. У такого спокойного и освобождённого — совершенное знание.

ИЮЛЬ

5

четверг

97

Человек, который не верует и знает несозданное, разорвал привязанности, положил конец случаю, отказался от желаний, — поистине благороднейший человек.

98

В деревне или в лесу, в долине или на холме, — где бы ни жили архаты, любая земля там приятна.

99

Приятны леса. Где не радуются прочие люди, возрадуются лишённые страсти, ибо они не ищут чувственных удовольствий.

(Дхаммапада, Глава об архатах)

→ 5 декабря: Дхаммапада, 2

Зной

Весь институт: и папа, и папины студенты, и другие преподаватели — все на уборке.

Но больше они гасят пожары. Горит хлеб. Это очень красиво. И очень страшно. Раскалённые суховеи секут лицо угольной пылью с Донбасса. Уголь и сажа скрипят на зубах, забиваются в нос, в глаза... Дышать нечем. По Верблюду ползут разговоры: «Вон они когда себя оказали...» — «Чикаются с ними. Взять за глотку...» — «Чего уж и ждать, когда...»

Дальше шепотом: «Да вы что?!» — «Ну, я вам говорю... Выявили...»

«Мне очень неприятно, но я хотел попросить вас... Это насчёт Васи Силантьева. Вася — славный парень... Я, разумеется, в нём полностью уверен. Но всё-таки скажите ему, вам это удобнее, Лев Маркович... Не следует ему столько спорить с Валюшей. Вы понимаете, о чём я... Валюша его

ИЮЛЬ

6

пятница

любит, но вы ведь знаете, какая она у нас... бескомпромиссная...»

«Я, знаешь, — это говорит Вовка, — изобрёл бы такое стеклышко, приложил к человеку потихоньку — и пожалуйста: сразу видать, шпион он, или троцкист, или советский... А так и не разберёшь ничего».

Через неделю после того, как мы с папой ездили к невропатологу, от солнечного удара умер начальник политотдела совхоза Тимофей Сергеевич Теняков.

Это был день, когда было тридцать девять градусов, и за день вспыхнуло три пожара зараз — один на третьем и два на одиннадцатом отделении, и вихрем горячего воздуха унесло в жерло Васиного комбайна мою тюлевую бабочку, которую мы с папой купили в ростовском универмаге.

Вечером Теняков пришёл с поля без фуражки и сказал, что фуражку он потерял. Он сказал, что у него болит голова, и велел Искре сбежать в поселковый за папиросами. Но не успела Искра добежать до калитки, как в доме что-то грохнуло, Искра вернулась и увидела отца, лежащего на полу, а рядом скатерть со всем, что на ней было, и опрокинутый чайник, из которого ползла лужа.

Белое солнце било в медные трубы оркестрантов. Смотреть на них было нельзя... Тот самый дядечка, который с судком и бидончиком шёл мимо нашего столика, когда мы провожали Скейларда, стоял на грузовике, прикрывая затылок газеткой, и говорил речь: «Спи спокойно, дорогой товарищ! Нелепая смерть вырвала из наших рядов нестигаемого большевика и честного ленинца! Невозможно поверить...» Он говорил, а Теняков лежал в красном гробу возле его ног — строгий, с привинченным к груди орденом. А рядом на грузовике стояли похожий на Серёжу Кострикова Ким, и маленькая глупая Искра, и заведующая библиотекой Нина Алексеевна Тенякова. И у Искры было такое лицо, как тогда, когда мы ей пели: «Обманули дурака! На четыре кулака! А на пятый стуло...»

А я стояла в салюте со своим классом, смотрела на них, и перед глазами у меня было одно: как неподвижными спокойными глазами Теняков провожает мою злосчастную бабочку, проглоченную комбайном, а потом медленно снимает с головы белую свою фуражку, расправляет её аккуратно и, оглядевшись по сторонам, засовывает в жерло комбайна.

Казнь

Наша вожатая Ирочка Марголина оказалась — Герой. Оказалось, что она помогла Органам разоблачить и выявить подлинное лицо своего отца, который оказался врагом народа, подкупленным иностранной разведкой!

Вовина сестра — старшая пионервожатая Валерия — стояла у доски и рассказывала нам про этот замечательный Ирин подвиг и про то, как теперь мы должны гордиться своей вожатой, которая повторила подвиг Павлика Морозова!

Валерия читала нам из разных писателей о подвигах и героизме, а мы сидели онемевшие, ошарашенные немислимим величием подвига нашей вожатой, сознавая собственное своё ничтожество и невозможность до конца осознать и восхититься им в той мере, которой он несомненно заслуживает.

И тут дверь распахнулась — и на пороге предстал Генка Дубовик, второгодник из четвёртого «а».

Глаза Генки сверкали восторгом.

— Эй! — крикнул нам Генка. — Вы чего тут сидите?! Там во дворе наш Женька вашу замечательную Ирку убивает!

Наша школа выстроена в виде буквы «П». Снаружи она белая, а внутри из красного кирпича. Посередине двора, чуть справа от котельной, навалена здоровенная куча угля.

И вот здесь, на этой куче, мы увидели нашего «гогочку» и отличника, «гордость школы» Женьку Марголина, кото-

рый кусок за куском швырял антрацитом в голову своей любимой сестры — нашей вожатой Иры.

— Курва! — рычал Женька. — Курва!.. Курва...

— Что это?! — в ужасе завизжала Валерия. — Что он делает?! Да уймите же его кто-нибудь, уймите!

Но никто не сдвинулся с места.

А Ира стояла, прижавшись к красной кирпичной стене, — тоненькая, в синем своём вельветовом платье, около огромной красной стены; она не отворачивалась и только слабо прикрывалась рукой. И кровь и слёзы, перемешанные с угольной пылью, стекали у неё по лицу.

Праздник

Папа разлил кагор по стаканам — себе, маме и мне.

— Всё, Витька, — сказал папа. — Вот ты и большая. Что ж... Подыдем стаканы, содвинем их разом, да здравствуют музы, да здравствует разум!..

И мы чокнулись и выпили. Я сидела между моими мамой и папой, смотрела на них, и мне сейчас было так, как однажды, когда я шла от Саши — Саша живёт на одиннадцатом отделении, — и началась гроза, и тут небо расколосилось и с грохотом рухнуло вниз, и полился дождь, а небо грохотало, и мне вдруг перестало быть страшно, и стало всё замечательным...

Вот всё и встало на свои места. Чёрное стало чёрным. А белое стало белым. Добро и свет перестали быть тьмою и злом. Всё стало понятно и просто.

Час назад папа и мама пришли с митинга. Митинг был в клубе. Сначала говорил новый директор, а потом новый начальник политотдела — Хмырь-С-Бидончиком. Они говорили речи. И призывали всех, как один, голосовать за ходатайство перед органами, чтобы группу разоблачённых вредителей — бывшего директора Марголина, главного инженера Витта и профессора Михайлова — приговорили к высшей мере — расстрелу. А потом говорили речи препо-

даватели, студенты, инженеры, комбайнеры и учителя... И клеймили позором. И голосовали все, как один. И только двое не подняли руки. Эти двое были мои папа и мама. А потом они ушли из клуба. Они пошли в поселковый и купили вино и дыню. И у нас был праздник. Мы пили вино и ели дыню, а папа и мама говорили мне правду Правду про дедушку Шаманского. И про директора. И про Нину-Большого. И правду про «командировку». И они рассказали, что значит «скрытый баптист», а я им про письмо с умывальниками, и мы смеялись...

А потом я заучивала адреса, которые мне надо было запомнить, чтобы знать, куда пойти, когда я снова останусь одна. И папа придумывал в рифму, чтобы легче было запомнить.

И мы пили вино. И нам было хорошо. И ложь становилась ложью, и Правда становилась Правдой. И расточались враги Её, как тает воск от лица огня...

(Марьяна Козырева. Девочка перед дверью)

→ 27 декабря: письмо к Козыревой

Неизвестный писатель Ремизов

Попробуем задать себе гипотетический вопрос: что если в определённый период литература «получается» только тогда, когда в ней есть две противоположные величины, как бы плюс и минус, между которыми и рождается поэтическое электричество? А если их нет, литература хиреет. Однако даже при их наличии не всегда легко установить, кто они. Сразу после революции современникам представлялось: одним, что в поэзии Маяковскому противостоит Ахматова, другим — что это Есенин. Несколько позже антитеза приобрела форму «Маяковский — Пастернак». Кое-кому из нас начинает «яснеть» (как сказал бы Баратынский), что

подлинный конфликт был между Маяковским и Мандельштамом. Прибавим к нашей гипотезе маленькое условие: одна из двух противостоящих друг другу величин обычно недооценивается как критикой, так и своим антагонистом — общепризнанным, стоящим в центре внимания и громко обсуждаемым.

Если принять такую ненаучную теорию, возможно, годную лишь для салонной игры, то классическим примером окажется проза русской эмиграции. С одной стороны, нобелевский лауреат Бунин, каждую оставшуюся строчку которого *Новый журнал* после его смерти благоговейно публиковал в течение многих месяцев; с другой, — всю писательскую жизнь едва ли не побивавшийся и вроде как из милости печатаемый в толстых журналах Ремизов, у которого к смерти осталось неопубликованными больше десятка книг. Политически даже получалась какая-то несуразица: автор *Окаянных дней* Бунин, назвавший Ленина «косоглазым, картавым, лысым сифилитиком», посмертно въехал в Союз советских писателей на белом коне, а Ремизов, тщательно антисоветских выступлений избегавший, только недавно удостоился в России довольно жалкого сборничка и, по существу, до сих пор ютится там на литературных задворках. Вряд ли на доме, где он проживал в Казачьем переулке, есть мемориальная доска. Впрочем, для Ремизова характерна не столько непризнанность, сколько её странное сосуществование с большой известностью. С одной стороны, — восьмитомное собрание сочинений до революции, огромное влияние на молодую прозу в ранний советский период (причём когда его в России уже не было — ещё один парадокс); и кто ещё может похвастаться изданием больше восьми десятков книг? С другой, — какое-то вечное «сбоку-припёку» (начиная со службы в *Вопросах жизни*); гримаска на устах эмигрантского читателя («словечка в простоте не скажет»); «18-летний мордovorot» с изданием; только одна книга, которую

Чеховское издательство в Нью-Йорке соблаговолило напечатать.

Неудивительно, что критики или повторяли одно и то же, или не могли скрыть раздражения, а кое-кто и прямо обвинял Ремизова, что он прибедняется, и жалобы его граничат с лицемерием. Вероятно, лучший критик русского зарубежья (и мастер витиеватой банальности) Георгий Адамович сетовал, что ему нужен «ключ к этому очень сложному, очень противоречивому, замечательному и несносному писателю». Лучше всех писал о Ремизове он сам (собственно, он и подсказал критикам больше половины суждений о себе), но тут нужен глаз да глаз. В любимых ремизовских утверждениях (вроде того, что после Аввакума русская проза свернула на францужско-немецкий лад) верность часто относительная, да и не так свободен он от «грамматики» в собственной прозе. Слава-известность растёт из обмена читательских впечатлений, усвоения критических шаблонов и, в какой-то мере, из академического изучения. Читателю сейчас трудно познакомиться с Ремизовым. Советский сборник 1978 г., *Избранное*, мал и плохо составлен; переиздания за пределами России немногочисленны и часто недоступны по цене. По-видимому, нужна и какая-то читательская подготовка. Один молодой человек из «третьих» эмигрантов недавно поведал мне о своём разочаровании после первого знакомства с ремизовской прозой (это были *Крестовые сестры*) и добавил: «Вот Аксёнов — это да». Трудно сказать, частный это случай или он свидетельствует о потенциальной реакции целого поколения. Правда, запоздалые авангардисты, издавшие альманах *Аполлон-77*, взяли Ремизова себе в компанию, видимо, пленившись трудностью, запутанностью и «неорганизованностью» его прозы — но и они демонстрируют, главным образом, рисунки писателя, которыми он кормился во время «мордоворота».

Критические высказывания о Ремизове, как правило, повторяют знакомые истины о том, что он писал сказом, пользовался фольклором, хотел вернуть прозу к временам другого Алексея Михайловича, записывал сны и влёкся к чертовщине. Многое из этого, как уже упомянуто, подсказано самим писателем и, во всяком случае, нуждается в проверке и переоценке — хотя на пути стоит (и мешает) очень уж колоритный бытовой образ не то древнерусского писца, не то дедушки-колдуна, не то гнома-шутника:

Старообрядца череп, нос эсера,
Канцеляриста горб и дьяковы персты.

(Городецкий)

Сквозь легенду, как часто бывает, трудно пробиться к творчеству. Недавно профессор В. Д. Левин высказал в лекции взгляд, что, собственно, никакого сказа у Ремизова нет. После того, как это слово десятилетиями склонялось на все лады в связи с Ремизовым, это всё равно что объявить: знаете ли, Пушкин, если сказать правду, четырёх-стопным ямбом не писал. И тем не менее, при отсутствии у Ремизова говорящего и себя этим говором характеризующего героя, это верно. Несколько лет тому назад ныне покойный профессор Б. Унбегаун (тоже в лекции) обронил, что сама ремизовская проза не соответствует идеалу, который он проповедует. Прибавим, что его стилистика (то есть, возможно, самый важный аспект его творчества) ещё не описана во всей сложности и многообразии. Сам писатель употребляет слово «сказ» совсем не в эйхенбаумовском смысле (ср. подзаголовки к *Трава-мурава*). Да и любой читавший Ремизова знает, что, кроме разговорной (редко чисто разговорной), у него много прозы лирической, возвышенной.

(Владимир Марков. О свободе в поэзии, СПб., 1994)

→ 26 ноября: Ремизов, 2

Почти ничего

ИЮЛЬ
8
воскресенье

Что я сделал?
Почти ничего:
руки протянул к твоим бёдрам.
Что сделала ты?
Почти ничего:
ноги осторожно раздвинула.
Молчаливый разговор наших тел,
непонятные буквы,
сдвинутые,
переплетённые,
телесная вязь...
Два иероглифа,
любовной грамматикой свёрнутые в один:
ли-бо
(воздух в земле).

(1999)

ИЮЛЬ
9
понедельник

Приказано трезветь. Печальнее приказа
не знаю. Мы росли под сенью пьяной вишни,
в листве религиозного экстаза...
Отрезало. Иные силы вышли
наружу из беременной газеты,
и здесь по вечерам у нас одно занятие —
мы натываемся на прежние предметы,
ощупываем и лицо и платье,
не узнавая... Так перемениться
по мановению правящей десницы!

(Виктор Кривулин, 1985)

В Шатиль ворвался верховой,
Кричит: «Беда! Кистины-воры
Чинят на пастбище разбой
И лошадей уводят в горы!»
На сходке, чтимый всем селом,
Алуда был Кетелаури —
Муж справедливый и притом
Хевсур, отважный по натуре.
Немало кистов без руки
Оставил он на поле боя.
У труса разве есть враги?
Их много только у героя.
Теперь они средь бела дня
Его похитили коня
И гонят весь табун к высотам
Через Архотский перевал,
Чтоб конь ногами потоптал
Луга, поросшие осотом.
Алуда, слыша эту речь,
Отбил кремень, проверил пули
И наточил свой верный меч —
Благословенный свой франгули.
Чтобы клинок не оплошал,
Эфес попробовал ладонью...
И вот — рассвет. И сокол скал
Летит за кистами в погоню.

(Важа Пшавела. Алуда Кетелаури)

→ 26 июля: Пшавела, 2

Приобщаемся к дуракавалянию

июль

11

среда

Лабиринт/Эксцентр. Литературно-художественный журнал № 1. Ленинград-Свердловск. 1991. Редакторы А. Горнон, Б. Останин.

Несмотря на дефицит бумаги, в нашем журнальном полку прибыло. На этот раз объединёнными усилиями Ленинграда и Свердловска создан журнал, посвящённый современному творчеству и культуре. Он ошарашивает читателя цитатой из трудов известного академика <Д. С. Лихачёв>, помещенной среди выходных данных: «Дуракаваляние — это и есть настоящая культурная жизнь». Возможно, благодаря заявленному игровому началу в журнале есть «воздух», что выгодно отличает его от многих возникающих в наши дни изданий. «Лабиринт/Эксцентр» не стремится забить номер текстами до потемнения в глазах, а организует культурное пространство, дающее пищу глазу и уму. Журнал гармонично составлен, между философскими текстами и художественными существуют внутренние связи, а публикуемые воспоминания и очерки дают увлекательную панораму живой культуры последних десятилетий.

Пожелаем детищу двух некогда царственных «бургов» счастливых воздушных путей. Желаящие проследить за траекторией полета этого издания могут направлять заявки по адресу редакции: 195257 Ленинград, ул. Вавилова, д. 4, к. 1, кв. 432.

(Борис Ванталов // Час пик, № 27 (72), 1991)

→ 18 сентября: Гонорар Лихачёву

Камень — Петру, носившему до крещения имя Сизиф

июль

12

четверг

Я — Пётр, Petrus, камень надгробный,
что лежит на могиле твоей,
крыша твоя и орудие смерти.
Соименник твой, я тебя погубил,

язычник Сизиф, труженик неугомонный,
в гору толкающий камень,
в камень крещённый,
в имени новом узнавший орудие смерти своей,
освободителя.

Христос милостив.
Он пресёк бесконечный твой труд,
дал избавленье,
позволил погибнуть при столкновении со мной,
когого ты так бессмысленно
в гору толкал снова и снова
и отступал, если я низвергался,
взглядом усталым меня провожая.

Христос милостив.
Он подсказал:
— Не отступай, тверди вслед за мной:
«Здесь я стою, бывший Сизиф,
и иному не быть!»

Ave, Petrus... Славлю тебя.

(1999)

...То ли облако набежало на летнее наше солнце, то ли яблоком оно загородилось, то ли просто из-за развешанного белья на сарай пала тень, но Вадя, забившись в нутро своего убежища, усталый от позавчерашней обиды и вчерашней свалки, тихо сидел на стуле, ссутулясь, руки зажав меж коленей — точь-в-точь Достоевский, будь у Вади борода, а залысины уже есть.

А сарай, как было сказано, хоть и обходился по-стариковски всякой малостью, но, если заглянуть в дверь, являл зрелище редкостное, ибо сразу позади Вади виднелись дедов хомут и огородное дреколье с залоснившимися

ратовищами, что — заодно с остальными сарайными кулисами — представлялось большим голландским натюр-мортом.

Вот заглянули мы в дверь, и она будет наша рама. И у всего, что мы видим, колорит тёмного лака, а с тёмной полки желтеет медным патроном настольная лампа в виде раскрашенной золотой охрой и глухой умброй девушки в чепце и с лукошком, причём трухлявый гуттаперчевый шнур с полки свисает. Тут же тяжеленная в коросте чёрных бородавчатых окисей кованая гильотина для колки сахарных голов. Ничего ею сейчас не колют — головы давно в прошлом, а кусковой сахар разделяют щипчиками, сильно разъехавшимися в осевом соединении и потому соскакивающими с куска, неохотно позволяющего халявым их клювикам откалывать от себя ломкие черепочки, из-за скорлупной хрупкости для чаепития негодные. К чаю хо-рош маленький сахареющий кристаллами неправильный тетраэдр: держишь его со стороны утолщённой, и под глоток откусываешь с острого кончика. Под зубом он как по-па-ло не рушится, а даёт удобный отгрыз. Кстати, при неумело совершаемом откалывании сахарный бульжник круглеет, становится для щипцов неухватист, и они только карябают его, уничтожая поверхность и оставляя выюжные следы от стертых кристалликов; клюв же щипцов замарывается получившейся сахарной пылью, а на клеёнку осыпаются острые крошки...

А еще в сарайных глубинах виднеется старый верстак, светятся на нем ясные стружки, висят над ним сапоги-сороходы, и что-то ещё тусклеет и отсвечивает, угадывается и чудится, шуршит и осыпается, а ещё — всё покрыто лаком цвета золотого пива...

(Асар Эппель. Фук // Дроблёный сатана, 2002)

P. S.

Прочитав в конце календаря «P. S. Послесловие составителя», мы оторопели: оказывается, это составитель Б. Мартынов (получив от автора Б. Останина тетради и разрозненные листы, кое-где прояснив и по своему разумению восполнив лакуны) определил состав; это он, составитель, выбрал цитаты, придумал общий план книги, название и оформление (разнообразные шрифты, отсутствие пагинации, алфавитный указатель)...

А что же автор?

Как же авторство?

...

А вот так.

Главное, что это вылавливается, сочетается и взрывается.

Да и температура стабильная: 37,1.

*(Валерий Кислов. Горючая смесь // «НЛО», № 143, 2017.
Фрагмент рецензии на книгу Б. Останина «37 и 1»,
не вошедший в журнальный вариант)*

КУРИЛИН. — Мне двадцать лет. Меня никогда не обуревала потребность письменно изложить свои фантазии или впечатления от мира, в который меня занесло, — ни из потребности доверить бумаге свои расстройства и разочарования, ни из стремления преподать кому-то урок. Да и образование, которое я получил, ни в коей мере не поспособствовало бы тем видам обманчивой карьеристской деятельности, которую помпезно величают «литературой». Дипломом я не обзавелся, мог провести электричество, починить тракторный мотор, но предпочитал ни в чём не специализироваться и переходил с одной сугубо временной работы на другую, работал то сторожем, то землекопом, то дворником, то посудомоем в заводской столовой. Бабушка к тому времени умерла, родственников у меня не осталось,

ИЮЛЬ

14

суббота

ИЮЛЬ

15

воскресенье

девушки видели во мне сплошную заурядность. Я не мог вспомнить свои сны, не читал книг, приобретённые в школе знания мало-помалу выветривались, умственное убожество и канитель повседневного быта выедали во мне пустоту, которую я не очень-то спешил заполнить и которой ничуть не стыдился, поскольку был окружён людьми, которые, как и я, знали, что их жизнь яйца облупленного не стоит и никуда, кроме могилы, не ведёт. *(Подходит к стене, перелистывает настенный календарь.)*

КУРИЛИН. — Мне сорок пять лет. Однажды я случайно наткнулся на допотопный вечный календарь и решил проверить, на какой день недели приходится день моего рождения. То было воскресенье, и оно могло бы быть великолепным, говорила бабушка. Не прошло и минуты, как я установил, что 27 июня 1938 года был понедельник. От этого открытия я буквально остолбенел. Я и не подозревал, что бабушка лгала и в этой подробности. Я давно уже сомневался в звоне колоколов и в обилии пролитой матерью крови, но мне и в голову не могло прийти усомниться в истории о пресловутом воскресенье.

Оправившись от смятения, в которое повергло меня новое открытие, я вновь прогнал в памяти рассказ бабушки. Емерово, Бутово, Дрожжинский лес, благостная атмосфера русской деревни, тополя, берёзы, ели, трезвонящие колокола, красота июньского дня, затворенные, распахнутые и вновь с треском захлопнутые окна, покой снаружи и трагедия внутри, запах крови, безобразный младенец, проскользнувший в жутком потоке из одного мира в другой, трепыхающийся, отливающий лиловым убийца, который жаждал любой ценой выжить и первым звеном в цепи своего существования оставил позади себя лужу крови и труп.

Мысль о том, что меня сорок пять лет обманывали касательно важнейшего события моей жизни, оживила во мне

чувства сомнения, отвращения и вины, которые, как я полагаю, приглушило и даже сгладило время, но вместе с тем создала впечатление, что теперь я и сам мог бы овладеть этим рассказом, мог бы внедриться в него без посредничества чужого голоса. Я только сейчас понял, что о моём рождении вкупе с сопутствующими подробностями можно поведать словами, что моё рождение было вымыслом, который отныне целиком и полностью зависит исключительно от меня. Бабушка, мать, акушерка, колокола, запахи, окно, кровь, уродливый младенец — всё это можно скомбинировать по-другому, в виде совсем другого рассказа, способного мне подчиниться и, быть может, наконец меня успокоить.

Уходит. Появляется Володин.

ВОЛОДИН. — Вот так Никиту Курилина в 1983 году настигает потребность писать. Он и не помышляет о книге, не помышляет ни о чём конкретном, он только знает, что должен с нуля пересмотреть своё рождение, а это значит — переложить на бумагу точное, пункт за пунктом, протекание цепляющего его за сердце события. Лишённый дара выдумки, он принимается за поиски других данных, помимо сообщённых ему вечным календарем. Его расследования ни на чём не основываются, в них нет никакой системы, уповая на случай, он ищет где попало. Несколько раз на протяжении этих нелегких месяцев отправляется в те места, которые упоминала бабушка: Емерово, Дрожжинский лес, Бутово, Боброво. Тщательно изучает всё, что произошло 27 июня 1938 года, не находит ничего особенного и вдруг узнает, что во времена чисток энкаведешники расстреляли здесь двадцать тысяч человек.

В эти нелёгкие месяцы он пребывает в подавленном состоянии, снова без работы, совсем один. Стоит серая, унылая погода. Мучась угрызениями совести, он слоняется по аллеям, проложенным среди дрожжинских елей и берёз,

вдыхает аромат коры, влажной древесины, без спешки и удовольствия шагает по опавшим листьям, по гниющей хвое, по грязи. Его родная деревня искромсана вторгшимися жилыми кварталами, никто не слышал о Черноградской улице, никто из старожилов не помнит его бабушку. Его родной дом исчез с лица земли, старики не признаются, что слышали когда-то о существовании центра НКВД, что же до молодежи, те открыто насмеваются, поворачиваются к нему спиной или приводят совершенно фантастические сведения. Ничто не приходит на помощь, чтобы он мог перетасовать свои воспоминания. Он бродит вокруг да около Бутовского полигона, от которого почти ничего не осталось. Под его ногами братские могилы, тысячи мертвецов. Под грибами, под неброским осенним светом, под дождем. Мертвецы. Тысячи и тысячи убитых.

Входит Курилин с листом бумаги и карандашом, он что-то пишет, чиркает, комкает лист и бросает его на пол. Берёт другой, снова пишет, выбрасывает.

ВОЛОДИН. — В какой-то момент он пытается писать. Что-то его подталкивает. Но ему никак не организовать свою речь, и, как бы он ни усердствовал, с его пера сходит вереница расхристанных фраз, словесная магма, которая не отвечает ни за его рождение, ни за смерть матери, ни за бойню, что разворачивалась по ту сторону Дрожжинского леса. Все попытки редакции идут прахом буквально через полстраницы. Жуткий начальный эпизод его жизни и без того приносил ему одни муки и стыд, но сегодня к этому добавляется чувство собственной писательской недееспособности. Он теряет терпение, ибо обуреваем идеей, что обязан исполнить некий литературный долг. У его истории есть название, и он им весьма горд: «Повесть о воскресенье, оказавшемся понедельником», но этим всё исчерпывается. Над дальнейшим он работает неделями, копит наброски, которые, вконец исчеркав,

выбрасывает. Он несчастен. Он перебирается в подвал на мебельной фабрике, которую устроился охранять с наступления темноты до рассвета.

Появляются Догивло и Тендереков. Они вносят на сцену небольшой стол и стулья, Курилин им помогает. Все трое приносят из-за кулис бутылку водки, бутылку портвейна, пиво, стаканы, закуску.

ВОЛОДИН. — Друзей у Курилина нет, а литературные поползновения и вовсе отрезали его от внешнего мира. Всё же двое фабричных вахтеров видят в нём товарища. У одного из них, Дааза Догивло, были неприятности с милицией, о которых он не любит упоминать. Другой, Учур Тендереков, состоит на психиатрическом учете. С этой парочкой Курилин и заводит разговор о своём поэтическом начинании. Прежде всего делится с ними своей неспособностью изложить на бумаге то, что ему худо-бедно удаётся сказать. Потом вкратце излагает суть дела. рассказывает о Бутово, о воскресенье и понедельник, о бабушке, о животном ужасе родов. Ему трудно признаться, что мать умерла в ту минуту, когда он родился, и он об этом умалчивает. Но приводит подробности о колоколах, повторяет дату. Пьёт с вахтерами приторное вино, пиво, водку.

Курилин, Догивло и Тендереков сидят за столом, пьют, закусывают, разговаривают. Слышен негромкий звук колоколов, выстрелы.

ВОЛОДИН. — Тот из вахтеров, Дааз Догивло, у кого были неприятности с милицией, упоминает об архивах НКВД, о списках имен, фигурирующих в сохранившихся личных делах, о перечне расстрелянных в 1937 и 1938 годах.

ДОГИВЛО. — Я слышал о формулярах, в которые сотрудники Ежова вносили имена осуждённых с Бутовского полигона. Эх, если бы нам удалось найти список, датированный 27 июня!

ВОЛОДИН, Тот, что сидел в психушке, Учур Тендереков, заявляет вдруг, что список у него есть.

ТЕНДЕРЕКОВ. — Я видел этот список во сне, я знаю, где он находится. *(Пауза.)* Я ожидаю удобного случая, чтобы вновь в него заглянуть, присвоить и передать тебе, Никита.

Тендереков влезает на стул и машет руками, чтобы к нему вернулся тот сон.

ВОЛОДИН. — Он неистовствует. Это бывший душевнобольной, и складывается впечатление, что его болезнь возвращается. Он жестикулирует, объясняет, что приказывает силам войти в него, что велит памяти всё восстановить, что призывает расстрелянных выкрикнуть в него своё имя. Не будь он так ярко освещён голой лампочкой, можно было бы счесть, что он одержим, что он вернулся на свой родимый Алтай и впал, вызывая духов, в шаманский транс. Потом он озвучивает имена, наперебой декламирует личные карточки расстрелянных НКВД людей. Оглашает их громким голосом, словно они у него перед глазами.

ТЕНДЕРЕКОВ *(шатаясь и всхлипывая)*. — Абрашин Степан Федорович!.. 1884 года рождения, Московская область, Детчинский район, хутор Обильцево!.. Русский, образование низшее, беспартийный!.. Железобетонный завод, истопник; проживал по адресу: Москва, 5-й Донской проспект, дом 25, общежитие!.. Арестован 12 апреля 1938 года, приговорён тройкой при УНКВД по Московской области 3 июня 1938 года по обвинению в контрреволюционной агитации!.. Расстрелян 27 июня 1938 года, место захоронения Бугово!.. Алексеев Артем Михайлович!.. 1894 года рождения, Киевская область, Базарский район, деревня Дермановка!.. Русский, образование низшее, беспартийный! Грабарь на собственной лошади; проживал по адресу: Мо-

сковская область, Ленинский район, деревня Котляково!.. Арестован 4 апреля 1938 года, приговорён тройкой при УНКВД по Московской области 3 июня 1938 года по обвинению в контрреволюционной агитации, клеветнических высказываниях о политике партии и советской власти!.. Расстрелян 27 июня 1938 года, место захоронения Бутово!.. Башкатов Василий Васильевич!.. 1890 года рождения, Тамбовская губерния, Козловский уезд, село Дегтянское!.. Русский, образование низшее, беспартийный! Артель «Ударник», возчик-кустарь; проживал по адресу: Москва, Владимирский поселок, ИТР, барак №1!.. Арестован 26 марта 1938 года, приговорён тройкой при УНКВД по Московской области 3 июня 1938 года по обвинению в контрреволюционной агитации среди рабочих общежития и террористических настроениях по отношению к вождю партии!.. Расстрелян!.. 27 июня 1938 года!.. Захоронен в Бутово!..

ВОЛОДИН. — Через четверть часа вдохновение Учур Тендерекова иссякает. Ему удаётся кое-как слезть со стула, и он тут же валится к ногам собутыльников.

Тендереков падает на пол и засыпает.

ДОГИВЛО. — Всё будет путём. Прочухается, и всё будет путём.

Опускает голову на стол, засыпает. Тендереков лежит на полу. Курилин, шатаясь, уходит со сцены.

ВОЛОДИН. — Курилин оставляет их в клетушке и выходит на ночной обход. Проверяет, заперты ли ворота, склады, мастерские, обходит двор. Ночная тьма непроницаема, гундосит дождь. Курилин толкает двери, выписывает по кругу вензеля, разговаривает сам с собой, мямлит имена, которые прокричал Учур Тендереков. Он до крайности взволнован и к тому же пьян. Прислонившись спиной к решетке, подставляет лицо дождю, куртка распахнута на-

встречу ветру и ночной тьме. Он бубнит имена, зачаточные биографические данные, даты арестов. В его голосе слышны и пьяная жалоба, и обращённый к ночи упрек. Он обращается к некой невидимой публике, к невидимым облакам, к рождённым тёмными небесами тёмным потокам, обращается к мёртвым.

Догивло и Тендерекв молча поднимаются и уходят со сцены. Курилин возвращается.

(Антуан Володин. Воскресенье наавтра выдастся ясное)

→ 27 июля: Никита Курилин, 3

От берега до берега

ИЮЛЬ
16
понедельник

отчего утица плавает вопрошаем
пёрышки одно к другому умаслены
скользит себе по периметру ладная такая
перепонками воду разгоняет
ежели чего крякнет
затаишься бывало умыкнёшь гусиное
вскарбакаешься по приставной и сам себе брат
беготня крыс перепалка цикад полная луна
на плече ворон за спиной пламень
несметен трудовдень
а нынче что ж прикрой слуховое окно
притвори смотровую щель притуши свечу
дабы снискать отточием пера в собственном темени
отчего у курочки грудок нет как нет
задумаешься и будто где эта крыша над головой
забудешься беспечно утопая в млечной цифири
приходя всякую
умножаясь и делясь сущностью своего
и то сказать мировым с плавниками дельфином
хладнокровным кролем и восвояси по пёсьи

отчего не сыщется никак калёная игла в сене
 а сыщется лишь дремучая смерть в игле
 отчего снуёт перевозчик между суетных
 причалов и пирсов дебаркадеров и брандвахт
 отчего человеке пишет знамо ли дело

(Руслан Миронов. Воздухоплаватель, СПб., 1994)

Чаваньга и окрестности



ИЮЛЬ

17

ВТОРНИК

Исключительный человек

Сколь бы своеобразным, сколь исключительным, даже чудовищным ни чувствовал бы себя человек, редко бывает, чтобы, читая какое-нибудь историческое сочинение или сборник исторических анекдотов, он не наткнулся на

ИЮЛЬ

18

СРЕДА

другого человека, жившего пять, десять или двадцать веков тому назад и до такой степени похожего на него, что он сразу начинает смотреть на себя (с разочарованием, удовлетворением или безразличием) лишь как на ещё одно звено в цепи.

Афоризмы

Когда читаешь одного за другим Ларошфуко, Вовенарга, Шамфора и Жубера, этот поток мыслей переливается, словно море, и оставляет в сознании не более того, что могло бы остаться от чтения какого-нибудь сборника занятных историй и остроумных выражений. Наверное, должен быть какой-то особый способ читать максимы: по странице в день, например.

Оценка жизни

В оценке жизни имеется существенный показатель, на который обычно не обращают внимания: это цена, которую заплатили за то, что было в жизни достигнуто. И выражается она не в деньгах, а в недостойных или сомнительных поступках. Иная жизнь кажется нам восхитительной, но в ней за всё так дорого заплачено, — несвободой, послушанием, тяжёлым повинностями, — что какой бы блестящей она ни была, её скорее можно считать полной неудачей. А другая кажется немного неудавшейся, хотя она отлично удалась, потому что заплачено было совсем немного.

Человек-пехота

Каждый человек подобен пехотной роте, что поднимается из траншеи, где-то пробивается вперёд, даже проникает во вражескую траншею, где-то стоит на месте или даже отступает. Всякий человек представляет собой этакую ломаную линию бросков и отступлений: здесь бравый молодец, там слабак, причём в одно и то же время. Именно это и трогает больше всего в человеке.

Человек и история

Откроем любую книгу по истории: какую эпоху ни возьмем — чудовищная масса глупости, которую творят и изрыгают правительства, религии, партии, системы угнетения, собрания, суды и т.п. (оставим в стороне их подлость). Тем не менее, великие умы — я уж не говорю о простых искателях наслаждений — с ними всё же как-то мирились. Их жизнь, их творения — это отнюдь не непрерывные вопли отчаяния и горечи. Стало быть, улучшать нужно не мир — напрасный труд — работать нужно над самим собой, что является вполне посильным делом.

Отношение к врагу

Когда я думаю, что испокон веков — и нет никакого сомнения, что так и будет продолжаться, пока мир стоит, — всякий народ считает, что необходимо оскорблять того, с кем воюешь, меня охватывает страшная тоска. Я понимаю, что врагу приписывают несуществующие злодеяния: воинственность растёт вместе с ненавистью. Но называть *фанатизмом* — явный патриотизм, *бешенством* — мужество, *рабским повиновением* — дисциплину, из-за временных неудач осмеивать врага, который тысячу и тысячу раз доказал свою доблесть, взять хотя бы те серьёзные поражения, что он вам нанёс, глумиться над пленными, как будто есть что-то смешное в том, что ты попал в плен, и т.д. — всё это настолько жалко, что... И когда я думаю, что в любой нации, включая и те, которые мы ставим выше всех, люди, не страдающие подобным пороком, составляют незначительное число, я говорю себе, что такое положение вещей, коль скоро оно, похоже, неотъемлемо от войны вообще, должно быть записано на её счёт, когда мы пытаемся беспристрастно оценить её вклад в добро и зло.

* * *

Один адвокат говорил мне, что в молодости брался только за те дела, которые казались ему правыми, а теперь за те, которые считает неправыми.

Режимы и народы

Все политические режимы хороши, поскольку все правительства, при любом режиме, в конечном счёте удовлетворяют жизненные потребности своей нации; не так-то легко увлечь народ в другую сторону, противоречащую его потребностям. К тому же все режимы переплетаются друг с другом благодаря той гибкости, которой они достигли в силу необходимости. Нужно иметь голову юнца, и не суть, соответствует это возрасту или нет, то есть я хочу сказать: нужно придавать слишком большое значение абстрактному, чтобы верить в превосходство какой-нибудь одной формы правительства.

(Анри де Монтерлан. Дневники 1930–1944)

→ 7 августа: Монтерлан, 2

ИЮЛЬ

19

четверг

Сахарницу, из которой Петров только что вынул и положил в стакан сахару, Старенькая Бабуля на лету перехватила и потянула к себе, а Петров не то чтобы не хотел её отдавать, а просто не успел разжать пальцев, отчего, как в замедленной съёмке, сооружение из двух протянутых рук и сахарницы сложилось над столом в мостик, и как раз в этот самый миг, на полдороге свершающегося жеста, у Петрова произошло непредусмотренное соединение с Высшей Инстанцией и он оказался среди того самого, захламлённого валежником нелюдимого леса у грузно цепенеющей под серым небом купели с темно-серой массой воды. Неказистое озерко было небольшим и глубоким, с топкими берегами. С торфяного дна при слабом шевелении

воды всплывали бурые взвеси и растворялись на безразличной поверхности. Восстанавливая зыбкое равновесие, набухший влагой воздух изредка беззвучно смаргивал на лес и озерко бесцветную слезу. Петров стоял в жиже возле больших осок и смотрел на лес и воду. Он-то смотрел на них, а они на него — нет, они смотрели только в себя, они не зависели от Петрова, они вообще ни от чего не зависели, и такую беспредельную независимость человеку Петрову было трудно понять. И было ещё что-то, в чём Петров не разобрался, но знал, оно главное, только сообразить не мог, каким словом это называется, и закрыл глаза, чтобы его озарило. Но явились блеклая пелена и какие-то размытые пятна. Потратив время и ничего не дождавшись, Петров решил: сел на съеденную у корневища бобрами, лежащую макушкой в воде осину, стащил сапоги, сбросил одежду. Погрузил ногу в воду, стараясь нащупать дно, — ступню и голень всосал тёмный пушистый торф. Петров медленно упал грудью вперед в воду... тут всё и случилось.

Мышиного цвета вода была умеренно холодной. Когда Петров в неё погрузился, возможно, из-за понижения температуры окружающей среды и уменьшения телесного веса — вес приняла и равномерно по себе распределила вода — в духовном центре у Петрова тоже что-то сместилось, и он перестал осязать внешний мир чувственными с ним соприкосновениями — способом, который ему навязали, когда всё ещё было сумеречным, только начавшим подрагивать экраном, — и соединился с окружающей обстановкой умопостигаемо, всем собой сразу. С этого мига кровотока в Петрове замедлился и сник, внутренние органы перестали подавать о себе вести. Дальше — больше: всё, выпавшее в мире в осадок в виде отдельных конечных вещей, сделалось Петрову вдруг необоримо тягостно, и он эти вещи забыл, а с ними предшествующую жизнь. Когда это произошло, Петров держался в воде рукой за макушку осины. Сам он несколько собой не поменялся, а мысли в нём усилились, потому что

стёрлась не фактическая память, всего лишь называющая вещи, а избитая тональность, в которой были оркестрованы события его жизни: партитура рассыпалась на неприметные партии. Что-то отряхнулось в духовном Петрове и стало распределяться в строгом иерархическом порядке, невозмутимо занимая места по чину и званию. Как следствие повсеместно во всём начала проступать внутренняя сообразность. Это была очень заметная перемена, и хотя не такая простая, как передвинуть в комнате стулья или диван, но всё равно как после уборки в доме, только намного сильнее. Петров даже удивился, как это он раньше не понимал необычайной важности порядка. Отныне он понимал всё, отныне весь Петров был одно огромное понимание, не относившееся ни к чему в частности, а так... вообще. И ещё Петрову открылось, что если ему вздумается, он может легко брать и поступать, как никогда раньше и совсем по-разному. Петров слабо вздохнул: экстатический вздох неслышно — физиологические процессы в нём протекали теперь неощутимо — поплыл над лежащим без пульса серым озерком, а потом над недоверчивым лесом. Машинально повернув голову за собственным вздохом, умопостигающим зрением Петров — вполне предсказуемо — различил возле осоки неброский цветок. На разной высоте к стебельку прикреплялись пять белесых непритязательных соцветий, на которые никто бы и не подумал смотреть, но Петров был сейчас не как все, поэтому он сразу понял — перед ним мыслимое совершенство. Конечно, тяжеловесные попытки слов описать соцветия с бледными лепестками и ломкий стебелек были для образа губительны, и только расплывающаяся по мокрому ватману или пропитанной специальным составом ткани китайская тушь с вкраплениями призрачной акварели могли передать эту изысканную незаметность. Тихо удивившись — громкие переживания уже были изъяты из его распорядка, — Петров потупил взгляд. Но так как зрение у Петрова было умопостигающее, ему, собственно говоря, не было никакой нужды ни-

куда смотреть, потому что цветок уже цвел в нём самом, а сам он растворился в цветке. В Петрове установился глубокий сладкий покой, какой приходит лишь на смену нестерпимой муке. Хотя вода в сером озёрке была холодноватой, из неопределенного центра, в котором в Петрове цвела *orchis maculata*, и из кончиков пальцев рук и ног, навстречу друг другу, стало поступать ровное тепло, которое, судя по всему, могло быть очень сильным, но при этом нисколько не обременяло. Петров уже не так отчётливо чувствовал свою отдельность, и когда гуморальное давление в нём ещё более упало, уравнившись с внешним давлением воды, прежде уязвимый Петров, как серое озеро, перестал зависеть от чего бы то ни было, совпав с дыханием мирового разума. Невольно пользуясь наречием времени, можно было бы сказать, что отныне никакие пространственно-временные и прочие характеристики к Петрову были не приложимы, — Петров был чист, потому что его не было, от него ничего не осталось, он был вырвавшейся из пространства и времени бесцельной неопределённостью. Расплывшимся в воздухе над серым озерком сфумато: ф-ф-х!

Петров светло улыбнулся и, потянувшись вверх, тоже попытался воспарить, но, потеряв физическое равновесие, схватился за макушку осины. Послышалось безучастное потрескиванье, и на Петрова накинуло сеть время, которое куролесило по-чёрному, то ужасно растягивалось, то со страшной скоростью сокращалось.

«Управляющее Начало, я больше не... — только и успел сказать Петров.

Бабуля удивленно разжала пальцы, сахарница упала на стол, фарфоровая ручка откололась.

— А у нас на работе один разбивает бокалы из цветного стекла, а разноцветные стёклышки снова склеивает, говорит, так ближе к тому, чему нет имени, — сказала Подруга.

(Вера Резник. Из жизни Петрова, отрывок)

В полдень в пятницу 20 июля 1714 года рухнул самый красивый мост в Перу и сбросил в пропасть пятерых путников. Мост стоял на горной дороге между Лимой и Куско, и каждый день по нему проходили сотни людей. Инки сплели его из ивняка больше века назад, и его показывали всем приезжим. Это была просто лестница с тонкими перекладинами и перилами из сухой лозы, перекинута через ущелье. Коней, кареты и носилки приходилось спускать вниз на сотни футов и переправлять через узкий поток на плотах, но люди — даже вице-король, даже архиепископ Лимы — предпочитали идти по знаменитому мосту короля Людовика Святого. Сам Людовик Святой французский охранял его — своим именем и глиняной церковкой на дальней стороне. Мост казался одной из тех вещей, которые существуют вечно: нельзя было представить себе, что он обрушится. Услышав об этой катастрофе, перуанец осенял себя крестным знаменем и мысленно прикидывал, давно ли он переходил по мосту и скоро ли собирался перейти опять. Люди бродили как замороженные, что-то бормоча, им мерещилось, будто они сами падают в пропасть.

В соборе отслужили пышную службу. Тела погибших были кое-как собраны, кое-как отделены друг от друга, и в прекрасном городе Лиме шло великое очищение душ. Служанки возвращали хозяйкам украденные браслеты, а ростовщики проносили перед женами запальчивые речи в защиту ростовщичества. И всё же странно, что это событие так поразило умы жителей Лимы — ибо в этой стране бедствия, которые легкомысленно именуются «стихийными», были более чем обычны. Приливные волны смывали целые города, каждую неделю происходили землетрясения, и башни то и дело обваливались на честных мужчин и женщин. Поветрия ходили из одной провинции в другую, и старость уносила самых замечательных граждан. Вот почему удивительно, что перуанцев так взволновало разрушение моста Людовика Святого.

Поражены были все, но лишь один человек предпринял в связи с этим какие-то действия — брат Юнипер. Благо-

даря стечению обстоятельств, настолько необычному, что в нём нетрудно было бы усмотреть некий Замысел, этот маленький рыжий францисканец из северной Италии оказался в Перу, где обращал в христианство индейцев, и стал свидетелем катастрофы.

Тот полдень — роковой полдень — был знойным, и, огибая уступ холма, брат Юнипер остановился, чтобы отереть пот и взглянуть на далёкую стену снежных вершин, а затем в ущелье, высланное тёмным пухом зелёных деревьев и зелёных птиц и перехваченное ивовою лесенкой. Он радовался: дела шли неплохо. Он открыл несколько заброшенных церквушек — индейцы сползались к утренней мессе и, принимая причастие, охали так, словно сердца у них разрывались. Чистый ли воздух снежных вершин, мелькнувший ли в памяти стих — неизвестно, что заставило его обратить взгляд на благодатные холмы. Во всяком случае, в душе его был мир. Затем его взгляд упал на мост, и тут же в воздухе разнёсся гнусавый звон, как будто струна лопнула в нежилой комнате, и мост на его глазах разломился, скинув пять суесящихся букашек в долину.

Любой на его месте сказал бы про себя с тайной радостью: «Ещё бы десять минут — и я тоже...» Но первая мысль брата Юнипера была другой: «Почему *эти* пятеро?» Если бы во вселенной был какой-то План, если бы жизнь человека отливалась в каких-то формах, их незримый отпечаток, наверное, можно было бы различить в этих жизнях, прерванных так внезапно. Либо наша жизнь случайна и наша смерть случайна, либо и в жизни и в смерти нашей заложен План. И в тот миг брат Юнипер принял решение проникнуть в тайны жизни этих пятерых, ещё летевших в бездну, и разгадать причину их гибели.

*(Торнтон Уайлдер,
Мост короля Людовика Святого, М., 1983)*

→ 3 мая: Куско

Для того чтобы просто исторически понять «греческий дух», историк обязательно должен иметь свой собственный взгляд, хотя бы и не оригинальный, на весь ряд тех проблем, над которыми трудились «высокие умы» античности, в конфликте или в согласии друг с другом. Историк философии должен быть в известной степени и сам философом. Иначе он оставит незамеченными те проблемы, которые были в центре поисков философов. Историк искусства должен быть по крайней мере любителем; иначе он пройдёт мимо художественных ценностей и проблем. Кратко говоря, проблема Человека просачивается во все проблемы людей и её невозможно обойти ни в какой исторической интерпретации. Кроме того, в известном смысле всякая историческая работа как таковая в конечном итоге нацелена на нечто, неизбежно превышающее её границы.

Процесс исторической интерпретации есть тот процесс, в котором созидается и зреет человеческий ум. Это процесс интеграции, в котором отдельные прозрения и решения разных эпох собираются, противопоставляются, диалектически примиряются, подтверждаются или отбираются, даже отбрасываются и осуждаются. Если история как процесс человеческой жизни в веках имеет какое-либо значение, какой-либо «смысл», то очевидно, что изучение истории, если оно есть более чем вопрос любопытства, тоже должно иметь некое значение, определённый «смысл». И если историческое понимание есть «ответ» историка на тот «вызов», который бросает ему человеческая жизнь, им изучаемая, то крайне важно, чтобы историки были подготовлены и внутренне вооружены, чтобы встретить этот вызов человеческой жизни в его полноте и во всей его глубине.

Итак, в противоположность принятому предрассудку, историк, для того чтобы быть компетентным в своей собственной области интерпретации, должен отзываться на человеческие заботы во всём их объёме. Если у него нет своих собственных забот, то заботы других будут для него глупостями

и он вряд ли будет способен «понять» их, вряд ли сумеет их оценить. Историк, равнодушный к значительности философских исканий, будет считать, вероятно, с полным убеждением, что вся история философии есть история интеллектуальных причуд или «пустых умствований». Таким же образом и неверующий историк религии может находить, опять-таки с наивным убеждением и видом превосходства, что вся история религий была просто историей «обманов» и «суеверий», различных заблуждений человеческого духа. Такие «истории религии» фабриковались неоднократно. По подобным же причинам некоторые отрезки или периоды истории осуждались и соответственно отбрасывались и игнорировались как «варварские», «мёртвые» или «бесплодные», как «тёмные века» и тому подобное. Дело в том, что даже претензия на нейтральность, утверждение свободы от предубеждений, уже есть предубеждение, выбор и принятое решение. В действительности — и снова в противоположность обычному мнению — убеждённость есть признак свободы, предпосылка отзывчивости. <...>

Историческая интерпретация во всяком случае включает в себя суждение. Если историк будет избегать суждений, то и само его повествование будет искривлено и искажено. В этом отношении нет большой разницы между обсуждением Греко-персидской войны и Второй мировой войны. Ни один истинный историк не сможет не встать на ту или иную сторону — за или против «свободы». И суждение его отразится на его повествовании. Ни один историк не сможет остаться равнодушным к различию между «добром» и «злом», как бы ни было затуманено это различие разными умственными изысканиями. Ни один историк не сможет остаться равнодушным или нейтральным перед вызовом и требованием Истины. Все эти напряженности являются во всяком случае историческими и жизненными положениями. Даже отрицание является своего рода утверждением, часто даже решительным и носящим заряд упорного

сопротивления. Сам агностицизм внутренне догматичен. Нравственное безразличие может только исказить наше понимание человеческих действий, которые всегда контролируются определёнными моральными выборами. К тому же привёл бы и умственный индифферентизм. Именно потому, что человеческие действия суть жизненные решения, историческая интерпретация их не может обойтись без принятия решений.

Таким образом историк, именно как историк, т. е. истолкователь человеческой жизни так, как она в действительности была прожита во времени и пространстве, не может избежать основного и решающего вызова этой действительной истории: «Кого Мы глаголют человецы быти?» (Мк. 8, 27). Для историка, именно в его качестве истолкователя человеческого существования, этот вопрос имеет решающее значение. Отказ принять вызов есть уже обязательство. Отказ от ответа на определённый вопрос есть тоже ответ. Отказ от суждения есть тоже уже суждение. Попытка писать историю, избегая вызова, брошенного Христом, ни в каком смысле не является «нейтральным» предприятием. Не только когда он пишет «всеобщую историю» (*die Weltgeschichte*), т. е. интерпретирует общую судьбу человечества, но и интерпретируя любые отдельные отрезки или слои этой истории, историк сталкивается с этим конечным вызовом, потому что всё человеческое существование стоит перед этим вызовом и требованием. Реакция историка предreshает течение его интерпретации, выбор мер и ценностей, понимание им самой человеческой природы. Реакция эта определяет «мир его рассуждений» (*universe of discourse*), те рамки и ту перспективу, в которые он пытается заключить человеческую жизнь, проявляя меру своей отзывчивости. Никакой историк не должен даже претендовать на то, что он осуществит «окончательную интерпретацию» той великой тайны, какой является человеческая жизнь во всей своей множественности и разнообразии, во

всём своём убожестве и величии, в своей двусмысленности и противоречиях, в своей основной «свободе». Не должен на это претендовать также и ни один историк-христианин. Но он имеет право претендовать на то, что его подход к этой тайне — подход всесторонний и «кафолический», что его видение этой тайны пропорционально её действительным измерениям. Он должен на деле отстаивать это свое право, осуществляя своё ремесло и своё призвание.

*(Георгий Флоровский.
Затруднения историка христианина)*

Эхо Нарцисса

Нарцисс был страстно влюблён в своё отражение, не понимая, глупец, что видит в зеркале воды не себя, а лицо страстно влюблённой в него нимфы и тем самым «познаёт себя через Другого». Когда Нарцисс отказал нимфе в любви, она не захотела больше жить и утопилась, исчезла — а вместе с ней исчезло и её лицо, в которое Нарцисс был влюблён и принимал за своё. Пустота зеркала, отсутствие отражения, исчезновение лица Эхо-Нарцисса оказались юноше не по силам: он бросился в воду, отправился в глубину зеркала на его поиски — и, что бы там ни говорили о его смерти, утонул.

Есть ещё и отринутая Гамлетом нимфа Офелия.

Как возникает как
как ветер
как вода
возникает
знает кто как
крыло клюв
из воды из воды
летит



Это птицы птицы
кормятся пеной воды
белой прозрачной кормятся
пеной воды
пустой пустой

Это воды крыльев летят
воды воздуха летят
воды прозрачных летят

Клювы клювы из гладкой воды
ловят своё серебро
хватают хватают
сырое своё серебро
внезапно внезапно
вдруг вдруг

Видишь видишь
как всплескивает блестит
как появляется
как желание
как желание
связано связано
летит

Видишь видишь изгибы связки
их их серебро серебро
видишь видишь для глаза нити
для глаза сети
для глаза свет

Ты прозрачное сито сито одно
сеет сеет для всех
сквозь сквозь
серебряных смыслов
лови лови

Это река река
русло себя впереди
свёрнуто свёрнуто
себя впереди
голубая гибкая
себя впереди

Эти тонкие корни текут текут
дышат растут
становятся на становятся на
глубокие корни
дышат уже
пьют пьют

Вот заплетает шаром течёт
вдох выдох
окружает шаром течёт
эти слепые
светят внутри
корни корни

Видишь видишь живой
вырезает воздух себе
этот росток
пространство себе
живой живой
этот ребёнок

Теперь видно есть
стоит на свету
видно есть
плывёт на свету
корней на свету
видно есть

Держит держит
свет для себя

держит
шар для себя
пьёт пьёт
живой для себя
видно есть

Этот глаз заплетает всех
лепит лепит всех
видит всех
глаз серебряный думает всех
этот глаз глаз
держит всех
дрожит

(Виктор Летцев. Имена // Часы, № 70, 1987, отрывок)

→ 23 сентября: Имена, 2

ИЮЛЬ

24

вторник

Хозяйство вести я умела, но с лингвистом у нас хозяйства не получалось. Я зарабатывала мало, он редко. Курил изо рта не вынимая, пепел сыпал всюду; с ним и я курить начала, и он хоть рассеянный, а ни разу не забыл мне зажигалкой щёлкнуть. Он молодой совсем, а уже язва, я б его кормила поаккуратнее, но мне с утра на работу, а он спит, и до полудня проспит, а встанет — курит натошак и всухомятку глотает.

Он работал ночами. А по вечерам разговаривали обо всех вещах познаваемых и ещё больше о непознаваемых и неведущественных. Я спрашивала, он отвечал. И не то чтоб он говорил непонятно. И не было в нём учёного высокомерия, а во мне наглости невежества. Его слова обыкновенны, даже слишком обыкновенны... будничные... Слов главных и настоящих он как бы избегал. Откладывал. Для какого такого праздника?

Ну понятно, я тоже не буду лучшее свое торжественное платье каждый день таскать. Висит оно в шкафу, а надеть всё как-то некуда и месяц и год, и выходит из моды, а дальше, глядишь, его моль съела, нынче моль приспособилась, синтетику жрёт. Он если и произносил эти слова, то не всерьёз. Будто в кавычках. И сразу мне тоже делалось неловко, неприлично спрашивать о жизни и последней истине. А вообще у нас всё было хорошо. И сын подрастал.

И тут появилась девчонка. Так себе девчонка, по плечам волосы чёрные прямые, и ничего в той девчонке не было, кроме характера. У кого страсть, а у этой характер. Вопросов она ему не задавала, ни даже лингвистических профессиональных, хотя вроде для того в нашу жизнь влезла; но мертвой хваткой в него вцепилась, и уж он ни рукой ни ногой двинуть не мог, ни головы повернуть.

Она сказала:

— Ему нужен телевизор.

Я говорю:

— Ещё чего! Рафинированному эстету такая пошлятина!

— Вы не понимаете. Ему это как бодрящая инъекция: первоклассный абсурд, высший абсурд, Беккет — Ионеско такого не напишут!

Гляжу я на девчонку... ну с моей-то фигурой не в манекенщицы, и рожала, и за тридцать, и хоть не обжора, а всё на ночь хлеб да картошку. Ну пусть, но неужели лучше рёбра! ключицы! колени! из джинсов торчат. «Я тебе вырезку дам из журнала, — говорю я ей, — комплекс специальной гимнастики, хоть мышцы на икрах нарастишь, а то милого в постели ногами изувечишь, локтями проткнёшь. Твигги-то пруттики разве из моды не вышли?»

Да что толку с сарказмов. Вот разве посуда цела, а то начнёшь бить, а потом подбирай, мети до последнего осколочка: по полу малыш ползает.

И вдруг лингвист мне предлагает: давай поженимся. Девчонка тут же сидела — коленкой дернула, но ни слова.

Все мы трое за столом водку пили, девчонка очень хорошо пила и ничего не ела. И маленький в кровати спал.

А, думаю, узду ты на себя, миленький, надеть хочешь, как человек нисколько не подлый. Но ясно же, что не я тебе пара, а Твигги. Женись не женись — будем втроем мучиться, грех, вред и бред, Достоевский девяносто восьмой пробы.

И сказала ему:

— По-моему, если ты лингвист, то слово — твой дух и твоя шпага, эссенция и экзистенция. И я от тебя ждала слова о жизни и последней истине, а ты, император слов и точности король, ты мне всякий раз вместо хлеба камень. — Он поднял голову, протянул руку. — Да нет, — говорю, — нет, мальчик мой, я не в обиде, я же вижу, ты не по злой воле, а просто у тебя в голове и в сердце каша, как и у всех.

Девчонка сигарету бросила, другую схватила, он ей зажигалку, и говорит девчонка тихонько, чуть слышно:

— Санкта симплиситас!

— Нет, — отвечаю, — это не его костер, это мой. Я как подумаю, до какого ужаса он во мне ничего не смыслит, — мне и горько, и сладко.

Он сказал: «Ну давай я тебе деньги давать буду, для ребенка...»

Он честно обязывался. Но какие у него деньги? Раза два давал, нет, даже три, но я комнаты меняла, меняла и адреса не оставила. Да он помнил ли — мальчик у меня или дочка?

А сын рос. Римский король, ребёнок как ребёнок, потом юноша как юноша. Не в нём, не в размерах личности его было дело, а в том, что началась у меня тогда страсть к быту и дому, эта страсть в меня однажды ночью проникла, с ней я проснулась и как впервые увидела: потолок и пол, жизнь и смерть, бельё и посуда. И так много лет подряд, пока не подошло время, и Римский король женился. Что ж, было двое, стало трое, а всё хозяйство по-прежнему делала я сама. Паркет натирала до золотого сияния. И не уставала, не болела, не старилась. Дела мои были —

изо дня в день, а что сверх того, так мне не до того. Разве я не высшему служила?

И захотелось мне их испытать, невестку и сына. Вымыла одну паркетину с мылом, тряпочка в двух водах полоскана. Намазала мастикой и щеткой натёрла, суконкой отшлифовала. Заблестела длинная узкая паркетина как шпага — то есть уже вещественное шпаги не осталось, а только блеск, чистое пламя духа. И сияло посреди комнаты на самом видном месте как идеал, призыв и вызов. День я ждала, и другой, и третий. Блеск потускнел, а потом и вовсе пропал: на него ногами наступали.

Я невестке ни слова не сказала. Я же не ведьма-све-кровь, да и зачем? Не поймут. Что она, что Римский король. Он, бедняжка, я ни разу не видела, чтобы воспламенился: так всё потихоньку, то потухнет, то погаснет. Скучно мне стало, и я с ними разъехалась.

Они себе сына родили. Он ко мне часто бегаёт. «Ланну, — говорит, — ноги оторвало, а Жюно, герцог д'Абрантес, с ума сошёл». А я одна живу, и все мои страсти кончились.

Святой Христофор тоже устал, наверно, под старость: то землю рыл, то камни катал в гору. А Богу служить легко: сиди и люби его, и всё служение. Сидишь себе на солнышке, зажмурив глаза, гредишь или дремлешь, а можно и во все заснуть и во сне кого-нибудь видеть: а может быть, это и есть Бог. Если Бог приснится — чего же лучше?

(Тамара Корвин. Император // Часы, № 39, 1982)

Загадка

Взгляните на иллюстрации этой книги!

Какая мысль приходит вам в голову при первом ознакомлении с ними? Вы видите перед собою портреты... Портреты кого?

Кто их не слишком пристально рассматривал, тому покажется, быть может, что это всё портреты с разных лиц.

Кто повнимательнее, тот подметит, что многие из них похожи друг на друга и что, пожалуй, это всё портреты с одного оригинала. Но если так, то... каков же он на самом деле? в действительности? в жизни? почему он столь различен здесь, и там, и сям, этот неуловимый, за всеми этими обличьями, оригинал? этот таинственный «нумен», так интригующе скрывающийся за всеми этими «феноменами»?

Кто подогадливей, придёт, быть может, к заключению, что это всё либо один и тот же актёр в различных ролях (или в различных сценах одной и той же роли), либо различные актёры в роли одного и того же лица, известная внешность которого достигнута идентичным, по тенденции, гримом.

Наконец — кто знает меня лично — найдёт, конечно, сразу, что это всё мои портреты (портреты с меня, автора этих строк), отметит, в каком из них достигнуто большее со мною сходство, в каком меньшее, и только напоследок выразит, быть может, удивление, как различно может выглядеть одно и то же лицо на полотнах различных по духу, по таланту, по стилю или по направлению художников.

Если такой знаток меня окажется вдобавок и знатоком современной русской живописи, легко может случиться, что он безошибочно укажет, не смотря на подписи художников, кто именно автор того или иного портрета; скажет, возможно даже улыбаясь легкой очевидности «письма» того или другого художника, хорошо ему известного, что «это, конечно, Добужинский», «ну, это Репин», «это Бурлюк», «это Кульбин» и т. д. (мол «как же тут не распознать!»).

Если такой «сортировщик» знаком, допустим, только с литературными произведениями Осипа Дымова, В. Маяковского, Василия Каменского (а еще лучше — знает их лично), — нет сомнения (держу пари!), что и их живопис-

ные наброски с меня он также, не глядя на подпись, без-
ошибочно прочтёт, указав, что «это вот портрет с Евреино-
ва Осипа Дымова», «это... ну это, конечно, Маяковский!
так мог изобразить Евреинова только Маяковский», а «это
pinx Василий Каменский; он, он!».

Почему «он, он», когда на портрете «я, я»?

Почему портреты с меня кажутся порою некоторым
портретами с разных лиц?

Почему оригинал неуловим в ряде этих портретов с него?

Почему — откуда мы узнаём, — несмотря на подпись,
что этот портрет работы Репина, а тот Добужинского?
узнаём в известных случаях скорей авторов портретов,
чем их оригиналы?

Сеть закинута. —

Крючковатая сеть вопросов коварно закинута в бурное
море безбрежного искусства, чья глубина таит Неведомое.

Остается только «помолиться Богу» в ожидании счаст-
ливого улова сытных ответов.

(Николай Евреинов. Оригинал о портретистах, 1922)

→ 20 августа: Оригинал о портретистах, 2

Кому вражда всего милей,
Кто сеет бедствия повсюду,
Тот должен в хижине своей
Людскую кровь собрать в запруду.
Пусть он её из кубка пьёт
И в хлебе ест и, словно в храме,
Хвалу святыне воздаёт,
Крестясь кровавыми руками.
И пусть он, радостный жених,
Гостей на свадьбу приглашает,
Пускай за стол сажает их
И в луже крови ублажает.

И пусть постель постелет в ней,
И пусть возляжет в ней с женою,
И народит себе детей,
И наслаждается семьёю.
И пусть он мёртвым ляжет тут
В свою кровавую гробницу...
Коль ты убил — тебя убьют,
Род не простит тебя, убийцу!

*(Важа Пшавела.
Алуда Кетелаури)*

ИЮЛЬ

27

пятница

ВОЛОДИН. — Когда наступает утро, Курилин просыпается. Не сознавая, что делает, посреди ночи он забился под какой-то навес. Стиснув руками какую-то деревяшку, обточенный в чурку еловый обрубок, он вновь обретает контакт с миром. Его бьёт дрожь, он тащится к себе в подвал. Первая смена уже приступает к работе, слышно, как в мастерских запускают пилы. Курилин спускается по лестнице, толкает ведущую в его крохотную каморку дверь. Всё ещё горит лампа, но внутри никого нет, его собутельники, не иначе, кое-как вернулись на рабочие места, сняли решетки, чтобы можно было принимать материалы, распахнули главные ворота.

Курилин кладёт на стол еловый обрубок, уносит за кулисы бутылки и остатки закуски. Садится за стол сам, но вскоре встает. Берёт карандаш и лист бумаги, что-то пишет.

ВОЛОДИН. — Он берёт карандаш и в очередной раз пытается выплеснуть на бумагу то, чем полнится его голова, но после двух безграмотных строк останавливается. Лежащая на столе чурка напоминает некий невнятный тотем. Это не чурка, не безымянный элемент мебели, не грубое изображение какого-то божества или человека. Всего-навсего обрубок дерева, отбракованный за ничем-

ностью столярами через минуту работы на токарном станке, но Курилин отодвигает свои бесполезные письменные принадлежности и обращается к нему.

Негромкий звон колоколов, выстрелы.

КУРИЛИН: — Тебе, Степан Федорович Абрашин, было страшно. Ты испугался сразу после ареста, на протяжении допросов, пока из тебя старались вытянуть контрреволюционные глупости, все эти нескончаемые апрельские, майские и июньские недели. Ты ничего не понял, тебя не оставляла мысль, что всё в конце концов уладится, в глубине души ты знал, что тебя не могут посадить ни за что ни про что, что тебя не сошлют в лагерь по сфабрикованному от начала и до конца поводу. Тебе разбили лицо, у тебя был полон рот крови, тебе не давали спать, тебе было страшно, но ты сохранял крупицу надежды. Ты не разговаривал с другими заключенными. Мне тоже, Степан Федорович, в ту пору было страшно. Меня некому было услышать, и в глубине души я знал, что мне оттуда, где я нахожусь, невредимым не выпутаться, что я выпутаюсь оттуда в прискорбном состоянии. Теперь, Степан Федорович, я обращаюсь к тебе. Мы вместе. Попытайся больше не бояться. У нас с тобой была одна и та же надежда, но дела повернулись как нельзя хуже. Попробуем вместе обо всём этом поговорить.

Курилин уходит.

ВОЛОДИН. Этой речью перед деревянным обручком Курилин приступает в то утро к декламации своего единственного, но весьма значительного сочинения, благодаря которому он станет одним из самых непризнанных писателей своего века и, если опираться на строгую литературную периодизацию, несомненно самым безвестным писателем перестройки, тем, кому, очевидным образом, суждено было оставить в мире тщетного слова меньше всего следов.

Курилин не пишет. Он отступает от идеи воплотить то, что имеет сказать, в чернилах.

То, что имеет сказать, он и говорит.

У его романа было несколько названий, «Повесть о воскресеньях, оказавшемся понедельником», «В тот день воскресенья не было», «Кровавый понедельник», но в конце концов Курилин выбрал «Воскресенье назавтра выдастся ясное» и больше это название не менял.

Существенно, что он неустанно продолжает работу, посвящает ей всю свою жизнь.

Курилин собирает тряпки, куски железа, деревянные обрубки, изредка кукол и наделяет их той или иной личностью. Он воспринимает их одновременно и как публику, и как сборище персонажей. Он старается не задевать своих собеседников и беседует с каждым душевным, братским голосом, не хочет, чтобы мёртвые видели в себе виновников его передраг. Он не жалуется и выбирает слезный тон, лишь сопровождая слова, которые предоставляет жертвам в камере, в предшествующем казни одиночестве, в те мгновения, когда неподалеку, лишая их последних надежд, раздаются ружейные залпы.

Курилин составил целую коллекцию отбросов, собранных на фабричной свалке и на улицах.

Уходит. Возвращается Курилин, в руках у него мешок. Он достаёт из мешка тряпки, деревяшки, куски железа, кукол, рассаживает их на столе. Пьёт из бутылки, залезает на стул под лампочкой без абажура, жестикулирует и как бы тяжеломерно танцует на месте.

КУРИЛИН. — Дедёнок!.. Дедёнок Михаил Ермолаевич!.. Белорус, беспартийный! 1902 года рождения; Белорусская ССР, Крупский район, деревня Трояново!.. Малограмотный; завод «Станколит», чернорабочий!.. Проживал по адресу: Москва, улица Складочная, дом 20, барак 10, комната 11; арестован 16 марта 1938 года!.. Приговорён тройкой при УНКВД по Московской области 3 июня

1938 года по обвинению в контрреволюционной агитации среди рабочих завода «Станколит», клеветнических высказываниях о жизни в СССР, оскорблениях вождей Партии и Советской власти!.. Расстрелян 27 июня 1938 года!.. Димитров Николай Петрович!.. 1902 года рождения; Румыния, город Бакау, Тыргокне!.. Еврей!.. Беспартийный, образование незаконченное высшее!.. 21-я типография, наборщик, проживал по адресу: Москва, 1-я Мещанская улица, дом 33, квартира 43; арестован 3 марта 1938 года!.. Приговорён комиссией НКВД СССР 29 мая 1938 года по обвинению в шпионской деятельности в пользу румынских разведывательных органов!.. Расстрелян 27 июня 1938 года, брошен в общую могилу в Бутово!..

Курилин слезает со стула, ласкает одну за другой кукол и чурки на столе.

Возвращается Володин.

ВОЛОДИН. — Из года в год роман Никиты Курилина почти не меняется. Автор закрепляет в нём одногласные тюремные отрывки, добавляет несколько имен тех, кто стоял на земле Бутова, слышал совсем рядом залпы, дождался своей очереди, чтобы занять место перед солдатами. Соловьев, русский, образование низшее, грузчик, контрреволюционная агитация и повстанческие антисоветские настроения. Пименов, русский, образование низшее, сторож, враждебное настроение по отношению к советской власти. Скампер, австриец, образование низшее, слесарь, шпионаж в пользу Австрии. Стрельцов, русский, образование низшее, шпионская деятельность, передача секретных сведений японской разведке. Стуколин, русский, образование низшее, кладовщик, постоянная контрреволюционная деятельность среди жильцов своего дома. Ульшин, русский, малограмотный, член колхоза, контрреволюционная агитация среди заключённых. (Пауза.)

27 июня 1988 года Курилину исполняется пятьдесят. На дворе понедельник.

КУРИЛИН. — Мне пятьдесят лет.

ВОЛОДИН. — Он собирает вокруг себя своих персонажей, прямо на полу, который не подметал и не мыл уже три недели, на дурно пахнущем соломенном тюфяке, где провёл мучительную ночь, на покрытом крошками и пятнами тошнотной бормотухи столе, на паре колченогих стульев. Он вновь обращается к своим персонажам.

КУРИЛИН. — Кузьмичёв Степан Андреевич!.. 1881 года рождения; Тульская область, Чернский район, деревня Полянка!.. Русский, образование низшее, беспартийный!.. Педагогический институт, дворник; проживал по адресу: Москва, 1 улица Усиевича, дом 64, квартира 6; арестован 28 марта 1938 года, приговорён тройкой при УНКВД по Московской области 3 июня 1938 года!.. Обвинение в контрреволюционной агитации среди педагогов и жильцов и систематической антисоветской клеветнической пропаганде; расстрелян!.. Расстрелян 27 июня 1938 года на полигоне в Бутово!.. Захоронен в Бутово!..

Громкий колокольный звон, выстрелы.

КУРИЛИН. — Кузьмин... Иванов, Лебедев, Матвеев, Подзоров!.. Свиричев, Скорынин!.. Ульянов!.. Фёдоров!..

ВОЛОДИН. — Все они мертвы. Если считать акушерку, бабушку, мать и самого Курилина, их в рассказе сто сорок пять, что даже чисто формально выдвигает его в ряд крупнейших писателей-полифонистов последних лет СССР. (*Пауза.*) Затем Курилин разматывает электрический провод, который подобрал вчера на стройке.

Курилин разматывает электрический провод, смотрит вверх в поисках гвоздя, затем выходит со стулом и проводом в руках.

ВОЛОДИН. — И вешается.

Громкие выстрелы.

Володин спускается в зрительный зал.

Занавес

(Антуан Володин. Воскресенье назавтра выдастся ясное.

Перевод В. Лапицкого, инсценировка Б. Останина)

ЛО ИИЕТ АН СССР

С трудом, на последнем издыхании и нежелании, с отсрочками и академотпуском окончил я матмех, кое-как накарябал диплом и на удивление синекурно по тем временам распределился в Институт истории естествознания и техники (Университетская наб., 5; напротив, в Таможенном переулке — Кунсткамера и столовая-академичка), но там, увы (или к счастью?), долго не продержался — душе, как видно, хотелось другого. Летом 1971 года подал начальству (Мелещенко, Кугель) заявление по собственному желанию, для чего прибыл в свой финальный рабочий день (лето, солнце, жара) в контору оригинальным образом: на лодке, взятой под залог у Аничкова моста. Явившись в присутствии, пропел симпатичным девочкам-секретаршам Рите и Наташе, за которыми платонически ухаживал: «Поедем, подруги, кататься, давно я того поджидал!» Те поначалу моим словам не поверили, потом, заподозрив всё-таки их достоверность, пришли в восторг, выбрались в лёгких шёлковых платьях из академической духоты на прохладную невскую волну. Я, доводя ситуацию до гротеска, разделся догола, нырнул в воду, плескался в виду Университета аки тюлень, тритон и наяда. Самуил Аронович (Кугель) отпустить меня никак не хотел, изо всех сил уговаривал, хвалил «умную голову», намекал на целевую аспирантуру, но я твёрдо стоял на своём. Когда, получив всё-таки дозволение об отставке, возвращался на Фонтанку, был перехвачен на Неве бдительной речной милицией и оштрафован, дай Бог памяти, на 50 копеек. Так завершилась моя академическая карьера

ИЮЛЬ

28

суббота

в ЛО ИИЕТ АН СССР, изучение вертикальной и горизонтальной мобильности по Питириму Сорокину, флирт с Ритой и Наташой, каждодневные обеды в академической столовой и мн. др.

Впрочем, не совсем: какое-то время провёл в дворце Бобринских на Красной улице, в НИИКСИ (Институт комплексных социологических исследований), под началом бывшего военного разведчика, а тогда уже, бери выше, социолога-культуролога Кузьмина, но и там моё терпение по-кошачьи быстро иссякло: перебрался вскоре сторожем на лодочную стоянку на Пряжке, потом в котельную. В ЛО ИИЕТе впоследствии служил кое-то из моих далёких знакомых: Лёня Жмудь, Дима Гузевич...

Милая Татьяна!

Раннее утро, Лика собирается на котласский поезд: чемодан с одеждой, рюкзак с книгами, пластиковый пакет с традиционной курицей и помидорами, а я, примостившись на краешке кухонного стола, где мы только что трапезничали, нашёл, как в известном анекдоте, время и место для обещанного письма.

Во-первых, огромное тебе спасибо за участие в нашем свадебном торжестве: проделала такой крюк из Сыктывкара — вовек не забудем! Во-вторых, спешу огорчить: твою просьбу написать для «АРТ»'а статью о малых народах выполнить не сумел. Благодарю, конечно, за доверие, но... И дело вовсе не в том, что две недели после твоего отъезда мы провели на Белом море, а в том, что мне оказалось невероятно трудно (считай, невозможно) сочинить по этому поводу что-нибудь *толковое* и/или *новое*. И не то, чтобы я сразу сдался, нет, даже тетрадку с ручкой в рюкзак положил, но мысли мои о малых народах оказались такими неказистыми и бессвязными, что соединить их в статью — даже имея на это время — ну никак не получилось. В подтверждение того, что на Варзуге и в Чаваньге я думал не только о молодой жене и красотах северной природы, посылаю тебе свою россыпь-и-розницу с не до конца ещё утраченной надеждой, что когда-нибудь свяжу всё воедино.

Я и сам, *возможно*, дитя малых народов. Один из моих дедов — пермяк Пётр Коновалов — романтическим образом умыкнул из семьи свою малолетнюю возлюбленную Дашу, отец которой, богатый казак из Ейска, владелец нескольких мельниц, был категорически против их свадьбы. Пётр отвёз возлюбленную в Пермь, оттуда, спасаясь от отцовского гнева, — в далёкое бурятское Забайкалье. Любили они друг друга крепко и нежно, родили трёх сыновей и пять дочерей, но ни в пермские, ни в ейские (хоть и получили вскоре прощение) края не вернулись, пустили корешки среди других народов.

«Провиденциально необходимы» самые разные звери, птицы и растения. Они заполняют разные (климатические, энергетические, пищевые) ниши согласно не высказанным вслух заветам: «Везде должна быть жизнь», «Везде должна быть *разная* жизнь». Точно так же провиденциально необходимы разные народы, заполняющие разные ниши (в т.ч. языковые) и охраняющие их, как некогда стражники охраняли стены средневекового города.

Мальчишкой, читая святцы, я всякий раз спотыкался на житии святителя Стефана Пермского, апостола зырян. Как будто осколок стекла медленно поворачивался в моём сердце, когда Стефан «на месте впадения реки Выми в реку Вычегду рубил особо почитаемую зырянскую берёзу и сжигал кумирню, чтобы поставить вместо неё церковь во имя архистратига Михаила».

В молодые годы я получил за своё отменное миролюбие (пермяцкое? по созвездию Весов, под которыми родился?) прозвище Леопольд — в честь знаменитого кота из мультфильма, который не устаёт повторять зловредным мышатам: «Ребята, давайте жить дружно!» В уме то и дело сочинял приёмы *мирного* миссионерства — без срубленной берёзы, без сожжённой кумирни. «Давайте жить дружно!» Почему-то не получается. Молох истории не терпит избытка вариантов и пожирает одни из них вовсе не потому, что они хуже других,

а исключительно *ради экономии* — чтобы не было «слишком много», чтобы не расщеплялось сознание, чтобы уберечь людей от шизофрении.

Поль Валери сказал: «Две вещи угрожают миру — *порядок* и *беспорядок*», в переводе на язык психиатрии: «Две вещи угрожают культуре — паранойя и шизофрения». Плохо тотальное всеисилие единого, но так же плохо чрезмерное разнообразие многого.

Как всегда, в жизни больше вопросов, чем ответов... Вопросы угнетают, лишают сил, заставляют выхватывать ответ *почти наугад* и подчиняться ему с тем большей силой, чем случайней он выхвачен. Но что мы знаем о случайности? Возможна ли случайность? Случайна ли случайность?

Слово *зыряне* нравится мне больше, чем *коми*, хотя это не одно и то же: зыряне — южные коми. Будь моя воля, переименовал бы Республику Коми в Зырянскую. Во-первых, появляется прилагательное, невозможное с «коми», во-вторых, возникает хлебниковское ЗЫР/ЗИР: глаз (зыркать, зрачок), звезда (зірка) и многое другое.

Но действительно ли *сейчас* мало разнообразия? 90-е годы в России прошли, казалось бы, под знамёнами плюрализма, и народ устал от непривычного ему идейного изобилия. *Казалось бы*. Ибо нынешняя пена разнообразия порождается очень немногими механизмами (их 3–4, как осей в кристалле): успех, господство личного над общим, «инога мира, кроме нашего, нет»... Я бы назвал действие этих механизмов «тоталитаризмом плюрализма», да боюсь растворить важную тему в чисто словесной игре.

Я приближался к Республике Коми несколько раз и с разных сторон — но так и не достиг её. Жил на Терском берегу Белого моря, бывал в Архангельске, был однажды приглашён на Канин Нос, заезжал в Вологду, работал в Екатеринбургe, добрался однажды до родной Перми... Кончилось тем,

что судьба послала мне в жёны зырянку (о чём узнал не сразу): географические круги уступили место семейной сердцеvine. Теперь Зырянский край под боком.

Слышал уже не раз, как, соблюдая тактичность, говорят: «малочисленный народ» — вместо «малого». Что-то вроде «слабослышащего» — вместо «глухого» или «инвалида по зрению» — вместо «слепого». Не хотят обидеть, а получается неуклюже и нелепо: уютное и обжитое (пусть не совсем точное) слово уступает место научно-бюрократической *скрепке*, дай Бог, не монстру!

(Письмо Татьяне Нишанбаевой, 29 июля 1999 года)

→ 17 августа: Письмо Нишанбаевой, 2

Воспоминания

Вспоминают сапоги:

«Он всегда нас любил, он всегда вытряхивал из нас игопочки».

Черныш говорит: «Он приносил на мост литр молока, с печеньем, он же городской, и привозил печенье. Я сижу на мосту — по кличке Черныш — и он мне в тарелочку наливает молока и приумакивает в молоко от Мильки две печеньюшки. Я ждал его, как всегда, на следующее лето, но зимой меня задавило».

«Я ждала его от июля до июля. Он находил меня, подсаживался на корточки в платочке и говорил мысленно: «Красавица созрела!» Потом брал меня за бока и принимался. Потом клал меня осторожно в аквариум со смиренно лежащими соперницами. Когда всех их в избе давили, я ускользала и в залитом молоке всплывала! Великолеп-

ИЮЛЬ

30

понедельник

ная, как китёнок в Белом море. Тут он меня и зачерпывал ложкой: расписной». (Из воспоминаний земляники).

«„Ты молилась ли на ночь, осина“! — так говорил он, прикладываясь к моей осинистости в предвкушении предосенности. Из лесу слышалось голосом бабушки Насти: „Только не обрубись, чадо! А то согрешим с тобой!“ Ломал он меня. И ломалась я стеклянными ветками. Сенокос был не урожайный. А Милька была на последнем году жизни. Но надо же: про осины он как-то напрочь забыл, ничего ни про осину, ни про осиновый трепет в его стихах не найти, да и стихов не найти: он для меня так и остался навеки прозаическим дровосеком. Рубить осину! На родине предков! Какая лёгкая добыча! Он же не зубами нас грыз, а вырубал просеки топором».

Корова Милька вспоминает: «Я выменем своим кормила весь наш двор: курицы и те кормились творогом из-под меня. Серёжа, конечно, возрос на моём млеке: он тоже мой телёнок — как Мартик. Просто моих бестолковых Мартиков закатывали в банки (тушонка называется), а Серёжа все рос на Мартиках, его никто не закатывал по каждому декабрю. Бабушка Настя, конечно, плакала и не присутствовала при казнях. И Мартиками кормила только мужское население. Сама же ела только толокно. Наш же герой этих скучных описаний жил в городе с матушкой Гетой Андреевной и сестренкой Леной Олеговной в городе С. и понятия не имел о тех кровавых событиях, творившихся тут у нас на вологодчине в красном ноябре. Сначала резали борова (Мартика, но он поресёнок). Он вырывался, визжал и убегал — иногда ему удавалось добежать до лесу, но, почуввав серых волков, он все-ж-таки спускался с Дуниной горы в деревню и сам подходил к огню и расстеленному брезенту, ложился на брезент, задирали самопроизвольно правую переднюю ногу — а уж вонзить туда нож ничего не стоило.

Старик Киселёв это делал без всякого надрыва: подставлял кружку под струю и выпивал кружку. Ничего садистического в этом не было: все было по-хозяйственному. И Мартик тут же затихал, пнув этот мир напоследок своим весёлым и беспокойным копытом, которое пойдёт в скором времени на поминки человеческого покойника на холодец...»

Из отрывочных воспоминаний Мартика (поросёнка 1975 года). «О! Да! Да! Да! Он же меня, Мартика 1975 года рождения, март, 8-е марта, постоянно рисовал! Этот крошечный великий двуножка на велосипеде в коротких штанишках! Я был уже давно довольно не поросёнком, а крутобоким боровом. Жить мне оставалось единственно только благодаря его рисункам. Маленькое окошечко в моей спальне он прочистил берёзовой палкой, пауки тут же бросились врассыпную! О! это окошко без этой застыщей голубой взор призраков Арахны! Вставать я не мог, чтобы полазять палочки. Оскоплённый, жирный, но живой, я подал голос сдавленным хрю: хрю да хрю — и подставил ему бок своего живого жира с белыми волосиками. Он присел на голые коленки и стал чесать своими тоненькими пальчиками мою свиную гётевскую кожу, всю в художественной щетине. Конечно, я только похрюкивал, мечтая только об том, чтобы ему это не надоело. Я поражался его усидчивости. В деревне нас же не ласкают. Поленом по жопе — пошёл, скотина! — в основном основная ласка (потому у нас такой образ, что мы постоянно трёмся об заборы). Он был ласковый, он был влюблён в меня, хоть я и свинья, которую обхаживают по минимуму, чтобы заколоть. Дедушка посылал ему закатанные банки тушонки с моими ляжками. Узнавал ли он меня — не могу сказать. Но когда он трогал щетину кисточек, конечно, узнавал своего Мартика. В общей системе ценностей я благодарен ему хотя бы за то, что в стаюшке он запоминал мои глаза с белыми ресницами и рисовал на белой странице моё рыло».

Овод: «Дети — это дети. Лучше не попадаться им на соломинку. Но этот мальчуган никогда не вставлял нам соломинку, чтобы это звучало до сердца. Уносились ввысь и прощай!».

Грибы говорят: «Грибницу оставлял. Не рвал второпях. Исковый, как Ленин, этого не отнимешь. Иногда маленький грибок накроет хворостом, чтобы — или не наступили, или не нашли. Но то, что это была сволочь с корзинкой, обмазанная мазью от комаров — это однозначно».

Олень говорит: «Видел меня только на марке и нарисовал совершенно какого-то другого оленя».

(Сергей Спирихин. Деревянная подложка, отрывки)

→ 27 августа: Деревянная подложка, 2

ИЮЛЬ

31

вторник

П е р в ы й. ...Я хочу, чтобы актёр был очень рассудочным; он должен быть холодным, спокойным наблюдателем. Следовательно, я требую от него пронизательности, но никак не чувствительности, искусства всему подражать или, что то же, способности передавать любые роли и характеры.

В т о р о й. Никакой чувствительности!

П е р в ы й. Никакой. Мои доводы пока не совсем связаны, но позвольте излагать их так, как они мне приходят на ум, в беспорядке...

Если б актёр был чувствителен, скажите по совести, смог бы он два раза кряду играть одну и ту же роль с равным жаром и равным успехом? Слишком горячий на первом представлении, на третьем — выдохнется и будет холоден как мрамор. Не то внимательный подражатель и вдумчивый ученик природы; после первого появления на сцене под именем Августа, Цинны, Оросмана, Агамемнона, Магоме-

та, он строго копирует самого себя или изученный им образ, неустанно следит за нашим восприятием; его игра не только не ослабеет, а укрепитя новыми собранными им мыслями; он либо станет ещё пламеннее, либо умерит пыл, и вы будете всё больше и больше им довольны. Если он будет самим собой во время игры, то как же он перестанет быть самим собой? А если перестанет, то как уловит точную грань, на которой нужно остановиться?

Меня утверждает в моем мнении неровность актёров, играющих нутром. Не ждите от них никакой соразмерности; игра их то сильна, то слаба, то горяча, то холодна, то плоска, то возвышенна. Завтра они провалят место, в котором блистали сегодня, зато они блеснут там, где провалились накануне. Меж тем актёр, который играет, руководствуясь рассудком, изучением человеческой природы, неустанным подражанием идеальному образу, воображением, памятью, — будет одинаков на всех представлениях, всегда равно совершенен: всё было измерено, рассчитано, изучено, упорядочено в его голове; нет в его декламации ни однообразия, ни диссонансов. Пылкость имеет свои нарастания, взлёты, снижения, начало, середину и высшую точку. Те же интонации, те же позы, те же движения; если что-нибудь меняется от представления к представлению, то обычно в пользу последнего. Такой актёр не переменчив: это зеркало, всегда отражающее предметы и отражающее с равной точностью, силой и правдивостью. Подобно поэту он бесконечно черпает в неиссякаемых глубинах природы, в противном случае он бы скоро увидел пределы собственных богатств.

Что может быть совершеннее игры Клерон? Однако последите за ней, изучите её, и вы убедитесь, что к шестому представлению она знает наизусть все детали своей игры, как слова своей роли. Несомненно, она создала себе образ и сперва стремилась приспособиться к нему; несомненно, образ этот она задумала сколь можно более высоким, вели-

чественным и совершенным. Но образ этот — взятый ли из истории или вызванный её воображением подобно призраку — не она сама. Будь он лишь равен ей, какой слабой и жалкой была бы её игра! Когда путём упорной работы она приблизилась, насколько смогла, к своей идее — всё кончено; твердо держаться на этом уровне — дело упражнений и памяти. <...>

Я не сомневаюсь, что лишь только Клерон поднялась на высоту своего призрака, борьба окончена; она владеет собой, она повторяет себя без всякого волнения. Как это иногда бывает в сновидении, голова её касается туч, руки простерлись до горизонта; она — душа огромного манекена, облекшего её своим телом; работа прочно укрепила на ней эту оболочку. Небрежно раскинувшись в шезлонге, скрестив руки, закрыв глаза, не двигаясь, мысленно следя за своим образом, она себя видит, слышит, судит о себе, о впечатлении, которое произведёт. В эти минуты в ней два существа: маленькая Клерон и великая Агриппина.

В т о р о й. Послушать вас, так актёры во время игры или занятий больше всего похожи на ребятишек, которые ночью изображают на кладбище привидения, подняв над головой белые простыни на шесте и испуская под этим сооружением заунывные вопли, пугающие прохожих.

П е р в ы й. Совершенно верно. Вот Дюмениль — не то, что Клерон. Она поднимается на подмостки, не зная ещё, что скажет. Половину спектакля она не знает, что говорит, но бывают у неё моменты высшего подъёма. Да и почему бы актёру отличаться от поэта, от художника, оратора, музыканта? Не в упоении первых порывов встают перед ними характерные черты, они появляются в моменты холодные и спокойные, в моменты совершенно неожиданные. Откуда приходят эти черты, никто не знает; их даёт вдохновение. Застыв между натурой и её наброском, гений переносит зоркий взгляд с одного на другое; вдохновенная красота, разлитая в его творении, неожиданные черты, поразившие

его самого, будут долговечнее, чем набросанное им в первой вспышке. Хладнокровие умеряет восторженное неистовство. Не потерявший голову безумец властвует над нами; власть эта даётся тому, кто владеет собой. Великие драматурги — неустанные наблюдатели всего происходящего вокруг них в мире физическом и в мире моральном.

В т о р о й. Миры эти — единство.

П е р в ы й. Они схватывают всё, что их поражает, и составляют запасы. Сколько чудес, сами не ведая, переносят они в свои произведения из этих внутренних запасов! Пылкие, страстные, чувствительные люди выступают на общественную арену; они дают спектакль, но не они им наслаждаются. По их образцу гений создаёт копию. Великие поэты, великие актёры, может быть, вообще все великие подражатели природы, одарённые прекрасным воображением, силой суждения, тонким чутьём и верным вкусом, — существа наименее чувствительные. Они слишком многогранны, они слишком поглощены наблюдением, познанием, подражанием, чтоб переживать внутреннее волнение. Я представляю их себе всегда с записной книжкой на колене и карандашом в руке.

Чувствуем мы; они наблюдают, изучают и рисуют. Сказать ли? Почему же нет? Чувствительность отнюдь не является свойством гения. Он может любить справедливость, но будет поступать согласно этой добродетели, не получая от того улады. Всем ведаёт не сердце его, а голова. Чувствительный человек теряет её при малейшей неожиданности; никогда он не будет ни великим королём, ни великим министром, ни великим полководцем, ни великим адвокатом, ни великим врачом. Заполните хоть весь зрительный зал этими плаксами, но на сцену не выпускайте ни одного. Взгляните на женщин; разумеется, они далеко превосходят нас в чувствительности: разве мы можем равняться с ними в мгновения страсти! Но насколько мы им уступаем в действии, настолько в подражании они стоят

ниже нас. Чувствительность — всегда признак общей слабости организма. Единственная слеза, прорвавшаяся у мужчины, у настоящего мужчины, нас трогает больше, чем рыдания женщины. В великой комедии — в комедии жизни, на которую я постоянно ссылаюсь, все пылкие души — на сцене, все гениальные люди — в партере. Первых зовут безумцами; вторых, копирующих безумства, зовут мудрецами. Зоркий мудрец улавливает смешное в различных персонажах, рисует его и вызывает в вас смех и над несносными чудаками, чьей жертвою вы были, и над вами самим. Это он наблюдал за вами и чертил забавное изображение и чудака и ваших мучений.

Как ни доказывай эти истины, великие актёры не согласятся с ними; это их тайна. Посредственные же актёры и новички созданы, чтобы опровергать их, а о некоторых других можно бы сказать: они верят, будто чувствуют, как говорили о суеверах, что они верят, будто верят; для одних без веры, для других без чувствительности нет спасения.

Но как, — скажут мне, — эти жалобные скорбные звуки, исторгнутые матерью из глубины её существа и так бурно потрясшие мою душу, вызваны не настоящим чувством, не само отчаяние их породило? Нисколько. И вот доказательство: они размерены, они являются частью декламационной системы, будь они на двадцатую долю четверти тона выше или ниже — они звучали бы фальшиво; они подчинены закону единства; они подготовлены и разрешены, как в гармонии; они отвечают всем нужным условиям лишь после долгой подготовки; они направлены к решению поставленной задачи; чтобы они звучали правильно, их репетировали сотни раз и даже этих бесчисленных репетиций иногда не достаточно <...>, актёр долго прислушивался к самому себе; он слушает себя и в тот момент, когда потрясает вас, и весь его талант состоит не в том, чтобы чувствовать, как вы полагаете, а в умении так тщательно передать внешние признаки чувства, чтобы вы обманулись. Вопли скорби за-

печатлены в его слухе, жесты отчаяния он знает наизусть, они разучены перед зеркалом. Он точно знает момент, когда нужно вытащить платок и разразиться слезами; ждите их на определённом слове, на определённом слоге, ни раньше, ни позже. Эта дрожь в голосе, отрывистые фразы, глухие или протяжные стоны, трепещущие руки, подкашивающиеся колени, беспамятство и исступление — чистое подражание, заранее разученный урок, патетическая гримаса, высочайшее кривляние, которое актёр помнит долго после того, как затвердил его, и в котором отдаёт себе отчёт во время исполнения; но, к счастью для автора, зрителя и самого актёра, оно не лишает его свободы духа и требует лишь, как и другие упражнения, затраты физических сил.

Как только котурны или сандалии сброшены, голос его слабеет, актёр испытывает величайшую усталость, он должен переменить одежду или прилечь; но ни следа от волнения, скорби, грусти, изнеможения души. Все эти впечатления уносите с собой вы. Актёр устал, а вы печальны, потому что он неистовствовал, ничего не чувствуя, а вы чувствовали без неистовств. Будь по-другому, звание актёра было бы несчастнейшим из званий, но он не герой — он лишь играет его и играет так хорошо, что кажется вам самим героем: иллюзия существует лишь для вас, он-то отлично знает, что остаётся самым собой...

(Дени Дидро. Парадокс об актёре // Собрание сочинений, т. V, 1936)

→ 5 октября: Дидро, 2

АВГУСТ

АВГУСТ

1

среда

У Томаса Манна в «Признаниях авантюриста Феликса Круля» есть эпизод теннисной игры, в которой дилетант Круль демонстрирует выдающуюся своей нестандартностью игру (в спорте это, пожалуй, несколько сомнительно: больно уж велико преимущество профессионала над дилетантом, но в интеллектуальной сфере я, хоть и не авантюрист, несколько раз оказывался на месте Круля). Ограничусь тремя примерами.

1) Шахматист я средний: в школе играл на уровне 2-го разряда; в Каткином садике разве что издали наблюдал за виртуозами; иногда переставлял фигуры с Борисом Ивановичем (игрок добротный, но скучноватый), Кириллом, своим харьковским братом Геннадием, Володей Швейком, Виктором Кривулиным (страстный фантазёр, легко поддавался на любые провокации и ловушки); с годами мой интерес к игре постепенно испарился, разве что сочинил минималистские изображения фигур для скорейшего составления шахматных диаграмм.

Как-то в гостях у Наума Подражанского познакомился с его симпатичной сестрой Ольгой, с головой погружённой в шахматный мир. Дверь её комнаты украшала самодельная табличка «Будущая чемпионка СССР», в комнате — девичья чистота и порядок, большой книжный шкаф, набитый шахматными монографиями... Ольга (то ли кандидат, то ли мастер), как я не отнекивался, уговорила меня сыграть; надо ли говорить, что наша единственная партия (больше, «чтобы не испортить впечатления», не было ни одной) завершилась моей победой: как никогда чувствовал в этой игре органику шахмат, взаимодействие фигур, их дыхание...

Следы Наума затерялись; скорее всего, отбыл вместе с семьей в Израиль, но вряд ли продолжил там своё православное миссионерство (какое даже отцу Илье Шмаину там не удалось), зато в бытность свою в СССР Нёма ходил окружённый церковными старушками и то ли учил их духовной грамоте, то ли сам у них учился. Однажды насмешил: засобиравшись вдруг в Вырицу, «к цыганам», сам в меру цыганистый — чернявый, кучерявый, подвижный, и на моё: «Зачем они тебе?», объяснил: «У *русских писателей* такой обычай — ездить к цыганам». Вместе с Наумом я изредка коротал время в «Лягушатнике» (мороженница напротив Казанского собора, зелёные плюшевые диванчики), где собирались, среди прочих, юные матмеховские дарования, будущие либералы и сионисты: Борис Гройс, Боря Голубев, Элик Явор, Петя Брандт, Валера Скобло...

2) Приехал как-то в Москву в гости к Володе; встречают в коридоре все трое (Володя, Алёна, Маша) с новомодным тогда кубиком Рубика в руках, объясняют правила, просят не откладывая помочь («У нас не получается!»); я, не сняв пальто, не сбросив башмаки, буквально на пороге делаю несколько судорожных движений туда-сюда, потом ещё, и — Бог мой, — алле-гоп! кубик собран, каждая из шести граней обрела свой собственный цвет. Общий восторг: «Как ты это сделал?», яжимаю плечами, сам не знаю. В дальнейшем я *никогда более* не прикасался к злосчастному кубику, зато авторитет в глазах московского семейства, особенно у Маши, заработал на всю жизнь. Попытался было настоять на своей рубиковой никчемности — *не поверили*, решили, что притворяюсь, набиваю цену.

3) Примерно то же случилось в семейном кругу «белых колдуний» Ольги и Наташа: кто-то из них спел песню на совершенно незнакомом мне языке (я слыхом не слыхивал тогда ни испанский, ни Марию дель Мар Бонет) и огорошил вопросом: «Какой это язык?» Мой ответ прозвучал *немедленно* и как бы *сам по себе*, независимо от моих мозговых усилий: «Каталанский!» Немая сцена, переходящая в аплодисменты.

→ 18 августа: Canço dels enamorats

Рихард Рети (1921)

АВГУСТ
2
четверг

			♙
♚	♘	♞	♞

Ничья.

→ 13 августа: Аноним

Решение этюда от 29 апреля:

1. с7 Лd6+
2. Крb5 Лd5+
3. Крb4 Лd4+
4. Крb3 Лd3+
5. Крс2! Лd4!
6. с8Л! Ла4
7. Крb3 Выигрыш

Вальс-жалоба Солженицыну

АВГУСТ
3
пятница

Гуси летят и летят перелётные с красными лапками,
Встречные ветры несут им попутные пух одуванчиков,
Падают перья, взлетают, кружат неподвижные рваными
хлопьями,
Лёгкие с красными лапками утки летят перелётные
грустные.

Ах, Александр Исаич, Александр Исаевич,
Что же ты, кто же ты, где же ты, право же, надо же.

По лесу, по полю белые прыгают беглые кролики,
С красными глазками прячутся в заросли зайцы бывалые,
Совы слепые, глухие медведи голодные белые-белые
Падают, пляшут, порхают, ползут и бегут перебежками.
Ах, Александр Исаич, Александр Исаевич,
Были бы, не были, ежели, нежели, дожили.

Хамелеоны, цепляясь за сучья, коряги багряные,
Цвет поминутно меняют на пристальный глаз
постороннего,
Тут же с красивыми крыльями всякие разные бабочки —
Белые яйца да красные коконы — всё муравьи подкожные.
Ах, Александр Исаич, Александр Исаевич,
Так ли, не так ли и то да не то, да не то ещё.

Чёрной черникою синей кругом прорастет смородина,
Не было ягоды слаще берёзы рябиновой,
Красная-белая, красная-белая, красная-белая сквозь
полосатая ягода,
Это зелёное-мутное царство Канада-Мордовия —
вселенская родина.

Ах, Александр Исаич, Александр Исаевич,
Что же ты, кто же ты, где же ты, право же, надо же.

Крапчатый дятел, пятнистая тварь, конопатая иволга,
Гриб сатанинский, большая поганка румяная,
Жаба косая-кривая-хромая, змея многоногая подлая,
Многоголовая да многоглавая мерзкая гадина.
Ох, тяжело, нелегко, Александр Исаевич,
Так-то, вот так, Александр Исаич, Исаевич.

(Алексей Хвостенко, Анри Волохонский, 1979)

...Удивительным фактом, который нельзя не отметить, было массовое участие евреев в ЧК. Какие мемуары того времени ни возьми, натыкаешься на имена еврейских чекистов: в Одессе — Горожанин (Кудемский), Гришин (Клювгант), Ровер, в Киеве — Ремовер, Розанов (Розенблат), Соколов (Шостак), Був-

штейн, в Харькове — Абугов, Дагин, Даганский, Мазо, Островский, Португейс, Шаров (Шавер), Фельдман, Иесель Манькин, в Николаеве — Алёхин (Смоляров), Вайнштейн, Спектор, на Украине и в Крыму — Гай (Штоклянд), Дмитриев (Плоткин), Говлич (Говбиндер), Зеликман, но и вне бывшей «черты оседлости», в Твери — Ревекка Палестинская, на Урале — Гольдман, в Симбирске — Бельский (Левин), в Самаре — Визель, Рейхман, в Саратове — Дейч, в Курске — Волков (Вайнер), Каминский, в Перьми и Вятке — Берман, в Пскове и Новгороде — Пассов, в Воронеже — Рапопорт, в Архангельске — Кацнельсон, да даже в Сибири — Бак, Южный, Берманы (оба брата), в Туркестане — Гержот, Диментман, Каплан, Слуцкий, в Самарканде — Паукер, на дальнем Востоке — Литвин, при ликвидации сдавшихся в плен офицеров Врангелевской армии — Землячка (Залкинд) и Бела Кун. И в столицах: Петрограде — Урицкий (глава ЧК), Вейзагер, в Москве — Леплевский, Мессинг, Гендин, Рапопорт. В Особом отделе ВЧК — Агранов, Алиевский, Паукер, в секретном отделении — Генкин и т.д., и т.д. И в верхушке: Фельдман — начальник следственного отдела ЧК, Трилиссер — иностранного, а среди членов коллегии ЧК — Ягода, Урицкий, Закс (левый эсер).

(Игорь Шафаревич. Трёхтысячелетняя загадка)

Тема этой книги выросла из одного частного наблюдения, сделанного в середине 80-х годов. Мне бросилось в глаза сходство двух текстов о первом и втором человеке — Достоевского и Пришвина, — сходство удивительное, вплоть до многих деталей. Я почувствовал неслучайность этих совпадений и большие глубины смысла, залегающие под ними, но долгое время не знал, как подступиться к этой теме, она была больше меня. Не было даже уверенности, что она может быть темой серьёзной научной работы. (Установка на научность разумела тогда сама собой.) Так бывает с самыми общими, глобальными проблемами: предмет рассмотрения настолько широк, что кажется, будто о нём и сказать ничего

нельзя кроме общих мест. Тем не менее интерес к теме сохранился, исподволь собирался материал, первоначально во многом случайный, «разношёрстный», но и позднее я не пытался ограничить его какими-то историческими или жанровыми рамками. Единственным критерием отбора (кроме, естественно, соответствия теме) была общезначимость, «архетипичность» представленных в материале идей и выражений.

<...>

Вот исходные цитаты из Достоевского и Пришвина:

— Это я-то — главный человек? — подхватил Стебельков, весело показывая сам на себя пальцем. [...] — Нет-с, позвольте. На свете везде второй человек. Я — второй человек. Есть первый человек, и есть второй человек. Первый человек делает, а второй человек возьмёт. Значит, второй человек выходит первый человек, а первый человек — второй человек. [...] Была во Франции революция, и всех казнили. Пришёл Наполеон и всё взял. Революция — это первый человек, а Наполеон — второй человек. А вышло, что Наполеон стал первый человек, а революция стала второй человек.

Достоевский. Подросток, 2.2.3

Почему нас манит девственная природа, где ещё не ступала нога человека? Так понимаю, что это является попыткой реализовать в небывалом своё первенство: первому ступить, где ещё никто не ступал, первому своим первым взглядом увидеть такое, что на свете ещё никто не видал. И так открыть для людей неведомую страну. [...] Так везде и во всём первый человек в борьбе за своё первенство открывает для всех новую страну.

Но горе наше в том, что есть второй человек, который почему-то сам никак не хочет, а то и не может открывать новое и рассчитан на то, чтобы присвоить себе открытое.

Сколько мы знаем открытий, присвоенных вторым человеком и названных его именем!

Первый человек открывает, второй эксплуатирует открытое. Первого человека следует назвать личностью, второго индивидуумом. У первых игра, как сила, у вторых — польза.

*Пришвин. Глаза земли,
миниатюра «Зерно личности» (1948)*

Совпадения и в самом деле удивительные, при том что Пришвин, когда писал свою миниатюру, вряд ли помнил о Стебелькове, хотя роман Достоевского он не мог не знать. Откуда же тогда совпадения? Очевидно, что они диктуются самой темой, самым «архетипом» первого–второго человека.

Главное, в чём сходятся два текста, это характер отношений между первым и вторым человеком (первый человек делает, открывает, а второй берёт, присваивает, эксплуатирует то, что сделано первым) и происходящая в результате *инверсия* — мена местами, ролями, у Пришвина и именами. Но задумаемся в эту фразу: «второй человек выходит первый, а первый человек — второй человек», и мы увидим, что симметрии здесь нет. Первый и второй до инверсии понимаются во временном смысле (то есть первый — «более ранний», «старший», а второй — «более поздний», «младший»). В этом временном смысле никакой мены быть не может: более ранний ни при каких реальных условиях не может стать более поздним по отношению к одному и тому же, и наоборот. Ясно, что «второй человек выходит первый человек» в другом, не временном смысле, а именно по важности, значимости. В этом последнем смысле первый — «главный», «важнейший» (Стебельков: Это я-то — главный человек?), а второй — «второстепенный, подчинённый».

Таким образом, механизм инверсии сложнее, чем может показаться сначала: первый по времени становится вторым по значению, а второй по времени — первым по

значению. Уже вторично главному приписывается старшинство, временной приоритет, чем и создаётся видимость симметрии. Здесь налицо два порядка: временной (другие возможные названия: исторический, онтологический, естественный) и иерархический (или социальный).

Временной порядок является исходным, а иерархический — производным от него, но не обратным, по крайней мере во временном смысле, так как время необратимо (чему не противоречит цикличность времени в архаическом мышлении). Первый порядок естественный, то есть он соотносится с *природой* (миром, бытием), а второй с *обществом*. Это члены триады «природа, общество, личность», неразрывно связанной с древней триадой «дело, слово, мысль». Можно говорить и о третьем порядке, соотносимом с третьими членами этих триад — *мыслью* и *личностью* («я»). Его можно назвать (гносео)логическим или личностным. При этом *первое* — нечто элементарное, простое, атом, индивид, то есть логическим или познавательно исходное, отправная точка познания, принцип (ср. математические и философские аксиомы, постулаты), а *второе* — производное, семантически или логически сложное (ср. научные термины *конструкт*, *концепт*, *логическое следование*, *логический вывод*).

(Армен Григорян. *Первый, второй и третий человек*, М., 2008, с изменениями)

→ 15 августа: Григорян, 2

Три неотъемлемых права ребёнка:

- 1) на преждевременную смерть,
- 2) на сегодняшний день,
- 3) быть таким, какой он есть.

(Януш Корчак. *Как любить ребёнка*, М., 1980, краткая выжимка)

Деревянные лошадки

АВГУСТ

7

вторник

В саду Тюильри я часто смотрю на деревянных лошадок, которые движутся то вперёд, то назад благодаря ввинченному в них механизму. На вывеске они значатся как «Гигиенические лошадки». Так как мне не особенно верится, чтобы в этих клячах было бы что-то гигиеническое для детей, которые на них садятся (за исключением разве что благотворного воздействия на пищеварение малышей), то говорю себе, что, по всей видимости, речь идёт о гигиене зрителя, на которого они, должно быть, благотворно влияют. Иными словами, гигиена в том, что начинаешь философствовать на этот счёт, причём, не останавливая себя под тем предлогом, что пошло всё-таки думать по любому поводу.

Тогда мне подумалось, что эти лошадки — символ человечества, которое вечно делает шаг вперёд, затем шаг назад; здесь выигрывает, там теряет; набегает и откатывает назад, как Средиземное море на прибрежный песок. Никакого прогресса. Замечательное топтание «на месте». Всё всегда ставится под сомнение.

<...>

Скачок вперёд, скачок назад, как лошадки Тюильри. И как у них, скачок «гигиенический», по крайней мере, для ума, которому всё это позволяет не слишком уж надеяться, равно как и не слишком сожалеть.

Манерность и естественность

Манерность или естественность? Крылышко или ножку? — как спрашивают в ресторанах. И то, и другое, разве непонятно? Манерность и естественность сменяют друг друга, но в довольно быстром темпе, так чтобы не было ни малейшей возможности несправедливо отрицать только что оставленное состояние в другом, как бывает, когда темп чередования слишком замедлен. Порхать от одного к другому, как птицы порхают между небом и землёй. Бу-

дучи всегда в каком-то одном мире и одновременно в другом, я всегда могу более или менее искренне заявить: «За кого вы меня принимаете?»

Молчание

Говорят, на Востоке люди время от времени собираются вместе, чтобы помолчать. Девяносто процентов произносимых нами слов совершенно бесполезны, и если бы род человеческий онемел, ему стало бы гораздо лучше. Поэтому-то за молчание нужно платить, как нужно платить и за одиночество. (Но опять же: более сладостное обходится дешевле).

Индивид и государство

Государству гордость дозволена и предписана: империализм. Индивиду — нет. Государство ворует, обманывает, преследует, убивает, и считается, что это хорошо. Что бы оно ни сделало, государство всегда право: *right or wrong, my country*. А что если мы будем обходиться с государством так, как оно обходится с индивидом? Но я знаю, что тогда могло бы произойти. Следуя примеру стойков: «Разве ты не знал, что твой ребёнок смертен?», — мы бы ответили: «Разве я не знал, что моё отечество смертно?»

Индивид как нация

Что первым делом поражает, когда листаешь страницы «Видов Франции», так это чрезвычайное разнообразие пейзажей. Франция всё время предстаёт в каком-то новом свете. И тем не менее никто не оспаривает её единства (горе тому, кто стал бы это оспаривать!), тогда как человек, когда бы он представал одновременно в столь противоречивых аспектах, привёл бы всех в замешательство, его бы стали обвинять в непоследовательности, если только, желая разрешить это затруднение, люди не стали бы неизменно судить о нём только по одной из его сторон, наподобие того,

как если бы под словом «Франция», к примеру, помещали только Вогезы или Лазурный берег.

Почему бы не применять по отношению к индивидам тот же подход, который применяют к нациям, и не называть, когда речь идёт об этих индивидах, богатством и гармонией, — а не двойственностью и непостоянством, — то, что называют богатством и гармонией, когда речь идёт о какой-нибудь стране?

Многое в одном

Тот, в ком содержится много человечности, обнаруживает в себе зачатки или ростки всех чувств. Ему легко мысленно перенестись в шкуру другого человека и увидеть тем самым, что с точки зрения другого вполне логично делать то, что он делает, даже когда он делает это против него самого. Вот почему в любом споре он принимает сторону противника каждой из спорящей сторон. Более того, его так и тянет залезть в шкуру собственных противников и защитить их точку зрения против себя самого и, разумеется, в ущерб себе самому, ибо индивиды, слепо верящие в свою правоту, не имеют ни малейшего понятия о том, что такое объективность. Такой способ существования или, скорее, эта глубоко укоренённая склонность человеческой природы представляет собой колоссальную помеху для действия, ибо она почти полностью устраняет всякую неприязнь к людям, а ведь известно, что действие немыслимо, если не питается неприязнью к людям. В личной жизни эта природная склонность имеет своё преимущество, поскольку позволяет вам лучше разбираться в том, как устроены люди, и свой недостаток, характерный для всякой человеческой исключительности и состоящий в том, что вы тем самым отдаляетесь от людей, то есть становитесь для них подозрительным человеком.

(Анри де Монтерлан. Дневники 1930–1944)

Россия и Евразия

От составителя

Б. Адрианов. Евразийская правда

Часть I

По страницам евразийских изданий

«Исход к Востоку. Предчувствия и свершения.
Утверждение евразийцев». Книга первая

П. Савицкий. Поворот к Востоку

П. Сувчинский. Сила слабых

Г. Флоровский. Разрывы и связи

Н. Трубецкой. Об истинном и ложном национализме

Н. Трубецкой. Верхи и низы русской культуры. Этническая база русской культуры

«На путях. Утверждение евразийцев». Книга вторая

П. Савицкий. Степь и оседлость

Н. Трубецкой. Религии Индии и христианство

Н. Трубецкой. Русская проблема

Г. Флоровский. О патриотизме праведном и греховном

«Евразийский временник». Книга третья

Н. Трубецкой. Вавилонская башня и смешение языков

П. Сувчинский. К преодолению революции

П. Савицкий. Подданство идеи

«Евразийский временник». Книга четвёртая

Н. Трубецкой. Мы и другие

Н. Трубецкой. О туранском элементе в русской культуре

П. Савицкий. Евразийство

Г. Вернадский. Два подвига св. Александра Невского

«Евразийский временник». Книга пятая

Н. Трубецкой. К украинской проблеме

Г. Вернадский. Монгольское иго в русской истории

«Евразийская хроника». Выпуск девятый
Н. Трубецкой. Общевразийский национализм

«Евразийская тетрадь», № 5
Н. Трубецкой. О расизме

«Евразия», № 26 от 16 апреля 1929 г.
Л. Карсавин. По поводу статьи А. В. Кожевникова

Выдержки из книг

Н. Трубецкой. «Европа и человечество»
Г. Вернадский. «Начертание русской истории»

Часть II

Утверждение евразийства в систематизированном виде

Декларация Первого съезда евразийцев
Евразийство. Опыт систематического изложения
Евразийство (Формулировка 1927 г.)
Евразийство (В. Ильин, 1973 г.)

Часть III

Евразийство в России

Из протоколов допроса Л. Карсавина 8 августа 1949 г.
Л. Гумилёв. Пассионарность
Л. Гумилёв. Славянский и русский этнос («От Руси до России»)
Л. Гумилёв. Ритмы Евразии («Наш современник», № 10, 1992)

Часть IV

Петербургские философы 90-х годов о евразийстве

Библиография

*(План сборника «Россия и Евразия»,
составленного Борисом Дверницким
для издательства Чернышёва в 1993 году,
но не изданного)*

Мне всегда жаль людей, которых недооценивают, и хочется восстановить их *в правах*. Порой даже до глупости: Гегель, Гегель, Гегель... а почему не Пришвин, например? Очень обидно, что всё Гегель и Гегель, а Пришвина совсем нет. Хочется, чтобы хоть ненадолго было наоборот: Пришвин, Пришвин... а Гегеля «вдруг позабыли».

Море образует край, границу, к которой люди устремляются и, достигнув, затихают в предчувствии *мира иного*, огромного, недоступного. Море и есть край нашего мира. (— Вы куда? — К морю.)

У леса пафос иной: в лес уходят, в него погружаются, избавленные от непрерывной направленности движения, в нём просто *пребывают*. (— Вы куда? — В лес.)

Среди всего этого, именуемого «прогрессом», совсем неплохо оказаться реакционером.

Девять лет просидел перед стеной: сначала с тайной надеждой, что откроется; потом в твёрдой уверенности, что не откроется; затем просто по привычке; наконец, поняв, что всё давно уже открыто. После чего иссякло и понимание, и только настенный календарь позволяет мне ныне произносить эти слова: *Девять лет перед стеной*. Но были ли они, эти девять лет? И была ли стена? И где, в таком случае, был я?

Три формы речи обладают особой ценностью: молчание, косноязычие и «ангельские голоса» — именно они и используются при разговоре с Богом. Что касается «обычной речи», то это не более как общее место, «частушка»...

Узнав о моей «борьба за свободу», кто-то, умный и понимающий, качнёт головой: «Да-да... и это необходимо... и это входит в общий мировой план...»

Так и вцепился бы ему в горло!

Лежал, лежал — встал. Ходил, ходил — лёг. Лежал, лежал — встал. Ходил, ходил — лёг. Лежал, лежал — встал...
(день жизни)

Есть слова, которыми пестрят мои записи (человек, европеец, вера, Бог, я, женщина), а есть — ни разу в них не попавшие (кожура, овсянка, мерзлота, плот). А почему бы не построить на этих словах философию? Чем они хуже?

(Пунктиры. Из четвёртой тетради, 1973–1974)

→ 13 сентября: Пунктиры, 3

Я поднимаю слово ИРФА

АВГУСТ

10

пятница

Написать слово на одном языке, а прочесть на другом (чеховская чепуха/реникса) или чуть изошрённее: читать буквы попеременно то в кирилличном регистре, то в латинском, сочинив таким образом, как сделал когда-то Владимир Эрль, из нелепистов хеленуктов (→ 20 апреля/2017: Гумберт-Гитлер), или, подобно Набокову, обнаружить слово КАКАО, которое одинаково пишется и одно и то же значит в русском и английском — и не останавливаться на этом: помимо языковой смены регистров чтения есть ещё перемена раскладки на клавиатуре компьютера, которой наверняка воспользовался Эрль, присовокупивший к названию своего сочинения «В поисках за утраченным Хейфом» загадочный подзаголовок «Хорошо ирфаерированный тапир». Кто такой Хейф, при чём здесь тапир, что за «ирфа»? Попробуем разобраться.

Название, скорее всего, скалькировано с «В поисках за утраченным временем» Пруста (именно так, слово в слово и потому несколько неуклюже, в издании 1930-х годов переведено французское «À la recherche du temps perdu»). Сам Эрль божится, что сборище на Малой Садовой посещал *реальный* человек Виктор Хейф, едва ли не его приятель, не знаю, не встречал — с другой стороны, склонность Эрля к розыгрышам (вслед за Хармсом? независимо от него?) хорошо известна. В любом случае место прустовского «времени» заняло слово «хейф», созвучное турецкому кейфу/кайфу, теснейшим образом связанное с кофейной церемонией и удовольствием от жизни («не ломай мне кайф!»). Ностальгия и меланхолия пронизывают эрлевское название не менее шести раз: Пруст; чтение; утраченное время («о где ты, прошлогодний снег?»); потерянный/не найденный/сочинённый Виктор Хейф; сломанный кайф; воспоминание о поэтах-кофеманах с Малой Садовой...

Ну, хорошо, а что с подзаголовком, что это за «хорошо ИРФАерированный тапир»? Отчасти калька с баховского «Хорошо ТЕМПерированного клавира» — очередная война Эрля со временем и замена слова *temp* на непонятное пока (но в будущем, как обнаружится, вполне пространственное) *irfa* и музыкального орудия (клавир) на насельника пространства и обериутских сочинений (тапира). Нет, вероятно, смысла напоминать о том, что Эрль хранит автографы (и снятые с них копии) сочинений Хармса и Введенского, доставшиеся ему от Якова Друскина. Что и даёт дополнительный толчок к пониманию «ирфа» в духе обериутских манифестов, где особо акцентировалась «вещественность» слова, а её/его образчиком служил «шкаф» («Я поднимаю слово шкаф»). ИРФА через транслитерацию в латынь IRFA и последующей перемены раскладки на клавиатуре в аккурат даёт искомый ШКАФ. При подготовке книги «В поисках за утраченным Хейфом» в конце 1990-х годов для издательства В. Немтинова у Эрля уже имелся компьютер, так что предположение о перемене раскладки — отнюдь не фантастика.

В ослабление реальности Виктора Хейфа и превращение его в набор кодов свою долю внесли инициалы страстно любимого мало-садовцами Велимира (Виктора) Хлебникова и за-

главные буквы фамилий Волохонского и Хвостенко, далеко не чуждых Эрлю поэтов.

Суммирую: Разобранное название и подзаголовок сочинения Вл. Эрля содержит в «свёртке» несколько неочевидных сведений о жизни автора, его метафизических предпочтениях (пространство vs. время), прочитанных книгах и любимых писателях.

→ 10 апреля/2017: Распаковка Сирина

Исчисляющий слух

АВГУСТ

11

суббота

Теория музыки представляет собой не что иное, как попытку ответить на вопрос: что есть ЛАД? Ответ, полученный теоретиками европейской профессиональной традиции, слишком иррационален, чтобы считаться приемлемым. Многие указывает на то, что их древнегреческие предшественники владели более рациональным знанием. Анализ фундаментального для античной теории понятия ДИНАМИС помогает заметить, что гармония Пифагора является доктриной о структуре времени точно так же, как геометрия Евклида — доктриной о структуре пространства. ЧИСЛО — первоначальный факт пифагоровой реальности постольку, поскольку в силу своей хронометрической природы «знакомо» более глубоким уровням сознания, чем те, которым доступен ЛОГОС. Несловесная МЕЛОДИЯ — разновидность такого числа, чем и объясняется необычная сила её воздействия.

Согласно Пифагору, ГАРМОНИЯ есть единство различного, согласие несогласного. Вопрос в том, какова природа такого согласия. Традиционная теория трактовала его как КОНСОНАНС, но пришла к неразрешимым противоречиям и, что особенно досадно, несмотря на многовековые усилия, не смогла получить систему чистой интонации, то есть шкалу, от любой системы которой можно взять любой истинный консонанс. Древнегреческие теоретики предпочитали отыскание систематических отношений между сколь угодно разными тонами, то есть трактовали согласие как соразмерность, или СИММЕТРИЮ.

Руководствуясь этими соображениями, я предпринял попытку построить теорию музыки на основе понятия *слышимые симметрии* — как оказалось, успешную. Она проверяется простыми экспериментами и совмещается с традиционной теорией, разрешая обе фундаментальные задачи последней: классификация последовательностей (проблема лада) и классификация созвучий (проблема гармонии). В основе успеха лежит объединение музыковедения с теорией групп, то есть междисциплинарность. Она же послужила поводом к тому, что опубликованные материалы были оценены читателями как важные, но малодоступные. Обычный читатель-математик имеет смутные представления о теоретико-музыкальной проблематике, обычный читатель-музыковед не знаком с теорией групп.

Обе стороны не склонны ни к пополнению образования, ни к чрезмерным читательским усилиям, что вынуждает к компромиссам, ослабляющим междисциплинарность, то есть жертвующим строгостью какой-то из дисциплин в пользу более заинтересованной стороны. Настоящее издание является новой редакцией ранее публиковавшихся материалов, отдающей предпочтение музыковедам, но отнюдь не упраздняющей труд читательской мысли.

Остаётся напомнить, что музыкальные образы, как эстетические факты, выражают нечто, отличное от них самих, как акустических фактов, следовательно, являются символами. Отсюда термин «синтаксис», использованный в его моррисовской трактовке, то есть подразумевающий отношения между символами.

Теория музыки делится на синтаксис, или теорию шкалы, и учение о форме. Синтаксис восходит к преадаптивным свойствам слуха и может быть дан теоремами, выводимыми из фундаментальных фактов и исходных утверждений. Что же до морфологии, то невозможно показать, что, скажем, соната, симфония или блюз с необходимостью следуют из свойств шкалы европейской традиции, или наперёд задать все формы, допускаемые этими свойствами.

Резюмируя эмпирическое освоение той или иной шкалы, учение о форме всегда появляется задним числом и чем меньше опирается на синтаксис, тем больше напоминает метафизиче-

ские, оккультные, морализирующие и т.п. высказывания, санкционирующие операции музицирования из соображений, так сказать, высшего порядка. Нам предстоит рассмотреть менее красноречивые, но значительно более действенные санкции.

(Феликс Равдоникас.

Предисловие к книге «Группы лада», 2003)

АВГУСТ
12
воскресенье

В наше время темы природы, «окружающей среды», безмолвного (и от этого ещё более жуткого) страдания твари самым прямым образом связываются с христианской идеей спасения. От человека зависит судьба земли и космоса, и от судьбы земли и космоса зависит то, выживет ли человек физически и духовно.

Это время уникально тем, что впервые человек осознаёт свою беспомощность перед самим собой. И верующим, и неверующим сегодня ясно: возможности человеческого «преобразования» природы намного превосходят возможности предвидения всех тех последствий, к которым приведут данные преобразования. Если ещё совсем недавно человек был хоть и мыслящим, но слабым «тростником», если в былые века он боялся могучей природной стихии, то теперь он боится собственной слепой и безответственной силы. Реальностью стала сказка об ученике чародея. И разговоры об «ответственности» перестали быть только пустым морализированием. Ибо сама ответственность представляется чем-то очень тяжелым, она трагична. Не зря в наше время одной из самых популярных книг стала книга Ганса Ионаса «Принцип ответственности».

Новое время существовало под знаком первого закона термодинамики о «сохранении энергии». Казалось, что вселенная неисчерпаема и ее богатствами можно пользоваться бесконечно.

Современная, постмодернистская эпоха определяется тем, что на смену закона «сохранения энергии» пришел

второй закон термодинамики («самый метафизический из всех законов» — Бергсон). Согласно этому закону, всё в мире стремится к энтропии. Тепло переходит только от теплых тел к менее теплым. Но не наоборот. Этот закон говорит нам, что энергия ограничена, конечна. По существу, второй закон термодинамики положил конец оптимистическому мифу о прогрессе, «вере» человека в бесконечные возможности науки. Есть мнение, что миф о фаустовской и прометеевской личности возник благодаря христианству. Это была христианская идея: богоподобность человека, человекоподобность Бога. Конечно, безудержно рвущийся вперед «фаустовский» субъект — только искажение христианской мысли. Но и это искажение стало возможным только потому, что Бог вочеловечился.

Экологически мыслящие деятели, писатели и до сих пор бросают упреки нам, христианам. В дискуссиях 70-х годов именно христианство обвиняли в том, что оно породило антропологический нарциссизм и рационалистическую мегаломанию.

В христианстве Бог-Творец резко отделен от твари. Происходит своеобразное обезбоживание мира и твари. Человек — это царь творения, его венец, всё остальное ниже его, должно ему подчиняться. Новое Время, соединившись с акосмической идеологией протестантизма, усугубило проблематику. Деистические тенденции, представление о Боге как об универсальном механике, запускающем в работу механизм «творения», ненужность Бога-Творца — ибо естественные науки смогли и без Него объяснить устройство мира, этой огромной машины, — и, в конце концов, на природу стали смотреть как на объект использования и потребления.

<...>

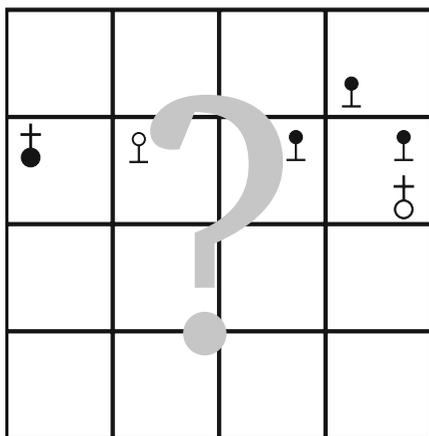
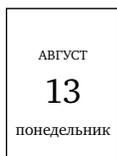
Экологическая проблематика объединила Запад и Восток, Север и Юг. Она столь актуальна в наши дни, что все другие проблемы кажутся сегодня менее важными, отступают как бы на второй план. Мы, христиане, дол-

жны помогать друг другу, чтобы выйти из тупика ложно понимаемого антропоцентризма.

Здесь полезно обратиться и к идеям других конфессий (надеюсь, что читатель поймет меня правильно: я ни в коем случае не призываю к поверхностному «экуменизму», самое страшное для веры — это смешение), например, к экзегетическим открытиям западного богословия последних лет, позволяющим отказаться от вредных стереотипов, утвердившихся в нашей христианской традиции.

(Татьяна Горичева. Святые животные, СПб., 1993)

Аноним



Мат в 3 хода.

Решение:

1. e7C! Кр:d6
2. c8 (g8)Л! Кре6
3. Лс6 (g6)×

Решение этюда от 2 августа:

1. Крг7 h4
2. Крf6 h3

3. Кре6! Крб6
4. Крд6 h2
5. с7 Крб7
6. Крд7 Ничья
2. ... Крб6
3. Кре5! Кр:с6
4. Крf4 Ничья

В основе веры в чудодейственную силу шамана как со стороны его самого, так и окружающих его, несомненно, лежит идея избранничества. Сверхъестественная сила шамана поκειται не в нём самом, а в тех духах-помощниках, которые находятся в его распоряжении. Это они изгоняют болезни, они ведут шамана в самые отдалённые, недоступные обыкновенному смертному места, чтобы отыскивать и выручать душу больного, они помогают приводить душу умершего в загробный мир и они внушают ответы на все запросы, предъявляемые шаману его поклонниками и клиентами. Без этих духов шаман бессилён. Шаман, потерявший своих духов, перестаёт быть шаманом, иногда даже умирает.

Но эти духи-помощники — отнюдь не добровольные, благоприобретенные слуги шамана: они становятся такими лишь по произволению другого, властного над ними высшего духа, который, в свою очередь, отдаёт их в распоряжение шамана. В благоволении этого-то духа-покровителя (или духов) и кроется источник силы шамана.

Но приобретение такого духа-покровителя — отнюдь не результат желания или усилий со стороны самого шамана.

Не в воле человека стать шаманом. Дар шамана приобретается не по желанию последнего: обычно, наоборот, против его желания, и высокий дар этот принимается как тяжкое бремя, которое человек приемлет как неизбежное, покоряясь ему с тяжёлым сердцем обречённого. Не шаман избирает духа-покровителя, а дух избирает шамана. Для получения дара шамана необходим особый момент *призывания*.

Внезапно — обыкновенно это бывает в так называемый переходный возраст, в период наступления половой зрелости — будущий шаман подвергается острому нервному заболеванию, которое сопровождается истерическими припадками, обмороками, галлюцинациями и тому подобными явлениями и которое мучит его в течение многих недель; и столь же внезапно, во время одного из припадков или во сне, является к нему его дух-покровитель, объявляющий ему об его избрании, приказывающий ему стать шаманом, предлагая своё руководство и помощь. Иногда это — дух умершего предка, умершего шамана, передающего неофиту своих духов-помощников, служивших ему при жизни, иногда это — сам дух-покровитель этого предка, а ещё чаще — дух новый, никогда не виданный им, незнакомый.

Бывают случаи, когда призванный сначала отказывается от возлагаемого на него бремени, упорствует, колеблется, но, в конце концов, измученный угрозами или соблазненный посулами избравшего духа, покоряется и вступает в союз со своим покровителем; обычно после этого припадки исчезают, и больной выздоравливает.

С этого момента начинается шаманское служение. Могущественный дух, который так чудесно излечил его самого, из симпатии к своему избраннику поможет ему лечить других людей и окажет ему также и другие услуги. Для этого дух этот на время или даже навсегда вселяется в своего избранника, предоставляет в его распоряжение духов-помощников, которые будут исполнять его поручения и приказания, и сам руководит шаманом во всех его действиях. Это он говорит его устами и подсказывает ему всё то, что тот совершает во время своих шаманских действий. В свою очередь шаман беспрекословно исполняет все желания избравшего его духа и всячески угождает ему.

(Лев Штернберг. Избранничество в религии)

→ 26 октября: Избранничество, 3

Если попытаться охарактеризовать одним слово первого и второго человека, то это по-видимому (перво)говорящий и слушатель. Но конкретные воплощения первого и второго человека множественны и разнообразны. Для начала перечислим несколько самых характерных.

П е р в ы й ч е л о в е к — библейский первочеловек Адам, древнеиндийский Пуруша, Ной и другие мифологические персонажи, Гомер, Шекспир, Пушкин, гений, герой, царь, вождь, любой руководитель, первооткрыватель, «звезда» (экрана, эстрады, спорта), чемпион.

В т о р о й ч е л о в е к — друг, враг, помощник, советник, заместитель, секретарь, последователь, подражатель, двойник, дублёр, ученик. Из конкретных вторых людей назовём пока только Сальери в пушкинской трактовке.

Вот несколько типичных пар: начальник — заместитель, мастер — подмастерье, учитель — ученик, изобретатель — разработчик, создатель — пользователь, автор — исполнитель, классик — эпигон, (исконный) владелец — захватчик, отец — сын, вообще предок — потомок... <...>

Ещё одно имя первого как главного — *хозяин, господин*. Этикетные обращения *господин, сударь* (из [*милостивый*] *государь*), *мистер* (из *magister*), *сэр, сеньор* (об из лат. *senior* 'старший') «поднимают» адресата, ставят на первое место. От таких обращений отталкиваются «революционные» обращения *гражданин, товарищ*, основанные на идее равенства.

Обобщённое, расширенное понимание первого и второго человека представлено в уже приведённом отрывке из «Подрустка»: Стебельков называет первым человеком революцию. То есть соотношение «первое — второе» стремится стать неким всеобщим классификатором, «парадигмой» мировосприятия. <...>

Всё связанное с первым человеком очень легко мифологизируется. Мифологичен не только вселенский первочеловек, но во многом и другие типы первого человека: жрец, пророк, царь, гений, поэт, чемпион, «звезда». Соотносимый с первым второй человек не может не перенимать частично эти свойства, но сам по себе он принципиальный демифологизатор, разоблачитель мифов. При этом, правда, он сплошь и рядом впадает в противоположную крайность и создаёт свои мифы — миф об отсутствии мифов, о полной логичности и рациональности всего существующего. Много мифического и в современном культе науки, во всеобщей убеждённости, что наука знает и может всё, а если чего-то не может объяснить, то просто потому, что пока «не дошла» до этого.

<...>

Второй человек в отличие от человека из толпы претендует на первое место, он видит величие первого, завидует ему (а толпу он презирает) и стремится вытеснить, заменить собой.

Толпа, по крайней мере вначале, первого совсем не понимает и не признаёт (прямо пропорционально его «первости» — оригинальности, новаторству).

Драма второго в том, что он хочет быть первым, возвышаться над толпой, но всё время сознаёт, что он всего лишь один из многих. До трагедии она не дорастает, зависть и презрение слишком мелкие чувства для этого. Трагедия — удел первого человека, героя. Кроме того жизнь второго часто складывается намного удачнее жизни первого, по крайней мере внешне. Толпа гораздо легче принимает второго за первого, он (второй) ей ближе, понятнее, а ему легче подстраиваться под её вкусы (и ей — под его). А настоящего первого толпа часто принимает за последнего. Но по большому счёту второй даже побеждая первого остаётся неудачником, а первый даже погибая побеждает.

<...>

Главный недостаток второго именно в том, что он второй, не первый. Во всём остальном он может быть так же хорош как первый и даже лучше, но всё обесценивается вторичностью.

(Армен Григорян. *Первый, второй и третий человек, с изменениями*)

Едва добрёл,
Усталый, до ночлега.
И вдруг — глициний цвет!

(Басё)

АВГУСТ

16

четверг

Татьяна, быть может, Вавилонская башня — не столько наказание людям, сколько испытание? Бог попустил существование *разных* народов, а значит, разных языков, разных культур, разных мест обитания. Утопия торгово-промышленного общества создана разумом и, используя его (информационные империи), переживает сейчас мощнейшую экспансию, стремится стать тотальной. Но разум, как известно, близорук, озабочен сиюминутной пользой и пропускает мимо своих жадных пальцев *побочные эффекты*, а вместе с ними — всю суть. Имею в виду очевидное: разум хорош на своём месте, т.е. на месте кроткого слуги, но никак не в гротескной роли занудного господина, указующего всем и каждому, как жить и что делать, а потом — с пожиманием плеч и почёсыванием темени — бессмысленно взирающего на им же вызванный хаос и разрушения. Плюс к тому его недалёкая привычка называть разумным всё, что таковым *выглядит*.

АВГУСТ

17

пятница

Если удастся безболезненно проскочить обещанный толкователями Нострадамуса «конец света», отправлюсь в следующем году с Ликой в Республику Коми.

Эпизод с Терского берега.

Я: «Не получается статья для журнала!» Лика: «Ну, напиши об этом Татьяне письмо, расскажи, почему не получается». Я: «Думаешь, *письмо* получится?» Она: «Конечно. А почему нет?» Я (неуверенно): «Ну...» Она: «Ты читал в АРТ'е письма Довлатова?» Я (подавленный женской логикой, для которой нет невозможного): «Так ведь то *Довлатов!* Писатель». Она: «Не скажи. Ему было тогда всего 22. А тебе?» Я (уже почти убеждённый): «Ну, хорошо, хорошо. Напишу. Постараюсь».

Много лет тому назад, недолгое время работая «по профессии», занимался проблемами социальной мобильности и её математическими моделями. В те годы человек обязательный и обстоятельный, я начал свои занятия с того, что заказал в университетской библиотеке несколько американских книг по теории мобильности, среди которых оказалась монография Питирима Сорокина. Позже прочитал его биографию. Республика Коми, как сейчас понимаю, приближалась ко мне со всех сторон, хотя я не всегда это замечал.

Каждый народ для другого (особенно большой для малых) — испытание и *искус*.

Традиционный способ соприкосновения народов — «кожей», периферией географического тела, границей. Вооружённая охрана ревностно следит на границе за проникновением чужаков, выдворяет неугодных, дозирует дозволенных — посланников, купцов, студентов... С развитием транспортных средств (особенно после появления самолёта) граница отчасти меняет своё местоположение, перебирается *внутрь* страны: уже не кожа, а сердце (столица, главные города), куда самолёты забрасывают *мирные покуда* армады чужестранцев. Военная угроза — благодаря баллистическим ракетам и военным спутникам — также переместилась с окраины государства в её средоточие. Иными словами, современная граница из непрерывно-линейной становится *точечной*, концентрируется в пределах столицы и крупных городов, перестаёт быть внешней, превращается во *внутренне-внешнюю*. Сообразно этому

столица переквалифицируется в пограничный город со специфическим для приграничья бытом и обычаями, первой подвергается захвату (мирному, что, пожалуй, ещё хуже) и, как следствие, становится *самой варварской* частью страны.

Таможенники — современные пограничники, разве что следят они не за людьми, а за *товарами*. Правы, кажется, те, кто считает, что на смену эпохе мудрецов-брахманов и воинов-кшатриев пришла эпоха торговцев-вайшьев: все важнейшие коллизии и проблемы современности связаны с ними.

Народ есть *судьба*, а судьбу не выбирают, её проживают/переживают... Усыхание традиции приводит к тому, что верность человека своему народу, своей культуре, своему языку даётся ему всё труднее. Традиционные ценности, отмеченные знаком устойчивости, постоянства, верности, постепенно эрозируют и уступают место ценностям, связанным с подвижностью, мобильностью, изменением, изменой... и воспринимаемым как высшие ценности (выбор, личная свобода, возможность эмигрировать).

На Белом море я не впервые: лет пять назад был на Терском берегу и едва не соблазнился купить дом в Чаваньге. Цена была умеренной, зарабатывал я по средним меркам неплохо да как-то затянул с куплей-продажей. После чего пошёл на снижение (сорокинская вертикальная мобильность), застрял в ночных сторожах — и дом безвозвратно упустил. Зато сумел обжиться в Чаваньге мой старый приятель, и кончилось всё тем, что полмесяца назад мы с Ликой жили на Белом море у него.

Трудности способствуют становлению *характера*, тогда как привычка к комфорту характер выветривает. «Поздние империи» — конгломераты рыхлых, дряблых, склонных к роскоши и удобствам людей. Воистину, «роскошь сгубила Рим». Оппонент: «Зато какой *обмен*, какая *вариативность* (= какая торговля, какой ассортимент)!

Пришелец — в обиде на замкнутый мир как противостоящий миру «открытому». «Почему меня не пускают в вашу церковь?» Ответ прост: «Потому что ты будешь вести себя в ней как слон в посудной лавке и что-нибудь да разобьёшь, или как турист: будешь глазеть по сторонам и щёлкать фотоаппаратом».

Язык (то главное, что объединяет народ и делает его народом) туристы-чужаки из могущественного средства проявления души превращают в пресловутое *средство коммуникации*, в *пороссячью латынь*, в минимальный (300 слов) жаргон, позволяющий сориентироваться в незнакомом городе и узнать о ценах.

Любой народ к чему-то предназначен, выполняет что-то лучше других, с особым своеобразием (грацией, удачью, смекалкой, серьёзностью, страстью). Любой народ — особая буква в неизвестном нам планетарном, а то и космическом алфавите.

Задачу народа можно сформулировать так: развить до *предела* своё особое предназначение и передать его в общую сокровищницу. Такая вот диалектика: сначала замкнуться для беспрепятственного роста (как плод в чреве матери), потом, используя общение и сообщение, вручить своё сокровище другим.

Путь аскезы — кратчайший путь для проявления предназначения. Отбросить многое — и пестовать *единственное*. Единственное для тебя, к нему предназначенному; для других же — одно из многих слов во всеобщем языке.

Малый народ — *заповедник*, особенно в те времена, когда «всё общество», ведомое разумом или модой, устремляется в одну сторону, на один борт. Малый народ — гарантия того, что даже если всё кончится «взрывом», «концом света», всё равно на Земле останутся зелёные острова жизни и культуры, не затронутые общим уроном. Малый народ — надежда на выживание человечества, его *запасный выход*...

Увы, Таня, не успеваю, не успеваю. Лика торопит, до отхода поезда — совсем ничего. Продолжу в другой раз, если другой раз случится. Что ни говори, не Довлатов: пишу со скрипом — ни лёгкости, ни парения, сплошные ухабы и синяки. Если моё письмо тебе пригодится, используй его как сочтёшь нужным, вплоть до сокращений и добавлений — в обиде не буду.

До встречи (очень надеюсь) в Сыктывкаре следующим летом.

(Письмо Татьяне Нишанбаевой)

Canço dels enamorats

N'eren dos enamorats,
 Que estaven fora de si,
 L'un va haver d'anar a la guerra,
 L'altre va haver de morir.
 Quan ne torna de la guerra,
 Troba l'amor enterrada,
 Ja n'agafa la guitarra,
 I a la sepultura anava.
 <...>

(Maria del Mar Bonet)

Мы на пути, то есть мы заняты несколько суток сряду скучным делом передвижения с места на место. Встречный люд глядит, разиня рот, на наш длинный поезд, составленный из каких-то необыкновенных фур, брык, вагонов и прочего, из которых выглядывают и собачьи морды, и полусонные человеческие физиономии в косматых шапках или помятых и сбитых набок картузах. Первый день мы провели не скучно, среди общего говора, оживлённого шутками и смехом; солнце приветливо глядело на нас сверху, и лёгкий ветерок чуть относил струи табачного дыма от

АВГУСТ

18

суббота

АВГУСТ

19

воскресенье

экипажей. На другой день затеялась *чичерь* и провожала нас вплоть до места. А знаете ли вы, что такое *чичерь*? Это всё, что хотите, то есть и сухая, едкая крупа, и крупный дождь с мелким снегом, и крупный снег с дождём пополам, и опять крупа — стучит и прыгает, и опять очередная... Так и думалось, что настанет зима, подмёрзнет, подтрусит снежку, и начнутся пороши. Однако ж не подмёрзло, не запорошило; наутро переменялся ветер, перемежающаяся *чичерь* обратилась в скучную, однообразную слякоть... настала тишина, обуяла лень, дремота, всё утихло, всё насупилось; молча, без мысли и желания, глядишь, как мелкий дождик сечёт по кожаному фартуку, слушаешь, как чавкают лошадиные копыта, а там уставятся глаза на обод колеса и тупо глядят, как клубится и плывёт по нём мутная вода, потом перейдут они на лицо соседа, а тот всё-таки держит между пальцами окурочек сигары, а сам опустил веки и клюёт носом по сторонам; улыбнёшься, зевнёшь раз-другой, глаза закроются, и сам начнёшь клевать носом, а сосед проснулся, глядит на тебя, улыбается... И так от станции до станции, с утра до ночи, одни лишь усталые кони, кажется, живут полной жизнью: они хлопочут из всех сил дотащить нас в степь...

Сколько написано стихов, сколько пропето песен про эту степь! Так и думается, что это та обетованная страна, где и светло, и тепло, и просторно человеку; так и чудятся эти бесконечные пампы Буэнос-Айреса, эта ширь да гладь нашего Херсона, где «куда едешь — там будешь», где «поехал в степь — ночуй в степи, встал в степи — ложись на степь!...» Ковыль, да перекасти-поле, да глубокое синее небо с журавлиными резкими окриками, несущимися нивесть откуда... Не такова степь затамбовская! Вот мы едем в степь: направо ветла, налево ветла, опять ветла за ветлой, а за ними все-таки вётлы да вётлы... Пришлось так или наскучило: свернули направо, — налево дорожка словно ленточка; тут чёрная гряда, глубокая пахоть, тут

полосами озими, опять грядки взбуравленной земли да порыжевшая степца с болотными круговинами да с вымочками... Бледно, жёлто, бугристо, и грязь, и груды... скирды с сеном, стога с хлебом, какие-то подобия человеческих жилищ под грубой настилкой соломы, полусгнившей от течи, полуистлевшей от копоти, да кой-где куща горького осинника, утыканного сплошь вороньими гнёздами...

(Егор Дриянский. Записки мелкотравчатого)

→ 20 октября: Записки мелкотравчатого, 3

Оговорка

Эта книга написана главным образом для «своих», т. е. для друзей, родственников, знакомых, для хорошо меня знающих, для всех тех, кого я искренне люблю и с кем всегда готов беседовать, уверенный, что буду точно и любовно понят ими, встретив с их стороны не улюлюканье и кривотоллки завистливо-придирчивой критики, а милое, ровное, полное неподдельного интереса к моим мыслям и чувствам отношение чисто «своих», — единомышленников быть может, во всяком случае сочувствующих.

Эта книга написана в слишком хорошем расположении духа для того, чтобы быть заподозренной в подготовке её для печати.

В ней слишком много интимного, слишком много шуточного, в этой немножко наспех, немножко напрямик написанной книге! слишком много «личного», слишком много «постороннего», «санфасонистого», «разухабистого»... Она носит слишком «домашний» характер, чтобы претендовать на значение ученого трактата; она, вместе с тем, слишком «учёная», чтобы рассчитывать на вниманье к ней как к беллетристическому произведению.

Она, повторяю, совсем не готовилась к печати, эта случайно, а *la prima* написанная книга! И только увещания друзей заставили меня согласиться на предание её гласности в такой неподходящей для печати форме, над которой, — друзья знали это, — я не находил возможности дольше работать.

Я уступил доводам, что вопрос, затронутый в настоящей книге, слишком важен и интересен, чтобы оставаться под домашним спудом из-за чисто формальных соображений, что только азиаты держат своих красавиц взаперти, истые же европейцы дают всем возможность ими любоваться, что, в конечном счете, это просто неуважение с моей стороны к памяти великого Гутенберга, который, де, вовсе не для того изобрёл книгопечатание, чтобы им пренебрегали, что это, наконец, скрытность с моей стороны, скверно пахнущая цензурным застенком проклятого прошлого, достойная не только всяческого порицания, но и самого энергичного протеста: что они возмущены, что они всего ожидали от меня, но только не этого и т. п. — всякий и так знает, чего только не способны нагородить друзья, чтобы поставить на своём во что бы то ни стало.

Под градом этих настояний, упрёков и слишком обидных, не говоря уже о неуместности, намёков и сравнений, я подумал:

С одной стороны, друзья всегда «подводят»; это, по-видимому, настолько входит в круг их обязанностей, что даже принято о «дружеской услуге» говорить не иначе, как с иронией. С другой стороны, «нет правил без исключения». К тому же — если после векового молчания модели пред художниками, вечно спорящими, учащими или просто разглагольствующими о «подходе» к ней, об «отношении» к ней, о *ней самой*, о задачах, вытекающих из её формы, освещения, тона и прочих данных, — если одна из этих моделей прервала, наконец, молчание, а прервав его, заго-

ворила несколько «распоясавшись», — право же (подумал я), это по справедливости должно быть извинительно, хотя бы из внимания к её почину, если не из уважения к чувству мести за то, что в продолжение столетий столько самомнящих художников «врали на неё как на мёртвую»! Пора, быть может, — соображал я под настойчивыми взглядами друзей, — пора, быть может, терпеливой модели свести «личные счета» с художниками! а в частности, — оригиналу с портретистами! свести их не в домашнем кругу, а на торжище, перед Аргусом, перед всеми! Эти счета в моём лице, быть может (кто знает), и в самом деле небезынтересны для многоокого чудовища (толпы, «публики»), так как, надо согласиться, не каждому же Бог посылает случай послужить оригиналом для нескольких десятков произведений различных художников, не каждый же из таких оригиналов способен сознательно отнестись (*критически отнестись!*) к «своим» портретам, а если и способен, то не каждый же из таких оригиналов владеет (хоть и плохо) пером, чтобы изложить удобопонятно и убедительно своё «оригинальное» мнение! И если «*magno se iudice quisque tuetur*», то почему как раз я, да ещё в такой редкий момент для истории портретной живописи, должен (из скромности? из трусости? из преклонения пред общепринятым?) составить исключение!

Акризия миновала. Я взял большой конверт, вложил в него рукопись, запечатал и надписал: — «В типографию. — Адрес»...

Друзья ликовали. Ещё бы! — вышло, что эта книга не только написана для друзей, но и напечатана ради них.

Но пусть на них и падает вся ответственность за это.

Я — умываю руки.

(Николай Евреинов. Оригинал о портретистах. 1922)

→ 7 сентября: Оригинал о портретистах, 3

Он сильно пил, потерял работу и знакомых и поселился в подвале вместе с ворами и проститутками, проживая последние вещи.

У него было больное, бескровное тело, изношенное в работе, изъеденное страданиями и водкой, и смерть уже сторожила его, как хищная серая птица, слепая при солнечном свете и зоркая в чёрные ночи. Днём она пряталась в тёмных углах, а ночью бесшумно усаживалась у его изголовья и сидела долго, до самого рассвета, и была спокойна, терпелива и настойчива. Когда при первых проблесках дня он высовывал из-под одеяла бледную голову с глазами травимого зверя, в комнатке было уже пусто, — но он не верил этой обманчивой пустоте, которой верят другие. Он подозрительно оглядывал углы, с хитрой внезапностью бросал взгляд за спину и потом, опершись на локти, внимательно и долго смотрел перед собой в тающую тьму уходящей ночи. И тогда он видел то, чего никогда не видят другие: колыхание серого огромного тела, бесформенного и страшного. Оно было прозрачно, охватывало всё, и предметы в нём были как за стеклянной стеной. Но теперь он не боялся его, и, оставляя холодный след, оно уходило — до следующей ночи.

На короткое время он забывался, и сны приходили к нему страшные и необыкновенные. Он видел белую комнату, с белым полом и стенами, освещенную белым ярким светом, и чёрную змею, которая выползала из-под двери с легким шуршанием, похожим на смех. Прижав к полу острую, плоскую голову и извиваясь, она быстро выскользывала, куда-то пропадала, и опять в отверстии под дверью показывался её приплюснутый чёрный нос, и чёрной лентой вытягивалось тело — и опять и опять. Раз он увидел во сне что-то весёлое и засмеялся, но звук получился странный, похожий на подавленное рыдание, и было страшно его слушать: где-то в неизвестной глубине

смеётся, не то плачет душа, в то время когда тело неподвижно, как у мертвого.

Постепенно в его сознание начинали входить звуки рождающегося дня: глухой говор прохожих, отдалённый скрип двери, громыхание дворницкой метлы, сметающей снег с подоконника, — весь неопределенный гул просыпающегося большого города. И тогда наступало для него самое ужасное: беспощадно светлое сознание, что пришёл новый день и скоро ему нужно вставать, чтобы бороться за жизнь без надежды на победу.

Нужно жить.

Он поворачивался спиной к свету, набрасывал на голову одеяло, чтобы ни малейший луч не мог проникнуть в его глаза, сжимался в маленький комочек, подтягивая ноги к самому подбородку, и так лежал неподвижно, боясь пошевелиться и протянуть ноги. Целой горой лежала на нём одежда, которою он укрывался от подвальной стужи, но он не чувствовал её тяжести, и тело его было холодно. И при каждом звуке, говорившем о жизни, он казался себе огромным и открытым, сжимался ещё больше и беззвучно стонал — не голосом и не мыслью, так как теперь он боялся собственного голоса и собственных мыслей. Он молился кому-то, чтобы день не приходил и ему всегда можно было лежать под грудой тряпья, не шевелясь и не мысля, и напрягал всю волю, чтобы удержать идущий день и уверить себя, что ночь ещё продолжается, И больше всего в мире ему хотелось, чтобы кто-нибудь сзади приложил револьвер к затылку, к тому месту, где чувствуется углубление, и выстрелил.

А день развёртывался — широкий, неудержимый, властно зовущий к жизни, и весь мир начинал двигаться, говорить, работать и думать...

(Леонид Андреев. В подвале, отрывок)

Пропп и классика

АВГУСТ

22

среда

Летом 1966 года, после лодочного похода по Карельскому перешейку оказавшись проездом в Ленинграде, я набрался дерзости позвонить В. Я. Проппу, чей номер узнал из справочной книги в телефонной будке. Представившись его поклонником и последователем, я напросился на визит, каковой состоялся 15 июля 1966 года (о чём свидетельствует надпись его рукой на моём экземпляре «Морфологии сказки» издания 1928 года), очень ранним утром — так он назначил.

Дверь открыл человек примерно моих лет в спортивной одежде. Коридор был завален туристским снаряжением — рюкзаками, спальными мешками и т. п. В глубине коридора стоял сам великий Пропп — невысокого роста, слегка согбенный, с большой головой и ещё более непропорционально длинными руками. Этот гориллоподобный абрис поразил меня, как поразило и то, что он нисколько не ронял своего обладателя, скорее, наоборот, так сказать, à la Дарвин, удостоверял его статус специалиста по первобытному состоянию человечества. У Проппа был внушительный нос, большие ясные глаза и тихий голос. Я попросил его сказать мне, когда уйти, он ответил, чтобы я не беспокоился — я сам пойму.

С горящими глазами я стал объяснять Проппу, как его функции в сочетании с темами и приёмами выразительности Эйзенштейна поведут к развитию кибернетической поэтики, а он в ответ сокрушённо говорил, что Леви-Стросс (прославивший его на Западе) «не понял, что такое „функция“» и опять навешивает ему сталинский ярлык «формализма»; что к нему часто обращаются математики и кибернетики, но что он во всём этом не разбирается и своим единственным долгом считает учить студентов аккуратно записывать и табулировать все варианты фольклорного текста.

— Вообще, — сказал он грустным монотонным голосом, — я жалею, что занимался всем этим. Вот мой сын — биолог. Он только что вернулся из Антарктиды. Он опускался на дно, видел морских звезд. Может быть, и мне посчастливилось бы сделать какое-нибудь открытие, — с шикарной скромностью заключил Пропп.

Дима Сегал, знавший Проппа более близко, рассказывал, как примерно в те же годы он вёз его на такси в издательство «Наука» заключать договор на переиздание «Морфологии сказки» (оно вышло в 1969-м) и сказал ему, что вот, наконец, пробил его звёздный час и он может внести любые исправления, изменения, усовершенствования, включить дополнительные материалы (сохранившиеся у него с 1920-х годов!).

Пропп помотал головой:

— Нельзя трогать, — сказал он. — Классика!

(Александр Жолковский. Звёзды и немного нервно, 2008)

→ 28 апреля: Табулатура сказки

→ 8 сентября: Жолковский, 2

...На рассвете девятого дня перед нами встал берег: пустынные каменистые склоны, лес, совсем близкая башня маяка. Маяк стоит на скале примерно такой же высоты, как он сам. А вчера башня словно выростала из воды. Ну, вот ты и добился своего.

Серая неприветливая погода, растёт встречная волна, плещет через борт. Теперь это не имеет значения. Теперь уж ничто не может помешать мне — хоть тони лодка.

До земли километров пять-шесть. Вот она, моя цель, Турция, рукой подать, всё ясней берег под бледным солнцем. Выпиваем <с Эдуардом> по стаканчику воды, ещё остаётся полфляги, пусть будет на всякий случай. Значит,

за всё время (теперь более восьми суток) мы выпили три с половиной литра, нет, даже меньше — на стакан, который некогда было доливать тогда...

Всё ближе земля, но людей не видно. Я жму на вёсла. Всего лишь несколько сот метров осталось... теперь метров двести... Ага, вот человек у маяка. Вглядывается. Ещё двое. Смотрят на нас. Машем им. Они сбегают вниз, из-за камня выплывает моторный бот — к нам. Трое мужчин рассматривают нас метров с тридцати. «Парле ву франсе? Ду ю спик инглиш?» — Нет. Показываю жестами: Телефон? — Нет. Один, помоложе, спрашивает (тоже жестами): Плыли? — Да, да. Где пристать? — Турки поворачивают к берегу — идите за нами. Плыву за ними. Чёрно-серые скалы круто уходят в море, торчат острыми зубьями. А вот, за камнем, небольшой пологий откос. Хватаюсь за борт баркаса, подтягиваю лодку. Ступаю в воду — тут мелко, по колено, выносим лодку на берег.

Что это со мной — совсем не держат ноги, берег качается, как море, валит меня. Держусь за камни, сажусь. Удивительное ощущение. Я слышал об этом, такое бывает, когда долго не стоишь на земле. Но тут дело не только в этом. Я не стоял вообще ни на чём все эти дни, только сидел и лежал, и почти не сгибал ноги. А всё же такая слабость — просто смешно! Поднимаюсь, приседаю несколько раз. Да, здорово ослабел...

Парень лезет вверх по скале, я за ним, меня удерживают, показывают путь полегче. Когда это я выбирал путь полегче? А теперь, пожалуй, стоит. Цепляясь за выступы, взбираемся наверх, к маяку.

Изгороди из жердей, нехитрая хозяйственная утварь. Один из турок — смотритель маяка, тут и семья его — жена, детишки, глазеют на нас: люди с моря, обгоревшие лица в светлой щетине, растрескавшиеся губы и — неутолимая жажда...

И вот я лежу на земле, твёрдой, тёплой, она пахнет сухим навозом и всеми земными запахами. Я прижимаюсь к ней всем телом...

(Олег Соханевич. Только невозможное // Грани, № 74, 1970)

→ 30 ноября: Прославление Соханевича

Пермь

Пермь — пернатое засилье, вотчина ворон и галок.

Пермь — пробирка галереи, где шурует позолота
в потайных карманах ниш.

И глотки, глоток, глоточки: глоттогония двух арок —

Пермь — затравленная мышь.

А на деле выходило — тарабарщина, не город:
стойбище гудрона, гари, копоты чубатых труб,
сдача с гривенника двушкой, сорванный на спевке голос,
топография густая треснувших зимою губ.

Пермь — детдом ночной порою, где лежит в обнимку
с братом
младшим мальчик лет пяти.

Их во сне оставит горе, но разбудит сторож матом:
младший вскрикнет и в глазницах станет слёзы кипятить.

Это — Пермь. А дальше — больше (будет меньше
разговоров),
козырёк карниза двинет на меня входная дверь.
Кто сегодня рыжей ночью мне покажет волчий норов? —
косоногая сатрапка, бабка, бросившая внуков, —
атропиновая Пермь.

(Виталий Кальпиди, 1982, с изменением)

... после того, как чертежи были одобрены, король Филипп использовал все стимулы, чтобы инженеры его армии работали без остановки. Платформа машины была длинной и широкой, словно немалых размеров поместье, и пружинистый рычаг возвышался на высоту соборного шпиля. Стволы огромных листовенниц были спицами в колесах, а железные обода пришлось отлить во рве ближайшего замка. Канат был толщиной с Жилия де Конвино, и потребовалось сто человек, чтобы водрузить на место все детали заводного устройства. В строительстве было занято семь тысяч человек одновременно, но всё делалось в точности по чертежам Креспена, за вычетом оглобелей, которые пришлось изрядно увеличить, так как оказалось, что потребуется никак не менее восьмисот жеребцов-тяжеловесов, чтобы сдвинуть платформу и согнуть рычаг. Понадобился целый день для того, чтобы собрать их всех на строительной площадке и запрячь в оглобли.

25 августа 1346 года все были на месте: король, его незаменимый главнокомандующий маршал де Ригер и все благороднейшие воины французской армии собрались на испытание гигантского орудия. Лошади два часа таскали платформу по полю, колёса закручивали лебедку, канат заземлялся в барабане, рычаг медленно сгибался. Пришлось покрыть немало миль, прежде чем он согнулся наконец до предела, и юный Креспен, всю дорогу восседавший на платформе, шагнул в своих латах вперёд и, вдвинув зубастую балку, запер шип лебедки. Распрягли лошадей. Креспен открыл ящик с гонгами и критическим взглядом окинул горизонт. На невысоком безлесом холме, на расстоянии семи лиг отсюда, возвышалась мишень — огромный Зелёный Рыцарь на боевом коне подобных ему размеров и окраски. Это был английский рыцарь сэр Берсилак де От-дезерт, а выбрали его мишенью потому, что он лишил мир рецепта месье Жилия де Конвино «soup de grass», а кроме того, изрядно всем надоел.

Случилось это так. Во время продвижения англичан к Креси Зелёный Рыцарь, гоняясь в подлеске за необыкновенной бабочкой, отстал от армии короля Эдуарда. Он так был увлечён погоней, так настроен прибавить к своей коллекции новый экспонат, что потерял счёт времени и выход из подлеска. В это время далеко отбившийся от французского лагеря в горячей погоне за диким поросёнком месье Жиль ворвался в тот же самый подлесок и внезапно обнаружил перед собой самого большого и самого зеленого человека, какого он когда-либо видел.

Ни один из воинов не был соответствующим образом вооружён, и каждый был смущён неловкостью ситуации в целом. Французский дворянин месье Жиль имел при себе только зубатую палицу, которую он выбрал для контактной работы со свиньей; единственным оружием сэра Берсилака был сачок для ловли бабочек.

После нескольких минут откровенной беседы оба воина согласились сыграть в «удар-на-удар», поочередно используя для этого палицу месье Жилия до тех пор, пока держаться на ногах сумеет только один из них. Сэр Берсилак настаивал на том, чтобы первый удар нанёс месье Жиль, поскольку палица принадлежит ему. Француз и слышать не хотел о столь невежливом отношении к гостю своей страны и, втиснув палицу в руку сэра Берсилака, уступил ему первый удар. Сэр Берсилак взмахнул палицей и обрушил её на макушку месье Жилия де Конвино с таким скверным занозистым хрустом, что тот без чувств грохнулся на землю.

По прошествии шести часов француз не шевельнул ни единым мускулом, и сэр Берсилак был поставлен в исключительно сложное положение. Будучи человеком щепетильным во всем, что касается рыцарской чести, он понимал, что месье Жилю необходимо предоставить возможность для ответного удара, даже если помехой для такового окажется период госпитализации. Поэтому Зелёный Рыцарь перебросил обмякшего соперника через луку

своего зелёного седла и потрусил из подлеска в направлении вражеского лагеря.

По его прибытии французы долго аплодировали образцовому подходу сэра Берсилака к дуэли, отпустили ему гладиаторский долг и предложили свободно уехать. Сэр Берсилак не поддержал этого столь характерного для французов отвратительного предложения и потребовал предоставить ему жилище и необходимую службу до тех пор, пока месье Жиль не поправится настолько, чтобы в свой черед использовать палицу. Занятые постройкой Креспенова орудия и подготовкой к битве французы, не сумев оказать английскому рыцарю требуемого гостеприимства, велели ему оставить их в покое и идти к чёрту. Сэр Берсилак, однако, этого не сделал, а слонялся вокруг, путался под ногами и докучал всех вопросами о состоянии здоровья своего оппонента. Никто не посмел ему сказать, что жизнерадостный гурман оставил бранный мир в момент удара палицы, унес с собою свой сочный рецепт.

В конце концов, когда понадобились добровольцы для прицельного испытания, король Филипп призвал к себе Зелёного Рыцаря и объяснил ему, что его поражение пузырем с маслом и жертвенная гибель будет сочтена за справедливое исполнение его рыцарских обязанностей. Зелёный Рыцарь нехотя согласился и теперь стоял, щурясь на закатное солнце и наблюдая приготовления у отдаленного орудия.

Креспен уже настроил канат в унисон с гонгом под номером 7 и непоколебимо стоял у осевой балки; кругом раздавалось уважительное шиканье в ожидании появления старухи для наведения безжалостного механизма. Внезапно она возникла и проследовала через поле в своем красном шёлковом балахоне, расшитом колдовскими знаками. На её лице застыло жуткое циклопье выражение, которое так отвратило Креспена при первой встрече. Чудесный монокль был на месте, а на голове помещалось хитроумное

устройство в виде вращающегося обода, с радиально расходящихся лопастей которого свисали теодолитные квадранты с насечками для лучшего наведения орудия.

Не обращая внимания на Креспена и собравшихся офицеров, старуха обезьяной вскарабкалась по мачте к гнезду, и вскоре послышались её громкие команды солдатам, послушно потеющим у огромных колес. Через пять минут она просигналила своё удовлетворение криком «Pour la belle France!», исчезла из виду и захлопнула за собой люк. Пузырь с маслом был водружён на напряжённый рычаг, далеко в поле арбалетчики зарядили свои арбалеты раскаленными стрелами и прицелились в Зелёного Рыцаря. Король Филипп выступил вперёд. Он окинул Креспена царственным взглядом и улыбнулся. На горизонте Зелёный Рыцарь приготовился к прибытию пылающего масла.

«Огонь!» — вскричал король, и Креспен отбросил с лебедки тяжёлую балку, провоцируя вспышку мощного механического движения. Возможно, среди приготовлений, прерамбул, чувств значительности происходящего, раздумий о Зелёном Рыцаре и его возможной судьбе, короче говоря, среди всего, что занимало умы присутствующих, важнейшая часть операции ускользнула от внимания как читателя, так и всех тех, кто находился в этот ответственный момент в поле, а именно: никто не заметил, что Креспен забыл освободить сцепление. Лебёдка по-прежнему была соединена с задними колесами, и потому, как только Креспен отпустил лебедку и рычаг, они немедленно стали возвращать огромным колесам всю ту энергию, что пошла на их завод.

Могучие колёса петушиными хвостами взорвали французскую землю, платформа рванулась вперед, и все восемьсот лошадиных сил принялись ускорять её по отношению к горизонту. Креспен, спасая свою жизнь, вцепился в балку, мощное орудие понеслось в сторону арбалетчиков. Рычаг стал медленно со скрипом выпрямляться, продолжая разгонять колёса, зажигательный пузырь, к ужасу Креспена,

съехал по рычагу вниз, и в тот миг, когда арбалетки в страхе обнаружили приближающуюся к ним неотвратимую расплату и предприняли безнадежную попытку убраться с её пути, пузырь соскользнул с передка платформы и взорвался потоком масла, которое тут же воспламенилось. Те, кому повезло, погибли мгновенно под громыхающими колесами, остальные сгорели в огненной буре местного производства.

Убийственная машина тем временем неуклонно приближалась к Зелёному Рыцарю. Креспен поднял голову и взглянул на рычаг. Тот истощил лишь малую толику энергии, и, если Креспен что-нибудь срочно сейчас не предпримет, боевое орудие несомненно утонет в Ла-Манше. Можно опустить балку на вращающийся зубчатый вал лебедки, но это разве что оборвет её зубья, как зёрна с кукурузного початка. Последней его надеждой было разрубить канат. В нарастающей панике Креспен совершенно забыл о скрюченной в гнезде старухе, но когда он начал рубить канат, появилась Евдоксия и что-то сказала о своей смерти от утопления. Они находились уже менее чем в лиге от Зелёного Рыцаря, и когда старуха взглянула на рычаг, поднявшийся на высоту её гнезда, ей пришлось в голову открутить крюк с резьбой и тем самым ослабить натяжение каната. Это могло замедлить движение платформы, а то и остановить её, поскольку поверхность земли при приближении к холму становилась всё круче.

В одно мгновение старуха поднялась и, с великой резвостью перепрыгнув через бездну, приземлилась на верхушку рычага и повисла на нем, словно пиявка, в своём раздуваемом красном балахоне. Возможно, она добралась бы до крюка и даже сумела бы его отвернуть. Вполне возможно, что это возымело бы спасительное действие, но мы никогда и ничего об этом не узнаем, потому что пока сорвавшаяся машина мчалась к Зелёному Рыцарю, острый нож Креспена перерезал канат, рычаг взметнулся вверх и выстрелил старухой в небо с мгновенной силой, равной той, которую в тот день произвели восемьсот тяжеловозов. Яростная от-

дача подбросила Креспена высоко в воздух, переломила платформу и смела с осей огромные колеса. Они пролетели через весь пейзаж, побережье, пролив и Британию, наконец через Ирландское море и упали к югу от Уиклоу.

Креспен бездыханно грохнулся на землю у ног боевого коня Зелёного Рыцаря. Как только его зрение прояснилось, он взгляделся в небо и увидел там крошечное красное пятнышко, которое становилось все меньше и меньше, ибо Евдоксия удалялась в бесконечность. Наконец она исчезла, а над Креспеном встал Зелёный Рыцарь с озадаченным выражением на лице.

— Все ли прошло, как запланировано? — спросил он.

(Питер Уэйр, Безумие Дэниела О'Холигена)

→ 3 сентября: Уэйр, 3

Трагедия и комедия

Слава то ли сам придумал, то ли вычитал где-то, что трагедия и комедия соответствуют детскому восприятию номинаторов этих жанров — козла и медведя, к которым он приторочил два «греческих» слова — *τραγος* и *κομος*. В обоих случаях перед нами *сбой* и *выворот* восприятия: трагедию зачинает опасный, казалось бы, домашний зверь, а завершается она демонизацией и кучей трупов; комедия поначалу пугает косматым чудовищем, но на цепи поводыря-цыгана он оказывается нестрашным мишкой. Сюда же: «Козлиная песнь» Вагинова и масленица-комоедица.

АВГУСТ

26

воскресенье

Непонятный человек

В деревне: в избу иногда заходил непонятный человек маленького толстого роста. «Андреич дома? — говорил он высоким охриплым голосом. — Ну, здравствуй! Как жизнь молодая?» Дедушка начинал суетиться: «Проходи, Олег! Да

АВГУСТ

27

понедельник

не разувайся!» «Эх-хе-хе. Тогда я так пройду... Хозяйка бы не заругала... Я тут принес с собой две чекушки. Три недели из лесу не вылезал. Пёс у меня окошел. Разорвала медведица. Приходит к сторожке с медвежатами, а Громовержец мой накинудся, она его подмяла — только успел зюзюкнуть. Пришёл вот отыскивать новую лайку. Говорят, в Винограде есть волкодавчики хорошей чёрной масти. Да, с чёрным нёбом, добрые на вид — как собаки!...Ну, Андреич — за лихо, чтобы не было нам лихо! Огурчи, говорят, в Красавино все погибли. Фронт нашёл, а по левому берегу — тишина!»

— Я вот что тебе скажу, Олег. Тут у Шурки народились щенята, злые — сразу видать: двух они уже пристрелили, но три ещё целы: ты сходи, вымани такого мохнатого всего, у него и язык и десны — как пёк — этот — волчонок! Задаром отдадут.

— Жаль мне Громовержца. Эти сучки только скулят и всё по помойкам. А этот верный был, ну, ни на шаг не отходил, скажи что — тут же понимает: малейшее движение... а рысковый... белок не пускал... заморозит их, этих белочек, и они как шпиндели на прищепках: я уж топил грешным делом печь ихними хвостами... А мясо — поганое, как у мыши: вот ведь — что значит — кошка!

(Когда приходил этот удивительный маленький человек, я специально забирался на полаты и подслушивал, что они беседуют между собой: мой дедушка Андрей и лесовик Олег.)

Олег был уже пожилой, с остриженной круглой — круглее некуда — головой — в яркой седой щетине вокруг головы. Мнения и речь его были непривычны: он очень остро и жёстко и с какой-то внутренней нежностью определял всё окружающее его.

(Один из героев Платонова, которых он ещё застал живую в свою бытность.)

Олег Куй (это его фамилия) на самом деле (что значит — на самом деле? — т.е. на смертном одре или в бане?) была

Ольгой Куй: это была женщина 52–53 лет. Она работала сто-рожем на лесосеках. Но представляла из себя исключительно-но Олега Куй. Дети её были исключительно собаки, тракто-ра и кошки, любовники — исключительно волки, рыси и медведи.

История её превращения в мужика следующая:

Её жениха забрали на фронт и там убили в первую же се-кунду по выходе из окопа. И она сама превратилась в своего суженого мужа. Сразу и бесповоротно. Рассказывали, что в пьяном виде она постоянно мылась в бане в мужском от-делении — сотни раз. И лишь иногда — в трезвом — прохо-дила с тазиком и какой-то сиротской мочалкой на женскую половину. Бабы рассказывают, что, мыля в своих длинноволосых волосах вшей — они незаметно плакали. И — Олег — плакала, но говорила, что это у него от мыла.

Футбол

Деревенский футбол — это нечто вызывающее, нечто взыскующее здравого смысла. В Северодвинске футбол — это клубок хитроумия, финтов, стратегического расчета, мягкого паса, точного удара, это балет. «Сегодня вечером кина не будет, будем играть на лугу в мяч». И на эту весть слетается вся деревня. На залильном лугу ставятся ворота из чурбаков. Так как народу много, то чурбаки разносятся на пропорциональное расстояние — на метров 150 друг от дру-га. А так как луг, слава богу, залильной — в ширину футболь-ное поле практически ничем не ограничено — безгранично: до естественной преграды (реки) метров шестьсот. Никаких угловых тоже не предусмотрено: можно водиться и за воро-тами, углубляясь в тылы насколько хватит разума (никто же не судит: свистков нет). Так что никакие подножки не счита-ются. Чтобы преодолеть такие великие расстояния от ворот до ворот, надо быть очень выносливым; а т.к. понятия «за-щитник», «нападающий» — тоже отсутствуют, вся ватага носится кучей вокруг мяча, где бы он ни был. Добравшийся

же до него окрылён одной великой идеей: приложиться к его ускользящей надутой до отказа плоти что есть мочи — от души! И поначалу футбол напоминает пчелиный рой, передвигающийся с места на место в поисках ещё не вытоптанного пространства. Но спустя некоторое время, когда выпущен первый пар футбольного неистовства, со стороны реки выползает туман — и поле битвы окутывается тяжёлыми сумерками. Теперь уже об игре можно судить по тёмным массам, то выступающим, то вновь надолго пропадающим в зловещем тумане. При этом самым поразительным является то, что набухший кожаный мяч, как обух, всё ещё остаётся привязанным к ногам футболистов. Он под контролем! Но толпа постепенно редет, группы участников этой причудливой игры незаметно и безболезненно покидают наше смысловое поле, пока (наконец!) с чьей-нибудь легкой ноги не канет с концами и сам виновник всего этого фантастического абсурда. Тогда только вратари узнают, что всё кончено, что опять ни чья не взяла — но посмотрим — то ли ещё будет в ответном матче!

Прощание

Дети — известная сволочь: бесчувственный народ. Это маленькие дзен-буддисты, которые, не имея за душой никакой идеи, никаких сил и технических средств — принимают данность во всей совокупности её неизбежности — т.е. отдаются ей сразу и целиком.

Бабушка плакала в платочек, когда мы уезжали обратно жить на далеком севере. Нам же было хоть бы хны. Просто очень раннее вставание, когда ещё идет пар от дороги и от собравшихся в поход коров, приносило в отъезд нечто сюрреалистическое, сновиденческое: вот жили-жили — и вдруг уезжаем. Костюмчики на нас уже другие: серые брючки со стрелочкой и что-то подсели немножко, пиджачок с кармашком, в кармашке — платочек: а, это опять лезть на кукурузнике, а платочек — если вдруг замутит. Да

нет, на этот раз уж точно не замутит. Тем более, что, может быть, мы полетим на Яке. Или на Ан-24.

Перед нашим отъездом дедушка запивал, и вообще, он сейчас будут пить целый месяц, а проще говоря — до следующего лета. Но ещё крепился и бегал разузнавать, когда из гаража отходит автобус на Никольск, и нёс чемодан, рюкзак и ведро с солёными волнушками. Бабушка в белом платочке и чёрной фуфайке махала рукой и всё больше горюнилась — по мере уменьшения её фигурки. Трубы на крышах у всех растоплены — для нового дня, на щите клуба написан почерком киномеханика дяди Юры новый фильм: «Мы едем в Холмогоры»: надо же! Такое хорошее кино уже будут показывать без меня! Сонный Шрайбикус глядит из-за запотевшего окна кухни, я машу ему рукой: всё — поехал. Он тоже машет как-то недоверчиво, какими-то нелепыми махами недотепы — тоже, наверное, сюрприз, что дружба опять взяла и закончилась. Последняя собака (Коли Глухого) провожает пробуксовавший по мосту автобус, отстаёт, останавливается, поворачивается хвостом и бежит, тряся башкой, обратно в деревню.

(Сергей Спирихин. Деревянная подлодка)

Роза Азора

Редактируя сборник «Шведы на берегах Невы» (Стокгольм, 1998), наткнулся на любопытную статью Бенгта Янгфельдта о частном визите летом 1777 года в Санкт-Петербург шведского короля Густава III, двоюродного брата Екатерины. За месяц своего пребывания в Петербурге Густав трижды прослушал модную тогда комическую оперу Гретри «Земира и Азор» на сюжет «Красавицы и Чудовища» — в том числе и в исполнении девиц-смоляненок. Через год после этой поездки премьера «Земиры и Азора» состоялась и в Стокгольме, Екатерина назвала Земирой свою любимую левретку, а Густав — бери

выше — новый линейный корабль, который, впрочем, безжалостные русские потопили в 1790 году в Выборгском заливе.

Но я, собственно, о другом: по ходу оперы безобразный Азор превратился в прекрасного принца после того, как Земира коснулась его розой. Вывод прост: знаменитый палиндром «А роза упала на лапу Азора», который приписывают Фету, скорее всего, сочинили ещё в XVIII веке — имелись для этого и театральные поводы, и бросающаяся в уши инверсия «роза — Азор».

АВГУСТ

29

среда

С пустыми руками
Из леса идут грибники
Шумной толпой.

(Исса)

АВГУСТ

30

четверг

Присланный для изъятия лишнего имущества у тех, кто им располагал, в окрестности неожиданно возник бывший муж, бросивший малярить, и превратившийся к этому времени в грузного человека старше своего настоящего возраста. Наведавшись по должности к Марфуше, он растерялся, смотря и не понимая, кто перед ним. Увидав на ломберном столике цапки, он с неудовольствием произнёс: «Эх...» — и махнул рукой, не зная, как себя вести. И хотя из-за зависимой работы ему было привычно быстро смириться с утратой предыдущих состояний, встретив Марфушу, бывший муж долго удивлялся несоответствию тогда и теперь, а, если точнее, непонятным событиям тогда из такого очевидного теперь.

Между тем Марфуша, чьи чувства после того, что с ней случилось, не запутались и усложнились, — и это было бы вполне естественно — а неожиданно упростились, бродила на закате по саду, укутанная от комаров, как во времена татаро-монгольского ига, в трёх кофтах и двух юбках, а её за-

мечавший отдельные вещи и действия и отказавшийся от выведения итогов ум никому в пустом доме и саду не мешал. Переселившись, кстати, даже не столько в кладовку при кухне, сколько в хозяйский сад, она страстно и беспросветно огорошивала землю семенами цветов. С одним отличием: если некогда в доме деда Марфуща культурно возвращала ботанические раритеты, ныне она полоумно сеяла плевелы. А так как еда в одиночестве перестала быть для неё трапезой, превратившись в поспешное утоление неважной нужды, то и ела она в саду из пригоршни прихваченные в кухне отварные картошки. Иногда она жевала принесённый бывшим мужем высохший бутерброд из буфета учреждения, чьё неземное название повергало Марфушу в особенно глубокую задумчивость.

Вечерами, прихлопывая на впалых скулах комаров, она размышляла о том, что цикламены летом любят прохладу, а гладиолусы имеют пристрастие к солнцу... из этого надо было сделать какой-то вывод, относящийся к хозяйскому саду, но она никак не могла догадаться какой, и потому покидала стезю умозаключений и, приволакивая калосу, бездумно пересаживала цветы куда надо. При этом её блеклый взгляд всё чаще стремился к тому уголку сада, в котором под могильным камнем был похоронен хозяйский кот. Она думала, что там подходящее место.

Как-то вечером бывший маляр, сам не понимая, зачем он навещает Марфушу, заглянул к ней. По дороге он предавался нелепым зрительным фантазиям, споспешествовавшим некогда выбору ремесла. Он умственно срывал крыши со встречных домов, продлевая вертикали, шире распластывая горизонтальности строений, передвигая деревья и смещая сумрачные пятна в их тенистых кронах, впиваясь немигающим взглядом в гладкие, шероховатые и бархатистые поверхности тел и вещей. Он наслаждался, прослеживая пересечения плоскостей и граней, осязая умом и перекраивая во внутреннем видении случайные неверные фор-

мы. И только открыв массивную с чугунным кольцом калитку, он вдруг понял, что приходит для того, чтобы, основательно усевшись в хозяйском кабинете в кресле перед высоким и просторным письменным столом, положить руки на подлокотники с гривастыми львами, откинуться на высокую резную спинку, закрыть глаза и захлебнуться блаженством, вообразив другую, совсем другую жизнь, — ту, какой ему теперь предстоит жить.

Несмотря на сумерки и тучи комаров, Марфуша всё ещё возилась в саду, зачем-то прореживая тот самый куст теперь уже окончательно отцветающего шиповника с измятыми белыми лепестками и развалившейся махрящейся сердцевинкой. Увидав посетителя, она исполнила некогда вытверженный ритуал гостеприимства, и, как положено, приветствовала гостя, проводила его в дом, но самовара не поставила, а села в столовой напротив визитёра и начала, бледнея, на него смотреть. Чем пристальнее она на него смотрела, тем больше уходил от Марфуши, расплываясь концентрическими кругами и формируя вокруг беззвучный безвоздушный котлован, окружающий мир. Она вдруг почувствовала, что становится сама себе чужой, что в ней сякнет жизнь, и принялась всхлипывать, горестно приговаривая, что она — плохая, очень плохая. (Такое уже случалось — о собственных никчемности и порочности после ухода недолгого супруга Марфуша незамедлительно забывала). Вот и сейчас, глядя на него, она, сбившись, сказала, не то, что хотела: «Это ничего, что комаров много, даже, говорят, полезно... — и добавила: — Чего там, это что, и не такое бывает... — а потом удрученно дополнила: — Можно и потерпеть...» — и лицо у неё приняло отчаянное выражение.

«Ну...» — неопределенно вздохнул посетитель, подумав о том, что зря не пошёл к мякотелой поварихе из бывшей земской больнички, которая ему смутно кого-то напоминала, и стал ждать, что будет дальше. Но больше Марфуша ни-

чего не сказала, чаю согреть не стала, а с дрожащими губами пошла в кладовку на топчанчик.

Ещё раз вздохнув, бывший муж отправился в кабинет хозяина. Отдёргнув от стола кресло с подлокотниками, завершившимися вздёргнутыми львиными головами с остервенелой разинутой пастью, уселся, прочитал в раскрытой книге тёмную фразу: «Укоренены в бытии только превзошедшие его...» Удивленно поднял брови, а потом, хмыкнув, смежил веки и несколько минут посапывал. Ему по какой-то умственной прихоти припомнилось, как в детстве в сомнамбулическом состоянии он хотел помочиться в бельевую кладку комода. Потом была тёмная сутолока и расплывшаяся по телу боль. Он тогда спрятался в хлеве, из которого мать его частенько выпроваживала, если он засиживался на ведре, а ему не хотелось выпрастываться из влажного тепла, и он неотрывно смотрел на бесшумно шуршащие в корыте мягкие коровьи губы и выпуклое блестящее око, прикрытое коротеньким веком с редкими ресницами. Его восхищало, какая корова большая и какая она добрая. Из слухового окошка сеялась слабая луна, глаз кротко сверкал с подстилки, он прижался к мерно и глубоко дышащей коровьей плоти саднящей спиной... и ощутил спинку твёрдого резного кресла.

Открыв глаза, он отложил книгу с непонятной фразой и потащил к себе толстый художественный альбом. В течение часа он негнуцимаясь пальцами задирает папиросную бумагу, всматриваясь в картинки, вздёргивая то одно, то другое плечо и отирая затёкшие лопатки о высокую резную спинку кресла, а когда на столе иллюстрированным изданиям не достало места, раздвинул вширь локти и с ухмылкой прислушался к шумному обрушению томов на пол.

Наконец он оторвался от беспорядочно валявшихся на столе художественных альбомов, которые устал разглядывать, несколько минут сидел, угрюмо набухая и прислушиваясь к струению разогревающей тело крови, отдающемуся в ушах биению сердца. Потом раздражённо завозился лок-

тями в жёстком резном кресле, встал, и, не потушив лампы на стройной малахитовой ножке под зелёным, обшитым стеклярусом, абажуром, вдвинулся в створки двери, ведущей в Марфушину кладовку, притворив их с такой силой, что дерево заскрипело.

Вечером другого дня Марфуша раскопала в уголке сада возле могильного камня над хозяйским котом глубокую ямку и, предварительно обильно полив землю, опустила туда корень, вероятно, из семейства пасленовых, как-то чудно в сумерках сверкавший и напоминавший очертаниями растопыренные морковки георгина, а затем присыпала его песком. Разогнувшись, она неожиданно сказала самой себе вслух: «К дому прекраснокудрявой богини Цирцеи все устремились» — и озарилась насмешливой улыбкой, какой никто никогда на её лице не видел. В сумерках она ещё долго сидела на скамеечке возле камня, переживая необыкновенное ощущение душевного и физического равновесия.

К концу августа возле камня вырос изумительный цветок, колдовским и устрашающим обличем сходный с чертополохом. В последний день месяца Марфуша аккуратно окопала совочком, выбрала корень, обмыла, очистила его наподобие сельдерея, изрезала, измельчила, истолкла грубое туловище и залила кипятком, чтобы отвар настоялся. Спустя несколько дней, когда маляр навестил её снова, она, наконец, согрела для пришедшего самовар и украдкой подлила настоя в кружку, из которой бывший муж собирался пить чай. Однако, когда гость, взявшись за кружку, из неё прихлебнул, Марфуша страшно перепугалась и, рыдая, призналась ему в своём зломом бессмысленном действии. Как со всеми предками по мужской линии, страдавшими избыточным полнокровием, с недолгим супругом случился припадок. Бывший муж кричал и кричал на охватившую голову руками Марфушу. Крики становились отчего-то всё протяжнее и протяжнее, и, наконец, ослабев, он прогово-

рил неверными губами: «мама», и начал как призрак растворяться в воздухе и испаряться в облачко на горизонте. Марфуша навсегда возвратилась в лечебницу.

(Вера Резник. Марфуша, отрывок)

→ 21 ноября: Резник, 4

Занимаясь этим трудом <литературой> уже двадцать лет, я только сейчас начинаю понимать, что не ошибся, что я был на самом деле осуждён на этот язык условностей, то есть на язык писателя. Я никогда не принимал этот язык всерьёз, случалось так, что я его ненавидел. Но поймите, Бог дал мне лишь это средство взволновать вас тем, что я люблю, я не заслужил ничего, кроме шарманки, которую я кручу перед вашими окнами, мои старые друзья! Когда я был молодым, мне удавалось лишь кончиками пальцев вращать рукоятку, низко склонив голову к своей несчастной мельнице. Но с этим покончено. Поразмыслите хоть чуть-чуть, сделайте одолжение! Я уже не могу принять эту вещь за шедевр, изготовленный мастером, я ношу его слишком давно, и ремень протёр мне плечо. Я буду молоть, пока мельница не станет пустой, вот и всё, я оставлю её Богу пустой, и даже постараюсь натереть до блеска, прежде чем умру, не в надежде поразить музыкантов в раю, а из гордости своей профессией. <...> Бессмертна не моя песня, а сам факт, что я пою.

(Жорж Бернанос. Дневник 1939–1940)

СЕНТЯБРЬ

Дети пишут Богу

СЕНТЯБРЬ

1

суббота

Изуми меня, Господи. Артур, 3 кл.

Хочу на Землю, которую сотворил Ты, а не люди. Андрей, 4 кл.

Когда я умру, не хочу ни в рай, ни в ад. Хочу к Тебе. Вера, 3 кл.

Испари мои грехи. Толик, 3 кл.

Ты обещал защищать слабых, обиженных, что-то я это не чувствую. Рома, 3 кл.

Пришли на Землю своего сына. Мы его не распнём. Павлик, 3 кл.

Не засчитывай в жизнь время, потраченное на молитвы. Надо же соображать. Янис, 3 кл.

Хочу, чтоб Ты жил на Земле. Антон, 3 кл.

Меня всё время натаскивают на Твой светлый облик, смотри, не разочаруй. Андрон, 4 кл.

Следи за мной внимательнее, чтоб я чего-нибудь не вытворил. Алик, 1 кл.

Ведь Ты же есть в каждом человеке, так что, пожалуйста, расскажи ей, как она мне нравится. Сам я стесняюсь. Коля, 3 кл.

Вчера в школе объявили, что Ты есть. Здравствуй. Лёня, 3 кл.

Ну вот, смотри, мы учимся, учимся, а зачем нам так страдать, если мы все равно умрём и знания наши пропадут. Федя, 4 кл.

А Ты хитрый, вначале позволяешь человеку согрешить, затем он покаяется, и Ты его прощаешь. Получается, Ты всегда добрый. Ловко. Толик, 4 кл.

Завтра пойду в церковь и расскажу Тебе классный анекдот про атеистов. Обхохочешься! Стёпа, 3 кл.

Человека Ты придумал здорово, а вот с зубами его Ты недоработал. Это же надо, 32 раза ходить к врачу! Вася, 2 кл.

Знаешь, хоть мне кажется, что души у меня нет, но иногда она всё-таки побаливает. Роман, 2 кл.

От любви не умирают, от любви просто не живут. Георгий, 3 кл.

Если бы Ты первым сделал женщину, Тебе бы не пришлось возиться с рёбрами. Вова, 4 кл.

Почитаешь, Господи, на кладбище надписи на памятниках, и задумаешься, а где же похоронены плохие люди. Олег, 4 кл.

Когда же придёт во второй раз Иисус Христос? Надо же чтоб люди подготовились, а то будет, как в первый его приход. Алина, 4 кл.

Прости меня за все грехи, знаю, я наделал их много, но я не знал, что Ты есть. Шурик, 2 кл.

Чем больше живёшь, тем загробнее. Радик, 1 кл.

Цветы у Тебя получились лучше, чем человек. Галя, 4 кл.

Не бойся, Господи, я с Тобой! Андрей, 1 кл.

Самое большое чудо, которое Ты творишь для людей, это то, что Ты ничего не делаешь для них. Сема, 4 кл.

Я плохой, но пусть бросит в меня камень, кто хороший. Только, чур, Ты не швыряйся! Вячеслав, 3 кл.

Я еще маленькая, учусь в третьем классе, грехов пока нет, но собираются. Ева, 3 кл.

(Составитель Михаил Дымов)

Яркость и острота жизни

В те времена, когда мир был на пять веков моложе, события человеческой жизни выглядели более выпукло и ярко. Несчастье и благополучие, казалось, разделялись резче, а весь людской опыт был ещё до такой степени абсолютен и непосредствен, каковы в сознании ребёнка — удовольствие и наказание. Каждое действие и событие облекалось в устойчивую и выразительную форму, носившую характер ритуала. Главные события жизни: рождение, брак, смерть — целиком погружались, благодаря церковным таинствам, в сияние божественной тайны. Менее важные происшествия — такие, как встреча, проводы, поездка, посещение, работа, — также сопровождались множеством заклинаний, благословений и церемоний.

Возможностей облегчить горе и нужду было тогда меньше, чем сейчас, а сами несчастья куда более люты и страшны. Болезнь и здоровье представляли большой контраст, а зимняя стужа и мрак ощущались гораздо более беспощадно. Богатству и почестям радовались намного живее, поскольку они ещё ярче, чем теперь, отличались от окружающего ничтожества и нищеты. Тёплый плащ на меху и жаркое пламя очага, доброе вино и весёлый разговор, хорошая

постель — всё это доставляло такую полноту счастья, что уцелело до сих пор в английских романах с малейшими подробностями и оттенками. К тому же все жизненные проявления, одни — поневоле, другие — наоборот, с гордостью предавались огласке. Прокажённые ходили процессиями и звонили в колокольчики, нищие голосили на папертях, выставляя напоказ свои уродства. Каждое сословие, группа или профессию можно было узнать по одежде. Знатные господа отправлялись в путь обязательно в сопровождении целого сонма оруженосцев и челяди, что, конечно, внушало уважение и возбуждало зависть. О том, что происходит на улице — публичная казнь, распродажа имущества с молотка, свадьба, похороны — можно было ясно судить по тому, каковы раздаются возгласы, вопли, музыка, каков движется кортеж. Влюблённые носили цвета своей дамы, мастера — эмблему цеха, сторонники влиятельной персоны — знаки или герб предводителя.

Та же выделенность и контрасты были хорошо заметны между городом и деревней. Средневековой город не сливался, подобно нашим городам, с грязными предместьями. Окружённый стенами, он высился единым монолитом, оцетинившись грозными башнями. Как ни внушительны были каменные дома знати и купцов, но царил над городом величественный лес церквей.

Контраст света и тьмы, шума и тишины также был резче, чем теперь. Современный город не знает ни полного мрака, ни мёртвой тишины: везде проникает свет, отовсюду доносятся отдалённые звуки.

Всякая вещь представлялась в сознании в символических формах и неизменных контрастах. Это привносило в повседневную жизнь ту особую экзальтацию, которая проявлялась во внезапных переходах от отчаяния к безумной радости, от жестокости к глубокой нежности. Между этими крайностями и пульсировала жизнь средневекового человека.

Был, однако, звук, который перекрывал любую суету и всё сущее погружал в тишину и порядок: звон колоколов. Словно добрые духи, знакомыми всем голосами возвещали они радость или горе, успокоение или тревогу. Их звали по именам: Толстая Жаклин, Звонкий Роланд — и понимали смысл их перезвонов. Непрерывный звон колоколов подчинял сознание средневекового человека.

(Йохан Хёйзинга. Осень Средневековья // Часы, № 58, 1985)

→ 9 октября: Хёйзинга, 2

СЕНТЯБРЬ

3

понедельник

Наконец-то они собрались все вместе — первое занятие курса средневековой литературы. Дэниел привел с собой Гленду <собаку>, раз уж она официально числилась студенткой, и когда они оба вошли в аудиторию E46, К. К. Сук, Алисон, отец Синдж, сестра Имприматур и Сеймур Рильке уже сидели вокруг преподавательского стола. Щенок тут же помчался к монахине и взобрался к ней на колени.

— Как поживает моя псюшка, — пропела счастливая Имприматур, — как поживает моя собаченька? У-у-у-у! У-у-у-у! Интересно, что этот проказник нам расскажет, а? Веселые истории для шалунишек собачек? Да-а! — Гленда улыбалась во всю пасть. Она чувствовала себя великолепно и была готова к самым весёлым историям.

Дэниел положил на стол книги, сел и оптимистично улыбнулся аудитории. Если он и был для чего-то создан, то именно для этого: вновь отправиться в обожаемый им ландшафт с новой командой попугачиков, быть проводником по очарованному миру, настолько далекому от отвратительной шуги современности, что каждый чувствовал себя здесь сладостно уединённо, где бы он ни замешкался: у ворот замка, во дворе церкви, в перелеске, в долине, на пригорке... Он любил и сам ритуал первого дня, прелюдию к отбытию:

— Добрый день, дамы и господа. Меня зовут Дэниел О'Холиген, мне выпала честь вести наши занятия по средневековой литературе. — Он направился к доске и написал: «Средневековая литература», потом тире и «д-р Дэниел О'Холиген».

— Сменил имя, Дан? — озадаченно выгнул свои изящные бровки К. К. Сук.

— Нет. Это мое полное христианское имя, мистер Сук. Однако я рад, что вы обратили на это внимание, потому что хотел бы, чтобы, сообразно университетскому обычаю, мы обращались друг к другу по фамилии. Я также хотел бы поддержать демократический способ принятия решений в вопросах, касающихся проведения урока. Предлагаю голосовать в тех случаях, когда возникает чреватая конфликтом ситуация. Согласны?

Все закивали. К. К. Сук закурил «Мальборо». Дэниел нахмурился:

— Похоже, у нас возникла первая заминка. Согласны ли мы с тем, что мистер Сук может курить во время лекции?

Отец Синдж не возражал. Сестра Имприматур отрицательно покачала головой, и Глендиной тоже, Алисой поинтересовалась о возможном компромиссе, мистер Рильке повторил вопрос. Дважды. Наступила короткая пауза, обычная после первого выступления мистера Рильке в незнакомой компании, и Дэниел решительно вступил:

— Голосуем. Кто считает, что мистеру Суку следует воздержаться от курения?

Дэниел и Алисон подняли руки. Их примеру последовал мистер Рильке. Имприматур подняла свою руку и Глендину лапу.

— Сожалею, мистер Сук, но вы сами видите результат.

— Ристос, Дан! Лучше мне к коммунистам! Лучше в Китай! Раней мере могу когда курить в Китай, не все решать собак. — Он с негодованием взглянул на Гленду. — Так

киски будут ставить метки на кзамен, а тицы читать здание! — И он демонстративно погасил сигарету.

Отец Синдж решил его приободрить.

— Мы все должны приносить жертвы, мистер Сук. Жертвовать — значит любить. Бог так возлюбил мир, что послал своего единственного сына на крестную смерть за наши грехи. Эта жертва спасла мир.

Но мистер Сук не успокоился.

— Тому богу-сыну дали курить сигарет перед крест? Может, у них собака у крест ворила ему курить перед панием мира!

— Спокойно, молодой человек, — сказала Имприматур. — Мы все сожалеем, что вам приходится плыть через океан в своих углых суденышках, добро пожаловать к нам, но это ещё не значит, что вы не должны вести себя прилично. Работайте над собой, или марш обратно в свою Японию!

После этих слов маленький кореец ошеломлённо затих, и Дэниел воспользовался моментом, чтобы приступить к предмету.

— Итак, отправляемся.

(Питер Уэйр, Безумие Дэниела О'Холигена)

→ 17 октября: Уэйр, 4

Советские цены

СЕНТЯБРЬ

4

вторник

10 руб. кофеварка электрическая «Эспрессо», штраф за безбилетный проезд в поездах дальнего следования, бачок для проявления киноплёнок (15 м), шоколадные конфеты «Трюфель»

10 руб. настольная игра «Хоккей»

10–20 руб. плата за детский сад в месяц

11 руб. билет на поезд «Москва-Ленинград», детский токарный станок, скатерть полульняная белая

11 руб. 50 коп. ракетка для большого тенниса (дерево)

11 руб. 70 коп. халат байковый

12 руб. утюг с отпаривателем, шапка кроличья, плата за однокомнатную квартиру, перьевая китайская ручка с позолоченным пером, профсоюзная путёвка на Чёрное море, зарплата сержанта в ВС

12 руб. 10 коп. детский паровозик на пластмассовых рельсах

12 руб. 50 коп. простыня махровая, кастрюля-скороварка, настольная лампа

13 руб. часы женские наручные

13 руб. 50 коп. фотоувеличитель, раскладушка

15 руб. велосипед детский, кроссовки детские, фотоаппарат «Смена-8М»

16 руб. 50 коп. сорочка мужская

17 руб. игрушечный рояль

17 руб. 75 коп. школьная форма 6–7 класс

18 руб. полка для книг, билет на поезд «Москва-Одесса», гитара семиструнная, авиабилет «Москва-Ленинград»

19 руб. 50 коп. одеяло ватное двуспальное, лыжи «Тиса»

20 руб. фотоаппарат «Смена-Символ», диапроектор «Этюд»

25 руб. игра «Электроника», базовый набор (коробка) ГДРовской железной дороги, микрокалькулятор «Электроника БЗ–23», туфли женские (импортные), наушники «Феникс»

26 руб. 20 коп. радиоприемник «Маяк-204» трёхпрограммный

30 руб. диапроектор «Свет ДМ-3», мяч футбольный ниппельный Адидаас (Польша)

30–40 руб. туфли мужские, туфли женские, джинсы Тираспольской швейной фабрики

31 руб. авиабилет «Москва-Сочи»

34 руб. радиоприемник Селга-402

35 руб. небольшое золотое кольцо, люстра «Каскад», микрокалькулятор «Электроника СЗ–33»

39 руб. велосипед «Орлёнок»

40 руб. стипендия в институте, пылесос «Вихрь», сапоги женские из кожи, часы электронные наручные «Электроника ББ–204»

42 руб. туфли женские замшевые

- 44 руб.** пылесос «Тайфун»
- 45 руб.** повышенная стипендия в институте, киноаппарат «Спорт-4», часы электронные настольные «Электроника 6–11», радиола «Серенада-405»
- 50 руб.** выплаты безработным и потерявшим работу на период обучения, кроссовки
- 52 руб.** велосипед «Урал»
- 53 руб.** плащ
- 57 руб.** фотовспышка «Луч-М»
- 60 руб.** компенсационные выплаты неработающим жёнам по месту службы мужа, ваза для цветов (малая)
- 60–80 руб.** костюм
- 62 руб.** машинка швейная ручная
- 65 руб.** повышенная стипендия в институте (только отличные оценки), пенсия, выплаты инвалидам и членам семей, потерявшим кормильца, киноаппарат «Аврора», кирпич 1000 шт.
- 65–130 руб.** зарплата молодого специалиста
- 70 руб.** железобетонная плита, гитара акустическая «Кремона»
- 75 руб.** кинопроектор «Луч-2», велосипед «Спутник»
- 80–300 руб.** фирменные джинсы (у спекулянтов)
- 82 руб.** сапоги женские зимние с синтетическим мехом
- 84 руб.** велосипед «Салют»
- 96 руб.** ковер 220×137

СЕНТЯБРЬ

5

среда

Реки, которые нас уносят,
жёлтые, белые, чёрные, чаще мутные,
чем прозрачные,
начинаются весной,
заканчиваются осенью,
где домики дачные,
сад-огород,
где реки, которые нас уносят,
наши дети легко переходят вброд.

(Дмитрий Григорьев)

Летний Сад

Так завершая круговерть, Природа —
От дивной щедрости своей —
Под занавес пронизанного ожиданием года
На черноту садов, ширь марсовых полей
Крылом неспешным края небосвода
Навеяла, —
Как сон мечтательнейших нег
Души,
Летающей в полуночье холодной Тулэ, край
Последней,
Почти невыносимой,
Окончательной свободы —
Пушистый,
Изобильный,
Всё проникающий,
Непроницаемый, —
С шестиконечником в структуре, —
Искрящийся на солнце
СНЕГ.

(Юрий Сорокин, 1986)

Уха

(как заключение)

Мы забросили сеть в начале этой книги! — крючкова-
тую сеть *вопросов* в бурное море безбрежного искусства,
чья глубина таит неведомое.

Теперь мы видели, насколько счастлив был улов ответов,
сытных, на мой взгляд (вернее — на мой аппетит), ответов,
из которых нетрудно на огне нашего желания сварить
в кристальной воде нашей мысли, уху, питательную, вкус-

СЕНТЯБРЬ

6

четверг

СЕНТЯБРЬ

7

пятница

ную, удобоваримую, вливающую свежие силы в уставшие мускулы нашей эстетической воли...

За стол, господа художники! — «Да кланяйся, жена!» — взываю я к Полимнии. И пусть не пугают вас эти слова, так как в дальнейшем я отнюдь не намерен своим угощением напомнить вам назойливость крыловского Демьяна...

Я буду краток в своей застольной речи, так как её задача — лишь раздражить аппетит ваш: — не больше.

Итак! — эта книга посвящена, как вы видели, главным образом исследованию портрета, в смысле художественного произведения, имеющего предметом *человеческое лицо* — этот «самый значительный из всех эмпирических объектов»...

Легко, однако, догадаться, куда «клонит» настоящая книга. — Всеконечно, без *эктенсивного* толкования искусства портрета, так же, как и самого понятия, это искусство обуславливающего, настоящая книга имела бы лишь частное, односторонне специальное значение.

Портрет, имеющий предметом человеческое лицо, само собою разумеется, взят в этой книге лишь как наиболее удобный, убедительный и в то же время самый легкий *пример* подлинного произведения искусства.

Разбирая последнее в плоскости предмета настоящего исследования, мы не можем в силу аналогии, присущей нашему мышлению, не заметить, что, в конце концов, всякое произведение подлинного искусства является неким художественным портретом, эстетическая природа которого имеет то же происхождение, ту же тенденцию и то же мерило ценности, что и специфически понимаемый портрет.

Портрет собаки, устрицы, цветка, заката, моря, сражения или процессии — такой же автопортрет художника, как и автопортрет, скажем Репина, Евреиновым обусловленный. И я уже показал на данных Добужинского, какой убедительности и животрепещущего интереса именно в *смысле автопортретов* могут достигать такие «скуп-

ные», «формальные» и «мёртвые», казалось бы, произведения живописца!

Однако, — возразит зоил — если портрет собаки есть на самом деле автопортрет художника, такой же по природе, какой даёт в ребёнке мать его (ведь портрет, по данному учению, есть не что иное, как плод духовного coitus'a оригинала с художником!), то не будет ли подобное произведение, архичудесное в инфернальнейшем смысле этого понятия, напоминать благочестивому созерцателю оного о содомском грехе, а автопортрет художника, от зеркала зачатый, напоминать в том же смысле о детском грехе библейского мужа?

Легко обратить такое возражение в шутку, не будь процитированного на этих страницах указания И. Фолькельта, что в искусстве «мы материально не заинтересованы людьми или предметами» и что поэтому такая аналогия, при всем её инфернальном «подвохе», невозможна, как совершенно беспочвенная, даже в виде шутки.

Но мы придеремся — мы рады придраться — к этой невозможной аналогии, — слишком «земной», несмотря на всю её беспочвенность, — чтобы воспользоваться ею как неким трамплином к тем «небесам», где в блеске и славе почиет от трудов своих тот, кто создал нас, согласно библии, «по образу своему и подобию».

(Николай Евреинов. Оригинал о портретистах)

Тименчик-губернатор

Лет пять-шесть назад, когда Тименчик один семестр преподавал в Лос-Анджелесе (в UCLA), мы как-то повезли его и Сузи погулять в горы. Стемнело, но дорогу разобрать было можно. Однако, когда, услышав какое-то уханье, Катя заявила, что высоко на эвкалипте она видит сову («вон она!»), ей никто не поверил, и я стал изгиляться на тему

о художниках, которые «так видят». Но тут какая-то птица действительно перелетела с указанного эвкалипта на другой, подтвердив остроу Катиного зрения, Катя же, великодушно сменив тему, привела любимую фразу из Ильфа и Петрова: «Прилетели колотушка, бибрик и синайка».

Рома, вопреки своей репутации абсолютного знатока текстов, знакомства с цитатой не проявил. Не помню точно, но, кажется, он даже спросил, что это за птицы, и Катя сказала, из «Записных книжек». Рома осторожно усомнился, Катя стала настаивать, Рома умолк, я сказал, дома проведем, и дискуссия закончилась. После прогулки мы завезли Тименчиков, а на обратном пути я стал отчитывать Катю за неуместность источниковедческих препирательств с самим Тименчиком:

— Если Тименчик говорит, что это не из «Записных книжек», значит это не из «Записных книжек».

— Но я же помню...

— Надо понимать, с кем имеешь дело. Тименчик подобен тому английскому джентльмену, на примере которого иллюстрируется понятие understatement. Когда среди его гостей возникает спор о том, что такое Занзибар, и кто-то говорит, что это такая птица, кто-то — что это рыба, и т. д., — он долго отмалчивается, пока, наконец, не позволяет себе осторожно предположить, что, кажется, Занзибар где-то в Африке, — и это при том, что в своё время он 20 лет прослужил губернатором Занзибара! Если Тименчик говорит, что не уверен, что цитата из «Записных книжек», значит, у него есть веские основания, типа того, что он только что написал работу о подтекстах этих «Книжек» или прочитал о них аспирантский курс, а возможно, и то, и другое.

Катя выслушала меня терпеливо, но дома погрузилась в «Записные книжки». Результат, как я и ожидал, получился отрицательный, что позволило мне ещё раз любовно отполировать экс-губернаторский образ Тименчика. Но Катя

не сдалась и перешла к рассказам и фельетонам, в одном из которых («Как делается весна») в конце концов обнаружила-таки колотушку, бибрика и синайку.

Партия закончилась, таким образом, ко всеобщему удовольствию вничью, о чём по телефону и было доложено Тименчику. Источник цитаты он мысленно запротоколировал, свой англазированный портрет молчаливо оприходовал, в чтении спецкурса по проблемам художественного перевода с русского на иврит на материале «Записных книжек» сознался.

(Александр Жолковский. Звёзды и немного нервно)

Ли Бо — Калигула

Больное сердце
замирает
опадает
Это пьяный Ли Бо
осторожно вылавливает из воды
отраженье Луны
словно рыбину серебристую
Сейчас сейчас
схватит —
нет, упадёт через борт
в объятия далёкой любовницы
предугадывая жажду Калигулы
нервного отрока
швырнувшего свой башмак
в лунное тело
в собственное отражение
в осколки брызнувшего зеркала
в жизнь свою бесполезную
Но это уже не наша забота:

Кали-Луна ведь по-прежнему в небе
«Где ещё один башмак?
Где мой Калигула?»
ждёт нового любовника

(1999)

СЕНТЯБРЬ
10
понедельник

Лет тридцать тому назад в богатом Орл-м имении проживал по-царски богатый помещик Н. К-ий, страсть которого к охоте, собакам и садовым беседкам доходила до смешного. Усадьба его издали представляла какой-то восточный заколдованный город, огромное его состояние позволяло ему вести широкую жизнь. Многие окрестные помещики составляли обычную свиту этого барина, сопровождая его на псовую охоту. <...>

Особенно пышными выходили у этого барина так называемые отъезжие поля; стая его гончих состояла более чем из двухсот смычков «выжлецов и выжловков», выжлятники были одеты в красные куртки и синие шаровары с жёлтыми лампасами; у ловчих для отличия были куртки, обшитые позументом, рога у всех висели на красной тесьме с кистями; каждый имел борзых собак на своре не более трёх; хортых собак К-ий не любил, борзые у него были чистопсовые и густопсовые. К походу всегда играли борзятники «позов». Выезд тянулся с обозами чуть ли не на версту, так много приглашалось гостей на травлю волков и русаков. На болотную дичь К-ий отъезжал тоже не с меньшим парадом, один обоз состоял не менее чем из сорока телег. Сам барин с почётными гостями ехал в линии, остальные гости в тарантасах и беговых дрожках. Охотничьих ружей у него было более сотни...

(Михаил Пыляев. Замечательные чудачки и оригиналы)

→ 19 августа: Записки мелкотравчатого, 2

→ 7 ноября: Пыляев, 5

Значит, это был пир горой, милый мой, пир горой.
Ружья с шашками в сторону — ты подходишь ко мне легко.
Усмехаешься, милый мой (я люблю тебя и навек твоя!),
и широким жестом своим к моему плечу прикасаешься.

Взгляд скользит по мне, лёгкий поцелуй (я люблю тебя!).
Пир горой, вдвоём мы сидим с тобой да с братией
на широких лавках, за столами дощатыми —
яства ломают их щедрые, и вино — рекой.

Пьём за упокой и за здравие, и за нас с тобой
(я люблю тебя и навек твоя, милый мой).
Небо синее отверзается, пир горой
замедляется.

Лишь листва шумит.

(Тамара Чудиновская. Тризна, 2005)

...Как только началась игра, к Николаю Дмитриевичу пришла большая коронка, и он сыграл, и даже не пять, как назначил, а маленький шлем, так как у Якова Ивановича оказался лишний туз, которого он не хотел показать. Потом опять на некоторое время появились шестёрки, но скоро исчезли, и стали приходиться полные масти, и приходили они с соблюдением строгой очереди, точно всем им хотелось посмотреть, как будет радоваться Николай Дмитриевич. Он назначал игру за игрой, и все удивлялись, даже спокойный Яков Иванович. Волнение Николая Дмитриевича, у которого пухлые пальцы с ямочками на сгибах потели и роняли карты, передалось и другим игрокам.

— Ну и везёт вам сегодня, — мрачно сказал брат Евпраксии Васильевны, сильнее всего боявшийся слишком большого счастья, за которым идёт такое же большое горе. Евпраксии Васильевне было приятно, что наконец-то к Николаю Дмитриевичу пришли хорошие карты, и она

на слова брата три раза сплюнула в сторону, чтобы предупредить несчастье.

— Тьфу, тьфу, тьфу! Ничего особенного нет. Идут карты и идут, и дай бог, чтобы побольше шли.

Карты на минуту словно задумались в нерешимости, мелькнуло несколько двоек со смущённым видом — и снова с усиленной быстротой стали являться тузы, короли и дамы. Николай Дмитриевич не поспевал собирать карты и назначать игру и два раза уже заспался, так что пришлось пересдать. И все игры удавались, хотя Яков Иванович упорно умалчивал о своих тузах: удивление его сменилось недоверием ко внезапной перемене счастья, и он ещё раз повторил неизменное решение — не играть больше четырёх. Николай Дмитриевич сердился на него, краснел и задыхался. Он уже не обдумывал своих ходов и смело назначал высокую игру, уверенный, что в прикупе он найдёт что нужно.

Когда после сдачи карт мрачным Прокопием Васильевичем Масленников раскрыл свои карты, сердце его заколотилось и сразу упало, а в глазах стало так темно, что он покачнулся — у него было на руках двенадцать взяток: трефы и черви от туза до десятки и бубновый туз с королём. Если он купит пикового туза, у него будет большой бескозырный шлем.

— Два без козыря, — начал он, с трудом справляясь с голосом.

— Три пики, — ответила Евпраксия Васильевна, которая была также сильно взволнована: у неё находились почти все пики, начиная от короля.

— Четыре черви, — сухо отозвался Яков Иванович.

Николай Дмитриевич сразу повысил игру на малый шлем, но разгорячённая Евпраксия Васильевна не хотела уступать и, хотя видела, что не сыграет, назначила большой в пиках. Николай Дмитриевич задумался на секунду и с некоторой торжественностью, за которой скрывался страх, медленно произнёс:

— Большой шлем в бескозырях!

Николай Дмитриевич играет большой шлем в бескозырях! Все были поражены, и брат хозяйки даже крикнул:

— Ого!

Николай Дмитриевич протянул руку за прикупом, но покачнулся и повалил свечку. Евпраксия Васильевна подхватила её, а Николай Дмитриевич секунду сидел неподвижно и прямо, положив карты на стол, а потом взмахнул руками и медленно стал валиться на левую сторону. Падая, он свалил столик, на котором стояло блюдечко с налитым чаем, и придавил своим телом его хрустнувшую ножку.

Когда приехал доктор, он нашёл, что Николай Дмитриевич умер от паралича сердца, и в утешение живым сказал несколько слов о безболезненности такой смерти.

Покойника положили на турецкий диван в той же комнате, где играли, и он, покрытый простынёй, казался громадным и страшным. Одна нога, обращённая носком внутрь, осталась непокрытой и казалась чужой, взятой от другого человека; на подошве сапога, чёрной и совершенно новой на выемке, прилипла бумажка от тянучки.

Карточный стол ещё не был убран, и на нём валялись беспорядочно разбросанные, рубашкой вниз, карты партнеров и в порядке лежали карты Николая Дмитриевича, тоненькой колодкой, как он их положил.

Яков Иванович мелкими и неуверенными шагами ходил по комнате, стараясь не глядеть на покойника и не сходить с ковра на натёртый паркет, где высокие каблуки его издавали дробный и резкий стук. Пройдя несколько раз мимо стола, он остановился и осторожно взял карты Николая Дмитриевича, рассмотрел их и, сложив такой же кучкой, тихо положил на место. Потом он посмотрел прикуп: там был пиковый туз, тот самый, которого не хватало Николаю Дмитриевичу для большого шлема...

(Леонид Андреев. Большой шлем)

→ 13 июня/2017: Северюхин — Королевский флеш

Творчество напоминает мне *бритьё холодной водой* в отступающей армии: «сосредоточенность среди хаоса».

Это у датчан-мореплавателей: «или-или», а у русских лесных жителей: «и-и».

Одни мысли подобны растущим деревьям, другие — убегающим в глубину колодцам, третьи — обглоданным костям. Но есть мысли — словно прохладные белые ладони из темноты... прикоснутся к горячей щеке — и исчезнут. Всегда внезапно, всегда неожиданно: появятся, прикоснутся, исчезнут.

На одной фотографии: Толстой и Чехов. Толстой-генерал рубит ладонью по воздуху, вещая какую-то истину, а Чехов спокойно сидит в кресле и слушает.

Современность подобна белому кафелю в ванной комнате: всё тускло в нём отражается, ничего не прилипает, всё чисто и по-больничному стерильно...

Петербург — явление не географическое, не политическое, не социальное, и даже не психологическое. Петербург — явление *психиатрическое*.

Гениальность, как принято считать, — высший дар, и вряд ли найдётся человек, способный ею пренебречь. Отказ от гениальности — путь к святости, к безумию. По-

ступки Паскаля и Рембо таинственны, величественны, невероятны.

Грибница ли — часть гриба, или гриб — часть грибницы? Что внутреннее во мне и что внешнее? Не есть ли душа моя — внешность, а мир вокруг — моё нутро?

Море не исчерпать ложкой, но не исчерпать ложкой и мельчайшей капельки, искрящейся в трещине камня. Величие великого очевидно, труднее постичь величие ничтожного.

Пишу: мы — оказывается: я. Пишу: я — оказывается: мы. Читатель же, встречая «мы», думает: я; встречая «я», думает: он!

Жизнь внезапна.

Люблю свободу, но и бочку не встречал ещё без обручей.

(Пунктиры. Из седьмой тетради, 1974)

Нет, это было просто мимолётное недомогание; ты снова бодр, полон сил и ещё ощущаешь жар от выпитого вина и коньяка и аромат последней выкуренной сигары, хотя к тебе — очень кстати, впрочем, — подкрадывается дремота, потому что из предосторожности, желая любой ценой избежать бессонницы, ты, против обыкновения, не стал пить кофе; ведь если сети мыслей и воспоминаний снова опутают тебя, они могут роковым образом изменить твою

настроения и планы; хотя ещё не прошло и временами усиливается это подобие душевного головокружения, хотя есть ещё эта потерянности, это недомогание, вызванные путешествием, а тебе и в голову не приходило, что оно выбьет тебя из колеи, впрочем, это лишь доказывает, что ты совсем не так стар, не так безнадежно пресыщен и труслив, как тебе совсем недавно казалось.

Теперь в обществе шести ненавязчивых попутчиков — они по-прежнему сидят на своих местах, но уже примолкли и больше не читают — старика, старухи, Аньес, Пьера и двух рабочих-итальянцев, которых ты окрестил сам уже не помнишь как, — ты можешь хладнокровно обдумать вопросы, о которых не хотел размышлять за ужином, для чего пускался на различные уловки: то воображал, будто это обычная служебная поездка за счет фирмы «Скабелли», и перебирал в памяти текущие дела, точно завтра утром тебе предстоит их обсуждать в здании на Корсо, то, подобно повару или этнографу, сосредоточенно смаковал блюда итальянской кухни, которую так любишь и которую тебе сулят ближайшие дни — даже если они не сулят тебе ничего другого, — и вслушивался в итальянскую речь за твоим и соседними столиками, потому что французов в поезде уже почти нет, а те, что остались, притихли, устав после проведённого в дороге дня, — вслушивался в звучание итальянского языка, который так любишь, хотя, к сожалению, очень плохо на нём говоришь; теперь, подкрепившись и отдохнув, ты можешь обдумать всё: свою поездку, решение, которое принял, судьбу Сесиль и что надо сказать Анриетте; взвесить все обстоятельства спокойно, а не в той странной растерянности, которая сбила тебя с толку, ослепила и завела в мрачный и постыдный тупик далеко от выбранного тобой пути, лишая всякого смысла твоё сегодняшнее существование и самый факт, что ты сидишь здесь, на этом месте, занятом непрочитанной книгой; а вся причина в том, что ты проголодался, устал и лишён привычных удобств; ведь ты не

в том возрасте, когда можно позволить себе юношеские прихоти (я не стар, я решил начать жизнь сначала, силы вернулись ко мне, дурнота прошла); вся причина в том, что твоё «я» стало разрушаться и внешнее преуспевание дало трещины, настолько явные, что давным-давно пора было сделать решительный шаг, настолько явные, что, как знать, ещё несколько недель — и у тебя, быть может, не нашлось бы необходимого мужества; доказательство — то, что совсем недавно, да, да, в этом самом купе, твои планы чуть было не рухнули; хладнокровно, спокойно ты должен гнать от себя эти мысли; ведь всё позади, решительный шаг сделан, ты — здесь, повтори мысленно ещё и ещё: «Я еду в Рим единственно ради Сесиль, и если вот сейчас я сяду на это место, то только ради неё, только потому, что у меня достало мужества решиться на эту авантюру».

Так отчего же, едва ли отдавая себе в этом отчёт, ты стоишь в дверях, покачиваясь в такт движению поезда и стучаясь плечом о деревянный косяк? Отчего ты застыл точно лунатик, остановленный на своём пути, и не решаешься вернуться в купе, словно боишься, что прежние мысли вновь нахлынут на тебя, едва ты займёшь место, которое облюбовал в минуту отъезда, потому что считаешь его самым удобным?

Все пассажиры уставились на тебя, в окне купе ты видишь своё отражение — ты покачиваешься, как пьяный, который вот-вот упадёт, но тут из расступившихся облаков показывается луна и смывает тебя.

Почему ты не прочёл этой книги, раз уж купил, — а вдруг она защитила бы тебя от наваждения? Почему даже теперь, сидя в купе и держа эту книгу в руках, ты не открываешь её, не хочешь даже прочесть название, — а тем временем Пьер встаёт и выходит из купе, а луна за стеклом поднимается и опускается, — почему ты уставился взглядом в переплёт, и обложка книги вдруг словно становится прозрачной, а скрытые под нею белые страницы с верени-

цами букв, образующих слова, смысл которых тебе неизвестен, как бы сами собой начинают переворачиваться?

И, однако, в этой книге, какая бы она ни была — ведь ты всё равно её не открыл и даже теперь не полюбопытствовал, не взглянул, как она называется и кто автор, — в этой книге, хотя она не смогла отвлечь тебя от себя самого, оградить твое решение от разъедающих воспоминаний, оградить видимость решения от всего, что ставит его под угрозу, сводит на нет, хотя она не смогла спасти твои иллюзии; в этой книге — а это роман, и ты купил его не наобум, это не просто первая попавшаяся тебе под руку книга в бесчисленном множестве книг, которые выходят из печати, она принадлежит к определённой категории изданий, на это указывало место, какое она занимала на витрине вокзального киоска, и название, и имя автора, хотя в данную минуту ты их забыл и они тебе ничего не говорят, но когда ты её покупал, они о чём-то тебе напомнили; в книге, которую ты не прочёл и не прочтёшь, теперь уже поздно; в этой книге, ты это знаешь, есть персонажи, напоминающие людей, сменявших сегодня друг друга у тебя в купе, описана обстановка и предметы, разговоры и переломные моменты, и всё это вместе составляет повествование; в книге, которую ты купил, чтобы отвлечься, но не прочёл потому, что, сев в поезд, захотел раз в жизни быть во всём и до конца самим собой, и, значит, эта книга могла бы заинтересовать тебя лишь в том случае, если бы её сюжет настолько перекликался с обстоятельствами твоей жизни, что ты нашёл бы в ней свои собственные проблемы, но тогда она не только не отвлекла бы тебя, не только не спасла бы от гибели твои планы, твои радужные надежды, наоборот, ускорила бы развязку; в этой книге несомненно говорится — пусть скороговоркой, пусть неточно, пусть поверхностно — о человеке, который попал в беду и хочет спастись, пускается в путь и вдруг обнаруживает, что выбранная им дорога ведёт совсем не туда, куда он думал, словно он заблудился

в пустыне, в джунглях или в лесу, лес сомкнулись позади него, и он не может найти тропинку, по которой шёл, потому что лианы и ветви скрыли следы его пути, примятая трава распрямилась, а ветер стёр отпечатки его ног на песке.

Ты смотришь на обложку книги, потом на свои руки и на манжеты рубашки, которую надел сегодня утром, — они уже загрязнились, а надеть свежую ты сможешь не раньше, чем приедешь в Рим, не раньше, чем кончится эта ночь, этот путь, когда ты будешь разбит усталостью, не раньше завтрашнего утра, а оно будет совсем не таким, как ты предполагал, ну да, сколько бы ты ни повторял себе: «Всё позади, решительный шаг сделан», хоть он и сделан, но не в том смысле, как ты предполагал, когда садился в поезд, — шаг сделан в другом направлении: к отказу от первоначального плана, который казался тебе таким простым и безусловным, к отказу от лучезарного будущего, навстречу которому тебя мчал этот поезд, к отказу от жизни в Париже, полной любви и счастья вдвоём с Сесиль; ты должен спокойно и хладнокровно гнать опасные мысли из этого купе, куда только что вернулся Пьер, — он сел возле Аньес, украдкой коснулся губами её лба, поглядел вокруг, а она опустила веки, ей хочется спать (но свет погасят не скоро), потом он открыл итальянский разговорник и начал читать, и она тоже, беззвучно шевеля губами, а синий путеводитель легонько подпрыгивает на сиденье, а старик Захария вынул из жилетного кармана своего чёрного костюма большие серебряные часы, открыл крышку, приложил к уху (непонятно, как он может расслышать их тиканье в шуме колёс, в грохоте поезда), потом посмотрел на циферблат (тебе видно, что часы показывают половину десятого), закрыл их, снова спрятал в карман, а двое рабочих-итальянцев машут руками своему приятелю, который прошёл по коридору и, выгибаясь всем телом и подмигивая, поманил их, они встают, кладут на свои места рюкзаки, пробираясь мимо тебя, бормочут «scusi, scusi», а едва оказавшись за дверью,

начинают шумно болтать, идут по коридору и исчезают в соседнем купе.

Старуха-итальянка рядом с тобой сидит в прежней позе, скрестив руки на животе, только губы слегка шевелятся, точно она бормочет про себя молитву, охраняющую от опасностей, которые подстерегают путника, а её стёртые черты временами вдруг заостряются, словно она произносит заклятья против демонов, притаившихся на перекрёстках дорог, при этом зрачки вдруг расширяются от ужаса и сознания обречённости, но потом она успокаивается, прикрывает веки, и губы шевелятся так незаметно, что может показаться, будто это от покачивания вагона дергается челюсть и чуть вздрагивают складки дряблой кожи.

В лице её мужа, сидящего напротив, тоже что-то ожило; он смотрит на тебя, улыбается в бороду, мысленно рассказывая себе какую-то историю, словно ты ему кого-то напомнил, и вдруг в его старческих глазах вспыхивает жестокий и мстительный огонек, словно он затаил на тебя горькую обиду.

(Мишель Бютор. Изменение, М., 1983)

→ 29 сентября: Бютор, 2

СЕНТЯБРЬ

15

суббота

*Первому заместителю председателя
ЛО Советского фонда культуры Р. С. Милонову*

*от инициативной группы творческого объединения
«Исследователи современного искусства»
<в будущем творческая лаборатория «Поэтическая
функция»>*

КРАТКАЯ ПРОГРАММА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ НА 1987–89 гг.

1. Ежегодная теоретическая конференция «Новые языки в искусстве».

1-я конференция состоялась 2–4 февраля 1987 г. в Ленинграде. Инициаторы: А. Драгомощенко, Б. Останин, В. Козиев. 2-я конференция состоится 1–5 февраля 1988 г. в Москве. Организатор: М. Дзюбенко.

2. Организация Музея экспериментального изобразительного искусства. Инициаторы: ТЭИИ (С. Ковальский и др.), группа Т. Новикова, Клуб искусствоведов при ЛГУ (А. Хлобыстин и др.).

3. Ежеквартальный журнал «Поэтическая функция» (теория и практика новой поэзии). Организатор: Б. Останин.

4. Альманах «Архив современной советской литературы». Организаторы: Вл. Эрль, Д. Волчек, С. Завьялов (Клуб-81).

5. Альманах «Невский архив» (экология культуры, архивные изыскания, история архитектуры Ленинграда). Исполнители: В. Антонов, А. Кобак, М. Талалай.

6. Кооперативное артистическое кафе «Привал комедиантов». Инициаторы: Е. Павлов (финансово-хозяйственная сторона), А. Драгомощенко, Т. Новиков, Э. Горошевский (координация авторских программ).

7. Курсы современной поэтики. Инициаторы: А. Драгомощенко, В. Кривулин (Клуб-81).

8. Разработка проблем теории массовой и новой культур (философия, культурология, социология). Новые процессы в театре и кино. Исполнители: Г. Тульчинский, С. Бернадский, Э. Горошевский.

9. Организация института-музея В. Хлебникова. Организаторы: В. П. Григорьев и др.

От имени инициативной группы: А. Драгомощенко, Б. Останин, Г. Тульчинский.

15 сентября 1987 г.

СЕНТЯБРЬ

16

воскресенье

Andante con moto

За пол-ночь нам пи-ро-вать!
 Всем я со-бу-ть-ник. Мне са-ма зем-
 -ля кро-вать, сол-ныш-ко - све-ть-ник. В го-ло-
 -ве сплош-ной со-дом. То не жизнь, а жел-тый
 дом. Жел-тый дом, жел-тый дом, жел-тый дом, жел-тый дом!
 Но при-дет дре-мо-та, и до-лой за-бо-та.

СЕНТЯБРЬ

17

понедельник

Цзи Син-цзы тренировал бойцового петуха для чжоуского царя Стянь-вана. Через десять дней царь спросил:

— Готов ли петух к бою?

— Ещё нет. Пока самонадеян, попусту кичится.

Через десять дней царь задал тот же вопрос.

— Пока нет. Бросается на каждую тень, откликается на каждый звук.

Через десять дней царь повторил свой вопрос.

— Пока нет. Взгляд ещё полон ненависти, сила бьёт через край.

Через десять дней царь снова задал тот же вопрос.

— Почти готов. Не встревожится, пусть даже услышит другого петуха. Взгляни на него — будто вырезан из дерева. Палнота его свойств совершенна. На его вызов не посмеет откликнуться ни один петух — повернётся и сбежит.

(Даосская притча)

Журнал «Лабиринт/Эксцентр»
№ 1, 1991 г.

ВЕДОМОСТЬ

Авторский гонорар Д. С. Лихачёву:

Объём текста: 1 строка* 17 коп.

Премия за остроумие 3 руб.

3 руб. 17 коп.

Редактор-составитель «Л/Э» Б. Останин (подпись)
Д. Лихачёв (подпись)

18 сентября 1991 г.

The Buddhist Saint is supposed, in a moment of mystic illumination, suddenly to perceive the whole construction, with its gross and mystic worlds, as vividly as if it were a direct sense perception. As a psychological process it is equally taught in

* Дуракаваляние — это и есть настоящая культурная жизнь.

Hinayana and in Mahayana, but its content, the picture which reveals itself at this moment, is quite different in both systems. It corresponds to their theoretical parts, to the system of pluralism which is taught in Hinayana, and to the monist view which is the central conception of Mahayana, as will be seen later on. For, although a sudden illumination, it does not come without preparation. The future Saint has gone through a long course of moral training and he has carefully studied all the details of that philosophic construction, when in the moment of sudden illumination, what he had before tried to understand only theoretically, comes up before him with the vivacity of living reality. Beginning with this moment he is a Saint, all his habits of thought are changed. He directly views the universe as an infinite continuity of single moments in gradual evolution towards Final Extinction. In Mahayana the Bodhisattva sees directly, or feels inwardly, quite another picture, corresponding to the theoretical teaching of that religion. The Path towards Salvation is therefore divided in a preliminary path of accumulating merit, in a subsequent course of training and in the path of illumination. The latter is momentary.

(Фёдор Щербатской.

The Conception of Buddhist Nirvana, 1927)

ЗАВЕЩАНИЕ

д. Должицы, Плюсского района, Псковской области,
двадцатого сентября одна тысяча девятьсот восемьдесят
четвёртого года.

Я, Степанова Анна Николаевна, проживающая в Ленинградской области Лужского района, посёлок Низовская, ул. Лесная, дом 38а, настоящим завещанием на случай моей смерти делаю следующее распоряжение:

1. Принадлежащий мне на правах личной собственности жилой дом, находящийся в д. Быково Должицкого сельского

Совета, Плюсского района, Псковской области, я завещаю своему племяннику ОСТАНИНУ БОРИСУ ВЛАДИМИРОВИЧУ.

2. Своих сыновей Степанова Виктора Александровича и Степанова Александра Александровича наследства лишаю.

3. Содержание ст. 535 Гражданского кодекса РСФСР мне разъяснено.

4. Настоящее завещание составлено и подписано в двух экземплярах, из которых первый остаётся в делах Должицкого сельского Совета, а второй выдаётся на руки завещателю Степановой Анне Николаевне.

Подпись.

Чиж чижу из клетки:

— Хорошо ль на ветке?

— То же, что и в клетке,

Только прутья редки.

(Олег Григорьев)

СЕНТЯБРЬ

21

пятница

Василий Кондратьев: до востребования

Сегодня, в лице Василия Кондратьева, а точнее в лицо, обращённой вовне и к нам стороне того поэтического усилия, которое отныне будет стоять для нас под знаком этого имени, мы чувствуем младшую (как сказал бы Тынянов) или мино(рита)рную (как выразился бы Делёз) линию литературы. Чествуем, а не канонизируем, ибо имеем дело с достоинством стиля и честью имени в их становлении, а не с обязательными святыми катакомбной церкви; с присутствием слова, а не его соборованием.

В иные исторические эпохи, в силу производимого ими тектонического сдвига, именно младшая линия, или ветвь, подобно дичку косо- или иноязычия прививаемая к телу

СЕНТЯБРЬ

22

суббота

материнского, материкового языка, становится единственно возможным побегом, чья тяга к невозможному перекраивает нанесённое на карту вчера. «Вчера» — это господствующая «геоцентрическая» модель литературного «сегодня», в центре которой привычно располагаются «властители дум» с их великими повествованиями, ориентированными на коллективный, то есть разделяемый большинством, культурный опыт. Такова разрешающая способность современного (читай: журналистского) критического инструментария, чья оптика склоняется лишь к общедоступному, иными словами, вышедшему в тираж. У этого тиража существует стабильная «референтная группа», обеспечивающая якобы историческую преемственность и требующая продолжения в том же русле, как если бы не произошло ровным счетом никакой катастрофы, никакого разрыва, как если бы нас не жёг стыд за выдачу искусства сначала «массам», а потом массмедиа. Но если по-испански *carta*, как не преминул бы заметить Борис Останин, означает «письмо», то что означает «Бутылка писем», запечатанная под обложкой книги Василия Кондратьева «Прогулки», раскладывающей пасьянс малопривычных эпонимов и маршрутов, как не хартию (*charta*) самоопределения писателя, вдруг обнаружившего себя хуже чем в меньшинстве?

Отталкиваясь от Пруста, утверждавшего, что все значительные книги написаны как бы на иностранном языке, я рискну добавить, что ради иностранности мы собственно и читаем. То есть ради странности, возведённой в систему и тем самым так смещающей идиому, что это смещение позволяет нам прикоснуться к иному, уникальному опыту: опыту *иного*. Не случайно русские формалисты назвали такую текстуальную стратегию «остранением». В случае Кондратьева «остранение» обретается как ментальное странствие. Поэтика стихотворения в прозе, вообще малой фор-

мы с её установкой у сюрреалистов на поэтическое высказывание, переносится им на более крупные формы, такие как рассказ и повесть. Последние существуют на стыке многих жанров, совмещая в себе эссе, биографический очерк, дневник, частное послание. Поэтическая функция деформирует этот прозаический материал, дробит его на самостоятельные фрагменты. Эти фрагменты так же относятся к традиционно понимаемому целому, как прогулки (отметим множественное число) к путешествию.

На мысленной диаграмме, начертить какую-то предлагаемую картография «Прогулок», линия побега, линия «романтиков» и «проклятых», с необитаемого заброшенного на некий умозрительный Васильевский остров, совпадает с линией сопротивления канонизированным, популярным формам, на которых уже оттиснуто клеймо рыночной стоимости. Откликаясь на отправленное нам приглашение к страсти, мы встречаемся с изысканным интернациональным составом, по этой линии прописанным: Одоевским и Рене Домалем, Юркуном и Полом Боулзом, Андреем Николевым и Эдуардом Родити. В других текстах возникнут другие, но опять же из тех, что не на слуху. Подчас их речи не без щегольства вынесены в эпиграф, однако никогда не производят впечатление вымышленных. Автор расписывается в чём-то, что явно противоположно ходовому товару и что ему дорого как ещё не ставший в витрине штампованной брошью перл. Между тем явственно ощутимый в этой прозе стилистический излом обязан своим происхождением не только англо-французскому подстрочнику, заставляющему русскую речь звучать на старомодный аристократический лад, но в первую голову — историческому слову двадцатых, свидетельством которому романы Вагинова, Николева, Ильязда. В пике распространённым представлениям о литературном наследовании всякий подлинно оригинальный писатель, вызволяя из толщи забвения своих

предшественников, ставит тем самым на карту будущее канона.

Такая ставка не кажется мне чрезмерной. Василий Кондратьев уже становился, когда того требовала известная скромность, Семёном Самариным, Василием Островым, сэром Максом Бирбомом и месье Марселем Лекомтом. Подозреваю, на поприще становления его ещё ждёт немало метаморфоз. Одну такую он предсказал себе с проницательностью ясновидца и озаглавил «Миссионер». Эта миниатюра, из числа моих любимых, настолько мала, что почти неловко прибегать к цитированию. Меня извиняют разве что неизбежная скороговорка, свойственная тому речевому жанру, культ которого я здесь отправляю: «Предоставленный самому себе, он сперва охорашивается (в стремлении как-то очертить и себя и пустыню, то отпугнуть, а не то соблазнить её): подкраситься во весь цвет, подстричь, что не растёт, итак, украсить себя всем, что нельзя съесть — потом он принимается, как муравьиный лев, рыть в песке. Вряд ли он сможет остановиться теперь посередине зыбучей воронки: вся его работа в изобретении, преодолении (что доставляет ему жизнь), любое движение — боль: это роскошное ощущение как бы открывает, раздвигает ему пространство, в экспансии захватывая всё новые территории и дальше сдвигая линию горизонта. В этом танце всё его тело боль, он гудит, как большой шмель, и не то слепнет, собирая все в свой сплошной и «всем ветрам» взгляд, то ли сгорает: его вопли не слышно, но чёрный дымок виден за холмами издалека. Автобусы, проезжающие в близне края, знают много таких курительных гребней пустоши. Когда мимо попадает такой зловонный колодец, шофёр, потом кондуктор спешиваются и садятся поближе, пьют чай и курят чилим, пережидая длинную ночь; иногда при луне они поют. Что это было, никто не помнит: на привале среди песков, тянувшихся вокруг бесконечно, поэты каждый раз сочиняют новое».

Эта нечеловеческая, сокрушительная скоропись, с какой явлены нам сцена письма и её последствия, в свою очередь выявляющие миссионерский, мученический и в то же время нигилистический (в этимологическом смысле) пафос пишущего, понуждает сказать меня ещё несколько слов. Искусство предаёт свою миссию, когда перестаёт рыть ходы в пустыне своего языка, пусть даже эти ходы грозят обернуться ему надгробием. Данный фрагмент заключает в себе такое надгробие — это «курительный гребень пустоши», выброс, внешнее того поэтического усилия, что, всё глубже зарываясь в песок, сталкивается — и сталкивает нас — лоб в лоб с великим платоническим мифом, обращает его против себя и, наконец, переворачивает, констатируя с великолепной бравадой, если не беспечностью: поэты каждый раз сочиняют новое. Всё двусмысленность в этой фразе, говорящей кроме всего прочего ещё и о том, что автор переместился в бесконечно удалённую, бесконечно посмертную точку зрения на себя самого и свою работу. Привилегия не из легких.

Что же до двух вышеупомянутых «столпов», двух «столбовых» языков описания — филологического и философского, русского и французского, — то, замечу в скобках, соединение их в одном концептуальном пространстве представляется мне не только безусловно уместным, но и продуктивным для понимания ситуации современного писателя в целом. Оно позволяет избавиться от расхожей модели литературного процесса, а заодно и от насаждаемого ею комплекса не востребованности, не впадая при этом ни в ересь ниспровергательства, ни в неслыханную простоту комформизма.

(Александр Скидан.

*Речь, прочитанная при вручении Василию Кондратьеву
премии Андрея Белого за 1998 год)*

СЕНТЯБРЬ

23

воскресенье

Вы имена имена
птиц имения
майно золотое дарит звук
имя на имя на
метку себе на
сетку себе
место себе
место себе на на
имя на

Ты имя имя им'я
ты им я им я ты
остров остров текучий
материк текучий
текучий текучий
майдан
занимай займай
на займи возьми

Бери на занимай имей
имей на
этих имей птиц сквозных
на на
этих сетей сквозных
на на
лови лови
май май

Этот поём поём золотой
поймок золотой
пойма себя
ловит пойма воды себя
хочет поить поить
пить пить
хочет матися
быть быть

Это звук объём звенит
звук объём роится
жужжит
мати мати
мается мается
кружит кружит

Это мета мета
летит метит за через
мотылёк метелик
играет метит
целит за через
мечет мечет
целитель
целитель
мечется мечется
целит ся

Вот вот
видишь схватить
летает летает навколо
ось ось
видишь охватить поймать
вот вот
на в коло поймать
ось ось
схватить поймать
понимать

Вот вот
видишь входить
видишь войти
нити нити
видишь видишь входить
видишь войти
в ити

(Виктор Летцев. Имена, отрывок)

Медведь

СЕНТЯБРЬ

24

понедельник

Теперь и собака была под стать медведю, и человек. Зверей стало двое, считая Старого Бена — медведя, и людей двое, считая Буна Хоггенбека, в чьих жилах тоже текла струя индейской крови — но не крови вождей, как у Сэма, — и только Сэм Фазерс, Старый Бен и смешанной породы пёс по кличке Лев были без изъяна и порока.

Мальчику было шестнадцать. Седьмой год ездил он на взрослую охоту. Седьмой год внимал беседе, лучше которой нет. О лесах велась она, глухих, обширных, что древней и значимее купчих крепостей, белым ли плантатором подписанных, по недомыслию своему полагававшим, будто получает какую-то часть леса во владение, индейцем ли, немилосердно кривившим душой — продававшим ему это мнимое право владения (равняться ли с вековыми лесами значимостью майору де Спейну и клочку, что он купил у Сатпена, меряться ли с лесами древностью старому Томасу Сатпену или даже старому Иккемотуббе, вождю племени чикесо, что продал тот клочок Сатпену, хоть знали все трое: леса товаром быть не могут). О людях велась эта беседа, не о белой, чёрной или красной коже, а о людях, охотниках с их мужеством и терпением, с волей выстоять и умением выжить, о собаках, медведях, оленях, призванных лесом, чётко расставленных им и в нём по местам для извечного и упорного состязания, чьи извечные, нерушимые правила не милуют и не жалеют, — вызванных лесом на лучшее из игрищ, на жизнь, не сравнимую ни с какой другой, на беседу и подавно ни с чем не сравнимую: негромко и веско звучат голоса, точно и неспешно подытоживая, вспоминая среди трофейных шкур и рогов и зачехлённых ружей в кабинетах городских домов или в конторах плантаций, или — слаще всего — тут же, в охотничьем лагере, где висит неосвежёванная, тёплая ещё туша, а добывшие зверя охотники расселись у горящих в камине поленьев, а нет камина и домишка, так

у брезентовой палатки, вокруг дымно пылающего костра. И бутылка тут же непременно, так что ему казалось: все те прекрасные и яркие мгновения мужества, ума, быстроты и сметки сгущены, превращены в буроватый напиток, предназначенный не для женщин, не для детей и подростков, а единственно для причащения охотников не кровью, ими пролитой, а неким конденсатом дикого и бессмертного духа, и пьют его скупно, даже смиренно — не в низменной и тщетной надежде язычника, что питье даст сноровку, силу и проворство, а в честь этих высоких качеств. С виски, естественно, и началось, иначе и быть не могло — так казалось ему в это декабрьское утро.

Впоследствии он понял, что началось гораздо раньше. Началось уже в тот день, когда возраст его впервые написан в два знака и двоюродный брат его Маккаслин в первый раз привёз его в лагерь, в лесную глушь, чтобы он в свой черёд выслужил у леса сан и звание охотника, если достанет на то смирения и стойкости. Он ещё в глаза не видел, а уже принял, как принимают наследство, огромного старого медведя с искалеченной капканом ступнёй и с собственным личным, как у человека, именем, славным на десятки миль вокруг; длинна была повесть о взломанных и очищенных закромах, об утащенных в лес и пожранных поросятах, свиньях, телятах, о раскиданных западнях и ловушках, об изувеченных насмерть собаках, о дробовых зарядах и даже пулях, всажённых чуть ли не в упор и возымевших действие не более, чем горошинки, пущенные из трубочки мальшом; и, пролагая эту трассу разрушения и разора, берущую начало задолго до рождения мальчика, нёсся напролом — вернее, с безжалостной неотвратимостью локомотива надвигался — косматый исполин. Он давно ему мерещился. Ещё ни разу не был мальчик в той не тронутой топором глухомани, где оставляла двупалый след медвежья лапа, а медведь уже маячил, нависал над ним во снах, косматый, громадный, багряноглазый, не злобный — просто

непомерный: слишком велик был он для собак, которыми его пытались травить, для лошадей, на которых его догоняли, для охотников и посылаемых ими пуль, слишком велик для самой местности, его в себе заключавшей. Мальчику словно виделось уже то, что ни чувством, ни разумом он ещё не мог постигнуть: обречённая гибели глушь — с краешков обгрызают её, непрестанно обкрамсывают плугами и топорами люди, страшась её потому, что она глушь, дичь, — людишки бесчисленные и безымянные даже друг для друга в лесном краю, где заслужил себе имя старый медведь, не простым смертным зверем рыщущий по лесу, а неодолимым, неукротимым анахронизмом из былых и мёртвых времён, символом, сгустком, апофеозом старой дикой жизни, вокруг которой кишат, в бешеном отвращенье и страхе машут топориками люди — пигмеи у подошв дремлющего слона; неукротимым и как перст одиноким виделся старый медведь, вдовцом бездетным и неподвластным смерти, старцем Приамом, потерявшим царицу и пержившим всех своих сыновей.

Когда мал ещё был для охоты мальчик и ждать оставалось три года, потом два, потом год, каждый ноябрь проводил он, бывало, взглядом фургон, увозивший в Большую Низину, в большой лес собак, одеяла, припасы, ружья, увозивший брата его Маккаслина, и Теннина Джима, и Сэма Фазерса тоже, пока Сэм не переселился в лагерь навсегда. Ему казалось, что они едут не добывать оленей и медведей, не на охоту, а на ежегодное свидание со старым медведем, убить которого и не рассчитывают. Двумя неделями позже они возвращались без трофея, без шкуры. Он и не ожидал трофея. Не опасался, что на сей раз в фургоне среди прочих голов и шкур окажется и эта. Не говорил себе даже, что, вот пройдут три года, два, год, и он тоже поедет и, может, именно его ружье будет метче других. Он сознавал, что, только пройдя лесной искус и доказав, что достоин стать охотником, будет он допущен до беспалого следа, и даже тогда

в течение двух ноябрьских недель он — подобно брату, майору де Спейну, генералу Компсону, Уолтеру Юэллу, Буну, подобно собакам, не смеющим взять медведя, подобно дробовикам и винтовкам, бессильным даже кровь ему пустить, — будет всего лишь рядовым участником ежегодного ритуального празднества в честь бессмертного и яростного старого медведя.

<...>

...лето, и осень, и снег, и влажная, набухшая соками весна в их предначертанном чередовании, незапамятные и вечно живые фазы бытия леса — леса, который сделал, или почти уже сделал, его человеком; лес вспоил и вскормил старого Сэма Фазерса, потомка негров-рабов и индейских вождей, духовного отца мальчика, кого он чтит, и слушался, и любил, кого лишился и по ком скорбел; придёт пора, он женится, и они с женой в свой краткий черед познают короткое и призрачное счастье (и назвать ли его счастьем, раз оно по природе своей так неживуче), и память о нём унесут, быть может, и туда, где плоть уже не внемлет плоти, ведь память-то живуча, — но всё же лес будет ему единственной женой и любовницей.

Он шёл, не приближаясь к камедному дереву, а, напротив, удаляясь от него. Не таким уж давним было время, когда ему не разрешили бы бродить здесь одному; став чуть постарше и начав понимать, что ничего почти не знает, он и сам не решился бы зайти сюда один; а ещё повзрослев и смутно определив уже пределы своего неведения, он решился бы уже пройти и прошёл бы здесь с компасом, не заблудившись, не потому, что так уж возросла его вера в себя, а потому, что Маккаслин, майор де Спейн, Уолтер и Компсон приучили его наконец доверять компасу, куда бы ни указывала стрелка. Теперь же он шёл не по компасу, а лишь подсознательно сверяясь с солнцем, и, однако, мог бы в любой момент указать на карте место, где находился, с точностью до сорока шагов; и действительно, почти

там, где и ожидал, он увидел один из четырёх бетонных столбов, установленных землемерами компании по углам участка, которого майор де Спейн не захотел продать; поднявшись по пологому склону, он вскоре уже стоял на вершине холма, и отсюда были видны все четыре столба, сохранившие свою белесую окраску и под зимним снегом и дождем, безжизненные, поразительно чуждые здесь, где даже распад был кипящей, брызжущей, вспухающей суматохой зачатий и рождений, а смерти попросту не существовало. Засыпанные листвой двух осеней, размытые водами двух вёсен, могилы были уже неразличимы. Но тот, кто не сбился с дороги, не нуждался и в надгробных камнях, он ориентировался по приметам, по деревьям вокруг, как учил Сэм Фазерс, — и, копнув охотничьим ножом, чтобы удостовериться, он сразу же наткнулся на круглую жестянку из-под колесной мази, где лежала высохшая увечная лапа Старого Бена, захороненная над костями Льва.

Он сейчас же засыпал её снова. И не стал искать вторую могилу, куда они с Маккаслином, майором де Спейном и Буном в воскресное утро два года назад опустили Сэма, положив ему охотничий рог его, нож и трубку, — искать было незачем. Она рядом, возможно, он топчет её. Но это не важно. «Сэм, наверно, всё утро знает, что я здесь в лесу», — подумал он, подходя к дереву, на котором они с Буном укрепили погребальный помост, где Сэм лежал до прихода Маккаслина и майора де Спейна; вот и вторая жестянка, прибитая к стволу, ржавая, потускневшая, не оскорбляющая уже глаз, как те столбы, тоже чуждая, но прижившаяся к лесу — и давным-давно пустая, ни еды, ни табака, что он тогда оставил; он вынул из кармана плитку табаку, цветной новый платок, пакетик любимых леденцов Сэма — но и этого всего не станет, он и отойти не успеет, как оно исчезнет — нет, преобразится, воспринятое несметной жизнью, что испещрила колдовскими тропка-

ми тёмную почву этих скрытых от солнца мест, жизнью, что притаилась, дышит, смотрит из-за каждой ветки и листа, как он поворачивается, шагает прочь с холма.

(Уильям Фолкнер. Медведь, М., 1973, отрывки)

Если принять, что сегодня, как и некогда, путешествие означает для человека в конце концов выход — то чем хуже или ничтожнее его побуждения, тем больше какой-то страсти и своеобразного упоения, чисто физических. Ведь и воспетый акт в общем неэстетичен. То и другое сближают плачевные результаты. Поэтому жалкая, вполне постыдная цель поездки в лучшие-то времена неповоротливого Луки не стоила своего рассказа, да и такого утомительного пути, на исходе терпения нашего друга у тускло мелькающего окна всё глубже забываясь в спёртом полусне напоминающего камеру купе поезда. Этот поезд шёл уже бесконечно, то ли и правда по полю без края — то ли согласно административной инструкции железная дорога петляла, уклоняясь в некие разведки что из космоса различные символические фигуры — чтобы страна таким образом расступалась перед заключённым пассажиром в истом смысле своего имперского расстояния, скрадывающего и дни и ночи и само время. Точнее сказать, ночь выглядела из окна купе всего лишь как очередная область, даже район, в следовании однообразной равнины развалин и деловых построек — и только названия станций давали заметить вроде бы естественное в поезде (да и заложенное в самом пейзаже) продвижение вперёд. Они сменяли друг друга сперва забавно или исторически, как в учебнике — но постепенно удаляясь от знакомого смысла, всё более варварские шипящие и гортанные, слова, а скорее шорохи чужого враждебного языка, придающие своей русской азбуке загадочность каббалистиче-

ских знаков. Почти незаметно и уже примелькавшиеся местные лица, вторгающиеся в духоту и толчею вагона с газетами и кислым пивом, приземились и грубели, их возгласы становились всё громче и непонятнее, а глаза сужались или оплывали с тошнотной поволокой. У Луки роман подошёл к концу. Поначалу он тупо лежал, задыхаясь на своей полке, пересчитывая былые пасьянсы и поминная тюрьму «Кресты», где подруги передают в таких случаях узникам тёплые носки, пропитанные настойкой опиума. Ночью стал выходить в тамбур, глотать в разбитые стекла холод Луны.

Размышления о всеобщей схожести и, так сказать, симпатии элементов, и, в частности, о том, что, например, строение петербургских «Крестов» в точности повторяет планировку аналогичного заведения «Санте» в Париже и т.д., заставили его счесть, что если поезд и не пошёл по круговой, то окружающие виды, запустение и тоска, всё равно повторяются настолько упрямо, как будто продиктованы робкой надеждой. Для Луки же, который ни в чём, ни в каких вещах не чаял, это была бездумная истома, внезапные двигательные спазмы, усиливающиеся по ночам, иначе бессмысленным. Бессонница одолевала и в сумерки, приливая к Луке как беспокойство, ощущение следующего этапа пути по расписанию, которое наползало незримым пунктиром в воображении и жгло под кожей как татуировка. Едва тусклый во мраке туман за окном, и редкие светляки фонарей, зажигающие здесь и там яркие купины домов или сцен, от этой иллюминации выглядевших как аллегии, разыгрывали в поле перед Лукой ночные коляды, загадочные шествия ритуальных личин, минутные, мигающие, проносящиеся мимо. Он снова перечитывал парижский адрес на конверте и клал обратно в свой нагрудный карман письмо от старого поэта, как будто ещё раз обращаясь к мэтру. Это был заграничный, далёкий, но очень реальный адрес; и поэт, кото-

рого Лука никогда не видел, поэтому был для него живым ощущением того смысла, — скрытого, позабытого в безысходной физиологии окружающих за окном идей, — который всё же существует, создавая мир воображаемый, быть может, однако порядочный — мир, связанный с ним, Лукой, и чудом достигающий его как бы из небытия. (Лука не знал, что Эдуард Родити, о котором он думает, умер в Париже, в мае, за несколько месяцев до происходящего. Поэт, родившийся и живший как странник, теперь обращается к нашему другу в его неведении — не давая ответов, а только слепые помыслы, пока что не раскрывающие живой боли и всей бесконечности предстоящей дороги. Можно сказать, что тревога и приступы, одолеваяющие Луку, сродни спиритической связи: в любом случае это — правда, которую нельзя не чувствовать подсознательно. То, что он видит из своего окна — картина будущего, поэтому такая нелепая.) Поезд замер на очередной станции.

Перед Лукой, соскочившим на перрон, за тусклым маревом лёг уходящий вниз холмами городок под редкими, как будто сторожевыми огнями, напоминающий его бдения...

(Василий Кондратьев. Путешествие Луки // Прогулки, СПб., 1993)

Будто письма пишу, будто это игра,
Вдруг идёт как по маслу работа.
Будто слог — это взлёт голубей со двора,
А слова — это тень их полёта.
Пальцем такт колотят, всё, что видел вчера,
Я в тетрадке свожу воедино.
И поёт, заливаясь кончик пера,
Расщепляется клюв соловьиный.

А на стол, на Парнас мой, сквозь ставни жара
Тянет проволоку из щели.
Растерявшись при виде такого добра,
Столбенеет поэт-пустомеля.
На чернил мишуре так желта и сыра
Светового столба круговина,
Что смолкает до времени кончик пера,
Закрывается клюв соловьиный.

А в долине с утра — тополя, хутора,
Перепёлки, поляны, а выше
Ястреба поворачиваются, как флюгера
Над хребта черепичною крышей.
Все зовут, и пора, вырываюсь — ура!
И вот-вот уж им руки раскину,
И в забросе, забвении кончик пера,
В небрежении клюв соловьиный.

(Паоло Яшвили. Стол — Парнас мой)

Вильгельм Вильгельмович

— Кирилльские буквы вообще глупее германских. Пишут «О», читают «А», даже «Бог» русские не могут выговорить так, как следует, как на бумаге, будто у них к концу каждого слова сил не остаётся, звону только на начало хватает, а потом всё в кашу размазывается: «дупп», «гропп», «грапп» — не разберёшь... А ещё над нашим произношением смеются, «немец-перец-колбаса», как будто можно правило, состоящее из одних исключений, нормальному человеку выучить. Нет у них никаких разумных законов, нет и не было, даже законов грамматики, потому в России и спорят, и ругаются, или, как пять лет назад, бунты устраивают. Хлеба им не дай скушать, дай бунт устроить.

Вильгельм Вильгельмович Шульц родился в Петербурге, дальше Ораниенбаума и Царского Села, где добрую половину населения составляли немцы, не бывал, говорил по-русски без ошибок, даже почти без акцента, но русских букв не любил. Они казались ему неправильными, нечестными, а некоторые — просто уродливыми. К сожалению, ему изредка приходилось иметь с ними дело, когда в газете «Petersburger Zeitung» печатались объявления о репертуаре столичных театров. Кто в русские театры ходил, то есть тот, кто эти объявления в газете читал, не нуждался в немецком переводе. Так что названия всех этих «Дети Ванюшина», «Чайка», «Петербургскія трущобы» редактор оставлял как есть. И тогда мастер Шульц думал: почему «Э» и «Я» вывернуты в другую сторону, «Р» читается не так, как во всех культурных языках, а «Ш» и «Щ» вообще брал в руки брезгливо, как мелких насекомых. Весь остальной текст газеты набирался, разумеется, латиницей. Самым красивым был заголовок, и герр Шульц всегда немного сожалел, что для убершрифта использовалось готовое клише. Он с удовольствием собственноручно складывал бы каждый день готические литеры заново.

Последний месяц спокойная работа в типографии превратилась в настоящий ад. Да и как могло быть иначе, если директор согласился взять заказ на книгу у русских. Уже взглянув на клиентов, можно было понять, что связываться с ними не стоит. Вильгельм Шульц видел этих странных людей: усатый господин и шуплая дама — жена, кажется, хотя и больно невзрачна она для жены такого солидного барина, но не его это дело. Вот только с какой стати этим сумасшедшим писателям понадобилось обращаться к услугам немецких наборщиков!

Прекрасно должны были понимать, что ошибок и опечаток не избежать, да и цены у них недешёвые. Поговаривают, что все русские типографии отказались из-за возмути-

тельного содержания книжки. Вильгельм Вильгельмович, разумеется, в смысл их стихов и рассказов не вникал, потому что любой русский текст ему казался бессмысленным, и всё сделал в срок, как велел хозяин. Но тут заказчики оголошали новым условием: они отказались смотреть образцы бумаги, заявив, что печатать книгу нужно будет... на обоях. Договор уже был подписан, директор твёрдо сказал возмущившимся было арбайтерам, что никогда их типография ни одного условия не нарушала. На обоях так на обоях.

Вильгельм Вильгельмович, бледный от ярости, сам стоял рядом со станком, когда в него заложили первую партию обойной бумаги. Краска с дешёвых обоев осыпалась, машина быстро засорилась и вообще чуть было не сломалась. Метранпаж остановил работу, и таких ругательств не слышала немецкая типография за все двести лет своего существования!

Один печатный станок всё-таки был испорчен, теперь требовалось его разбирать и чистить. Жалкая брошюрка обошлась в такую цену, что можно было на эти деньги изготовить какое-нибудь настоящее издание, иллюстрированный Катехизис, например. Русские отказались возмещать убытки, и большая часть тиража оказалась невыкупленной.

И вот теперь наборщик Шульц нёс домой почти весь оставшийся тираж этой злосчастной книги. Книга? Ха, папир на растопку! Полторы сотни экземпляров, завёрнутых в старый номер газеты, почти ничего не весили, фунта три, не больше. А как трудно, медленно и с какой тоскою набирал он русский текст. И, спрашивается, для чего? Впрочем, даже если этот господин — Матюхин, или Матюшин, — забрал бы сам всё безобразие, кто бы это читал, кто бы стал покупать? Директору стыдно было предлагать свою продукцию в лавку, он только махнул рукой, — одни убытки, а Шульц не мог вспомнить даже названия, хотя сам он складывал буквы в какие-то слова.

Вильгельм Шульц вошёл в подъезд дома на Васильевском острове и, поднимаясь по узкой лестнице на пятый этаж, подвёл итог критическим наблюдениям: «И шти их невозможно ни выговорить, ни нюхать, ни кушать». На этом неприятные мысли кончились, потому что он открыл дверь своей квартиры. Если бы не уютный дом, где ждала его Эльза, с готовым всегда ужином, стоящим на столе под ватными стёгаными грелками, если бы не эти самые прекрасные в его жизни вечерние часы, когда они тихо сидели на кухне, каждый за своим занятием, и Вильгельм рассказывал жене всё, что случилось за день, — он наверняка ещё больше переживал бы неприятности последних дней. Хотя, может быть, именно из-за этой фальшь-книжки пришла в его голову замечательная идея, и он смастерил самую лучшую свою поделку — для обретения душевного равновесия и в утешение.

Знакомый столяр из послушного дерева липы сделал заготовку толщиной в полтора дюйма и выточил на токарном станке круг. А остальное любовно и неторопливо сотворили золотые руки мастера Шульца. Всё это время, пока на работе он составлял бессмысленный русский текст, дома наборщик успокаивался, вырезая по окружности немецкие слова готическим шрифтом — точно таким, какой был в заголовке их газеты. «Unser täglich Brod gieb uns heute». В подарок Эльзе готовилась замечательная доска для резки хлеба, точнее, не хлеба даже, но круглых хлебов, какие каждую субботу пекла жена. Домашний хлеб был и экономнее, и вкуснее, он символизировал правильное и праведное жизнеустройство.

Работа была, в сущности, уже закончена, оставалось только сделать последнюю необходимую вещь, закрепив результаты труда. Шульц оглаживал тёплую липу, проверяя на ощупь каждую букву, ища малейшую шероховатость или недоделку. Но всё было сработано тщательно, от души. Тогда

он снял со стены медный таз для варки варенья, поставил его на плиту и положил на дно увесистый светло-жёлтый круг вниз надписью. Потом достал с полки бутылку, куда Эльза сливала со сковородок использованное прованское масло, обвязал горлышко марлей, наклонил его над тазом и стал покрывать деревянную поверхность густой жидкостью, — осторожно, *nach und nach*. Эльза вопросительно, даже с лёгким неодобрением смотрела на мужа, и он терпеливо объяснил ей, что, если дерево вываривать несколько часов в масле, оно станет красивого коричневого цвета — цвета хлеба и приобретёт такую прочность, что не будет бояться воды, не растрескается, даже если им пользоваться ещё сто лет. Эта доска перейдёт по наследству и детям их, и внукам, и, Бог даст, даже правнукам, и грядущие Шульцы каждый раз, совершая молитву перед едою, будут поминать их, своих предков, — Вильгельма и Эльзу. А в тазу нужно затем вскипятить воду с содой, всего-навсего, очень просто, таз легко отмоеся, потому что горячая вода, жир и сода превращаются в мыло; таз опять будет совсем чистым.

Мастер присел на корточки и открыл печную дверцу, — пепел, разумеется, давно остыл. Взял из стоящей рядом корзины угольный брикет, засунул его в печь и принёс из прихожей оставленный между двойными дверями свёрток. Нечего жалеть, ни на что другое не годилась эта дрянь, жалко только, что даром потрачено столько сил и нервов. Вильгельм примостил раскрытую книжку в устье печи аккуратным домиком и поднёс снизу спичку. Последний раз высветились противные кирилльские буквы, и он, наконец, вспомнил название: «Садок судей».

Обои, использованные для обложки футуристического сборника «Садок судей», сняты со стены нашей квартиры во время ремонта; наклеены были на дореволюционную газе-

ту «St.-Petersburger Zeitung». Вильгельм и Эльза — герои повести Елены Гуро «Бедный рыцарь». Елена (Элеонора) Гуро финансировала футуристические издания на пенсию, которую получала после смерти отца, генерал-лейтенанта Георгия Степановича (Генриха Гельмута) Гуро, обрусевшего немца. Наборщик Вильгельм Шульц — потомок сапожника Готлиба Шульца (дуб, гроб, Grab — отсылка не только к ритмам стихов Маяковского, но и указание на литературную генеалогию героя, на повесть Пушкина «Гробовщик»).

Доска для резки хлеба куплена по случаю у художника на развале, что недолго существовал возле памятника Достоевскому. Продавец знал о ней только, что эта вещь из немецкого петербургского дома. Надпись («Хлеб наш насущный даждь нам днесь») сделана по старой орфографии, Brod — не опечатка и не ошибка.

Если кто-то не захочет учитывать эти сведения, а отнесётся к рассказу просто как к шараде и прочтёт зашифрованное в нём слово «бутерброд», отсутствующее в немецком языке, но вошедшее в русский, то тоже будет прав: именно так разговаривают между собою разные культуры.

(Ольга Кушлина. Вильгельм Вильгельмович // НЛО, № 46, 2000)

→ 5 января/2018: Хлеб наш надсущный

Девушка-кондитер

Часто я на фабрику
там швейцар нафабранный
девушка-кондитерша
в вишенках конфеточки
говорю ей здравствуйте
вентилятор крутится
крем скрутился розочкой

в окнах стёкла потные
девушка багровая
от угара сладкого
взбухли трюфеля
ласковый до ёмкости
я жеманно к девушке
брови удивлённые
я рукою собственной
девушка податливо
весь сироп малиновый
на глазурь душистую
видно с удовольствием
тихо чтоб швейцар
мармелад наверное
ну и что ж, пускай себе
люди на конвейере
тесто добросовестно
правильными взмахами
сахар-компонент.
вот начальник к девушке
просто и заботливо
я ему по-дружески
и к ванильной девушке
за литую талию
стон имбирный девичий
за лодыжки сладкие
вот и вся история

*(Поэты группы «Мухомор» //
Часы, № 70, 1987)*

Поезд проезжает Нови-Лигуре. Под стеклом плафона подрагивают лампочки, а по ту сторону прохода ты видишь их колеблющееся отражение, которое, деформируясь, ложится на чёрные склоны, испещренные огоньками окон.

Нет, ты не скажешь всего, не скажешь всего, что хотел сказать, тебе не удалось подготовить всё так тщательно, как ты хотел; наверное, вы назначите какие-то сроки, но только не день, когда ты расстанешься с Анриеттой, как предполагал вначале, и окончательно переберёшься вместе с Сесиль в квартиру, которую ты присмотрел.

Конечно, между вами воцарится прежнее согласие, потому что ты приедешь в Рим ради неё одной и расскажешь, что нашёл для неё в Париже место, о котором она мечтала, но это согласие будет только видимостью, оно будет до ужаса хрупким и ненадёжным, и ты-то сам вопреки всему будешь сознавать, насколько отдалился от неё; отныне тебя всё сильнее начнет точить тревога, ты с опаской будешь спрашивать себя, что ждёт вашу любовь, когда Сесиль приедет к тебе, прельстившись работой, которую ты ей станешь расписывать, не жалея красок, и будет введена в заблуждение, попадётся на удочку твоих заверений и клятв, а ты будешь их повторять со щемлящим чувством счастья оттого, что ты снова с нею в Риме, что эти несколько дней ты совершенно свободен и полностью принадлежишь ей, с тем более страстным чувством, что ты уже будешь понимать, как ненадёжно будущее и какими оно чревато опасностями и разочарованиями.

Кто-нибудь попросит погасить свет. После Чивита-Веккии, проезжая берегом моря, ты уже заранее и сполна почувствуешь бремя дорожной усталости, хотя большая часть дороги впереди, но тебе не удастся заснуть, ты будешь вертеться, тщетно пытаясь сесть поудобнее, вздрагивая и приподнимаясь на каждой остановке и безуспешно отгоняя мрачные видения, которые будут всё чернить и издеваться над тобой.

В Генуе ты выйдешь из осточертевшего тебе купе третьего класса; будет ещё темно, лампа ночника будет по-прежнему отбрасывать синеватый свет на лица муж-

чин и женщин, которые, раскрыв рот, тяжело дышат в тошнотворной духоте.

Когда ты вернёшься в купе, резкий свет холодного дождливого утра вынудит твоих спутников открыть глаза, и пока поезд будет взбираться по склону Альп, ты попытаешься читать, чтобы отвлечься от мыслей о том, как развернутся события, вызванные к жизни необдуманно словами, которые вырвались у тебя в угаре этих римских дней; читать книгу, которую будешь держать в руках, приближаясь к границе, — может быть, это будет всё та же книга, так как ты её не успеешь кончить (вечерами тебе будет не до неё, ведь на этот раз тебе наконец-то придется среди ночи, проклиная судьбу, тащиться в отель «Квиринале»), всё та же книга, которую ты, возможно, даже не откроешь, а может, и другая, которую ты купишь на вокзале Термини, — читать книгу, которую ты захлопнешь перед тем, как начнутся таможенные формальности (в ней будет говориться о человеке, который заблудился в лесу: лес сомкнулся за его спиной, и чтобы решить, куда двинуться дальше, он хочет найти тропинку, которая привела его сюда, но не может найти, потому что его ноги, погружаясь в ворохи опавших листьев, не оставляют следов, и он слышит конский топот, который звучит всё ближе и вдруг исчезает, а потом какой-то протяжный вопль, точно всадник тоже заблудился и зовёт на помощь, неожиданно натывается на решётку, которая преграждает ему путь, и бредёт вдоль неё, всё тяжелее переводя дух и усилием воли стараясь не закрывать глаза, несмотря на хлынувший вдруг частый и шумный дождь, а потом натывается на закутанного в плащ и вооружённого человека, — тот, вынув из кармана фонарь, обшаривает всё вокруг и сквозь мириады капель вдруг видит измученное лицо и поднятые кверху дрожащие руки, замечает упавшую за ограду книгу, открывает её, и дождь льёт на страницы, и они мало-помалу растворяются, разлетаются, а человек в плаще, разразившись хриплым сме-

хом, исчезает в глубине хижины, напоминающей громадный ком земли, и теперь путь свободен); читать книгу, которую ты захлопнешь перед тем, как начнутся таможенные формальности и надо будет после туннеля предъявить чиновникам паспорт, а потом вновь попытаешься её читать, когда поезд начнет спускаться по французскому склону среди долин, зыбких от густых теней, ибо тебе захочется отогнать от себя слишком явственную картину безотрадного существования, какое предстоит тебе отныне, — рабочие часы в твоей парижской конторе, из окна которой ты будешь видеть противоположную сторону улицы Даниель Казанова и там Сесиль, работающую на втором этаже туристического агентства Дюрье, Сесиль, мечтавшую о том, как она приедет в город своих грёз и вы заживёте вместе жизнью, полной пленительного риска, которую она помогла тебе выдумать, но вскоре убедилась, что, наоборот, ты теперь гораздо дальше от неё, чем когда она жила в Риме, и хотя вы иногда проводите вместе ночь, вам больше не о чем говорить, и минутами ты ловишь на себе её взгляд, полный такой ненависти, такого жестокого разочарования, что ей лучше уехать, и ты подготавливаешь всё для её отъезда, настолько горько тебе то и дело замечать бросаемый тебе в лицо упрёк, напоминание о том, каким позором обернулся твой самый решительный шаг к освобождению; читать книгу, в которую ты углубишься, чтобы ни о чём не думать, потому что уже поздно, уже ничего не поправишь; ты возвращаешься в Париж вдоль берега печального озера, ты уже поделился с нею всеми своими планами насчет её переезда, а она в своём неведении так радовалась эти несколько дней, что невозможно было убедить ее от них отказаться, невозможно было объяснить, почему надо это сделать, — она всё поняла бы превратно и постаралась бы укрепить твою решимость, снова упрекая тебя в малодушии, — невозможно было не поддаться её доверию, благодарности, восторженному удивлению.

В Бур ты приедешь в сумерках, в Макон — когда совсем стемнеет, ты будешь перебирать в памяти события минувших дней — дней, которые ещё предстоят, — и радоваться тому, что тебе удалось промолчать о найденной для неё в Париже работе и о квартире, которую предложили тебе на время друзья, промолчать, несмотря на настойчивые расспросы, и уверить её в том, что да, ты усердно искал и даже считал, что тебе подвернулось что-то подходящее, потому-то ты и затеял эту тайную вылазку в Рим, но в последнюю минуту всё рухнуло, что ты, разумеется, будешь искать дальше, у тебя есть на примете одна комната и ты уже почти сговорился, — пусть она порадуетя, пусть заранее насладится предстоящими переменами, которые никогда не состоятся.

А стало быть, тебе не придётся готовиться к схватке с Анриеттой, думать о том, что ей сказать и о чём умолчать, потому что с Анриеттой всё останется по-прежнему, и ты будешь глядеть сквозь тёмные и, наверное, мокрые от дождя стекла, глядеть сквозь окна освещённого коридора на откосы, усыпанные прелой листвой, на ряды голых стволов в лесу Фонтенбло, и сквозь скрежет осей тебе будет чудиться отдаленный топот копыт и насмешливый голос: «Ты слышишь меня?»

И, наконец, во вторник в двадцать один пятьдесят четыре под проливным дождём, в полном мраке, совсем один, измученный путешествием в третьем классе, ты приедешь в Париж на Лионский вокзал и окликнешь такси.

(Мишель Бютор. Изменение)

24 или 25 сент 91

Дорогой Боря!

Позавчерась (вчера?), <Валерий> Молот, читамши твоё письмо — прослезился. Я же — не. Я стал циничный унд суровый.

Прочувствовался я от вашего журнала <«Лабиринт/Экс-центр»>, номер 1-ый не идёт ни в какое сравнение ни с чухонскими «Родниками», ни с «вестниками словесности», ни с «каналами», ни — впрочем, ни с чем. Отчего расчувствовался.

Вышел с 2 недели из запою (выходить не хотел, а вовсе даже тщился заПить себя в треугольный, либо квадратный — словом, супрематический Малевича), по причине расставания с музою, коя... — но об этом в поэме (дай Бог, закончу — третий год мучу), ослабев и переползаючи с койки у телевизора (переворот <августовский путч 1991 года> не заметил: пил) к койке, у которой компьютер, сдал должок Орликову для русского «плейбоя» под названием «Андрей» (вышел пока 1-ый номер, неплох) — под сотню стр. материалов о гиштории отечественного нюдизму и проч. — а тут и твой «лабиринт» подкатил с Николой <Решетняком> и писмом, где Гелька <Донской> жалится, что нету Антологии <«У Голубой лагуны»> (от 19 иу.. с.г.), а 18-м того ж месяца — датирована у меня на его доверенность (на 1-ый том репринта токмо), переданная его гонцу и полномочному, и где взять записку дал, далее — не знаю.

В отношении матерьялов — моего тут вообще не напечатано под 90% — то не то, а это не так, а читатель... Так что задел есть — хоть на критский лабиринт.

Критику, к примеру — с полсотни статей, подборку, слал с Шальтом год с гаком назад, валяется где-то у Прохватилова с Балуевым, концы в воду.

ПОЛНОГО Роальда Мандельштама, набранного и замакетированного мною (с женою) князь (по-кабардински — «пши») Карданов-Шемякин, не издав, похерил: там, кроме его, я пустил иллюстрации ВСЕГО «барака» — от Шварца до Грома (вычетом Гудзенко). Сэр Мишель же всё хочет САМ. Послал с Митьком Шагиным готовый макет, штоп сами там чесались...

СЕНТЯБРЬ

30

воскресенье

Словом... Условие у меня одно: РЕПРИНТ без редактуры. Готовую распечатку шрифтами лазерными (половину сделал сам) — высылаю, а дальше... Клейте и нумеруйте. Буде — когда и где — обнаружится 1 (или даже 2) опечатки — звёздочку и сноску.

Для ближнего номера предлагаю, что посвежее: «Абеляра» (с прикусом Лапицкого) и «Встречи» в 3-х частях. (Часть «Встречи на Васильевском», в распечатке ж — ихнего формата — высылаю и Вуфлянду: посмотрим, что у них там за полимерность! и полихромность, но — серовато... Так что надежд нет.) Но целиком — предлагаю Вам.

Вторые 2 материала касаются Пушкина и Толстого (возможно, приложу ещё брошюру «Язык Солженицына»), их (первых двух) надо бы вместе, или, если много — в 2-х номерах.

Если материал не подходит — чорт лысый вас знает! — немедля по получении и прочтении ИЗВЕСТИ, чтоп знал, что делать дале. НЕМЕДЛЯ.

Комплиментов «Лабиринту» не делаю, вычетом, что впервые — серьёзно.

Молодняк знает гишторию нашу (60-х!) лучше старых пердунов (принявших сан, или просто ошизевших). Сужу по Мих. Трофименкову, Боа Констриктору, Ры Никоновой и Сигею.

Зело недоволен почеркушкой Вуфлянда о Гавриле <Гаврильчике>. Я Марье Синявской-Розановой слал в «Синтаксис» пиесу «Поэт и царь» в наборе и иллюстрациях — тиснула токомо моё предисловие, в форме «письма в редакцию». В третий присыл, возможно, и пришлю и статью, и пьесу.

ПОЛНЫЙ Гаврила набран уже, да Нортон <коллекционер Н. Т. Додж> всё тянет с выставкой, где я выговорил вкладыш-книжицу ПО РУССКИ в американский каталог. На газетной бумаге, вроде улучшенного топоровского варианта в «Смене».

Словом, НЕ взирая на лирический неуклад (всё на 5-тизарядный посматриваю...) и грусть — работается.

С Гумом послал полста стр. материалов по делу Вознесенской и кумпании, про похабные надписи на стенках, о коих они даже не подозревают (а я имею): коллаж из дневников, писем и протчего.

Три года уже пашу моно- «От барака до митьков и дальше в Африку к оберманекенам», своего рода коллаж же 50-х–80-х, да митёк ленивый пошёл, а Африка тусуется среди богатой еврейской пидерасни, и говорить с ним особо не о чем.

Готова монография В. Я. Ситникова — под 1000 стр. фот, ме-муаров, писем и комментариев — все в охуении, а печатать — где? Послал сейчас подругу с выдирками в Москву... Жду.

Так и живу. Переезжая с архивами, ебблиотекой и тремя-четырьмя борзыми — ВОСЬМОЙ раз за ДЕСЯТЬ лет по подвалам и дыркам Нью-Йорка.

В промежутках (и между питьём) поспеваю что-то делать.

ИТАК: НАИВАЖНЕЙШЕЕ: ТОКМО БЕЗ РЕДАКТУРЫ И СОКРАЩЕНИЙ, порядок — лучше рекомендуемый, но в зависимости от ваших планов и объёмов.

Статьи ежели какие — разберусь и наведу порядок (выясню и выдеру, что там не растеряли неведомые мне балуевы-прихватилковы), но есть — о многом.

Стихи — покамест только из книжки «Стансы к Лангусте, или Томление о Тямпе», РЕПРИНТОМ же, ибо в них я ручаюсь. Книжка дарена Уфлянду, Арьеву, Глебушке Горбовскому, ещё многим — экземпляр для копии можно найти. У меня все вышли, при тираже 150 экз.

Чего ещё надо — пиши. И НЕ ТЯНИ.

С приветом и почтением к — минимум — 75% авторов «Лабиринта», лично тебе и пиздодую Гельке; заодно и от Молота.

Твой К.К.К. (Срединный инициал сохранить во всех публикациях.)

(Письмо от Константина Кузьминского)

ОКТАБРЬ

ОКТАБРЬ

1

понедельник

Дивлюсь я на небо та й думку гадаю:
Чому я не сокіл, чому не літаю,
Чому мені, Боже, ти крилець не дав? —
Я б землю покинув і в небо злітав.

Далеко за хмари, подалі від світу,
Шукать собі долі, на горі привіту
І ласки у зірок, у сонця просять,
У світі їх яснім все горе втопить.

Кохаюся з лихом, привіту не знаю
І гірко, і марно свій вік коротаю,
І у горі спізнав я, що тільки одна —
Далекеє небо — моя сторона...

(Михайло Петренко)

Очень напоминает:

ОКТАБРЬ

2

вторник

столичный чиновник — тыкву: растёт незаметно и быстро;
нищий ученый — ворона: поёт, когда голоден;
печать — ребёнка: всегда таскаешь с собой;
уездный начальник — тигра: чуть шевельнёт лапой —
убьёт;

монахиня — мышь: вечно прячется;
ласточка — монахиню: в одиночку не летает;
служанка — кошку: где тепло, там приютится.

ОКТАБРЬ

3

среда

Дорогая М. О.,

Тыняновские чтения с самого начала были пучком разнонаправленных исканий — пучком, а не перекрёстком. Повязан этот пучок был личным маргинальным положением большинства участников на обочине официального литературоведения; по современной терминологии, учёные, связанные с русским формализмом, оказались в роли неформалов. <...>

Интересно, как на протяжении жизни одного человека — Яacobсона — направление, участником которого он был, стало из авангардного академическим. Это не осуждение: это значит, что оно стало из искусства наукой, — эксперименты, удававшиеся только талантам, стали методикой, доступной для каждого. Искусством, а не наукой, является, например, критика. <...>

Иногда кажется, что это филологическое искусство рождено эпохой застоя, как формализм эпохой революции: тогда оказывалось, что неуважаемые явления литературы прошлого на самом деле достойны уважения, теперь оказывается, что Мандельштам в такой-то строчке был наследником сразу Пушкина, Данта и графа Комаровского. Может быть, к духу ОПОЯЗА ближе та «наука», которая опирается на современный авангард — за границей открытый, у нас до последнего времени подпольный, — постструктуралистическая, от Ж. Деррида до Б. Останина. Но я уже слишком академически близорук, чтобы проникнуть взглядом сквозь кавычки её эпатажа.

(Из письма М. Гаспарова М. Чудаковой // Пятые Тыняновские чтения, Рига, 1990)

Прогулка

ОКТАБРЬ

4

четверг

Настоящим сообщаю, что одним прекрасным утром, не упомяну уже, в котором точно часу, охваченный внезапным желанием прогуляться, я надел шляпу и, оставив писательскую каморку, полную призраков, слетел вниз по лестнице, чтобы поскорее очутиться на улице. В дополнение к вышесказанному мог бы добавить, что на лестнице я столкнулся

с женщиной, которая выглядела как испанка, перуанка или креолка. Она излучала какое-то увядающее величие. Однако должен строжайшим образом запретить себе даже пару секунд задержаться на описании этой бразильянки или кем бы она ни была — ведь я не в праве бросать на ветер ни пространство, ни время. Насколько вспоминается мне сегодня, когда пишу всё это, тогда я пребывал в авантюрно-романтическом настроении и, выйдя на светлый и весёлый уличный простор, испытал приступ счастья. Утренний свежий мир, открывшийся моим глазам, показался мне столь чудесным, будто я увидел его впервые. На что бы я ни бросил взгляд, всё приятно удивляло приветливостью, добротой и юностью.

Сразу забыл я, как только что угрюмо корпел над пустым листом бумаги наверху в моей комнатёнке. Вмиг растаяли и тоска, и боль, и все тяжёлые мысли, хотя я всё ещё живо слышал и впереди, и за спиной какое-то торжественное гудение. С радостным ожиданием я устремился навстречу всему, что могло встретиться и случиться на прогулке. Шаг мой был ровным и лёгким, и, смею думать, ступая таким образом, я производил впечатление персоны, исполненной достоинства. Я не большой любитель выставлять напоказ окружающим мои чувства, но и стараться с болезненной суетливостью прятать их тоже считаю ошибкой и порядочной глупостью.

<...>

Господин начальник, или таксатор <налоговый инспектор>, сказал:

— Да вас только и видно всегда гуляющим!

— Гулять, — отвечал я, — я должен непременно, чтобы ощущать себя живым и поддерживать связь с живым миром, ибо, потеряв это ощущение, я не смогу написать больше ни единой буквы, не смогу сочинить ни крошечного стихотворения, ни рассказа. Без прогулок я бы просто умер, и дело, которое я страстно люблю, погибло бы. Без прогулок

и сбора впечатлений мне бы не о чем было писать, я бы не смог сочинить даже небольшой очерк, не говоря уже о большой новелле. Без прогулок я был бы лишен возможности наблюдать и проводить мои исследования. Такой разумный и смысленный человек, как вы, сразу это понимает. Во время моих чудесных беспутных прогулок мне приходят в голову тысячи дельных мыслей. А дома, взаперти, я бы жалким образом засох и зачах. Гулять не только полезно для моего здоровья и приятно, но важно и необходимо для дела. Прогулка является моей работой и в то же время приносит удовольствие и радость, освежает, утешает, бодрит, доставляет наслаждение, при этом у неё есть свойство подстёгивать, побуждать к писанию, одаривая меня огромным количеством больших и малых вещей и событий, материалом, который я потом дома обрабатываю старательно и дотошно. Любая прогулка просто битком набита значительными явлениями, достойными, чтобы их увидеть и прочувствовать. Даже на самой маленькой чудесной прогулке тебя обступают образы и ожившие стихи, волшебство и чудеса природы. <...> Без прогулок и связанного с ними созерцания природы, без этого сколь отрадного, столь и предостерегающего сбора ощущений я чувствую себя погибшим и действительно погибаю. С высочайшим вниманием и любовью гуляющий должен наблюдать и изучать всякое, пусть самое маленькое, живое существо, будь то ребёнок, собака, комар, мотылёк, воробей, червяк, цветок, человек, дом, дерево, изгородь, улитка, мышь, облако, гора, лист, даже если это всего лишь жалкий скомканный клочок писчей бумаги, на котором, быть может, какой-нибудь славный школьник вывел свои первые неуклюжие буквы. <...> Известно ли вам, что у меня в голове идёт упорная и напряжённая работа и я занимаюсь важным делом именно в тот момент, когда со стороны может показаться, что я бездумно и беспечно витаю в облаках или брожу по зелёным просторам, потерянный, нерадивый, мечтательный и вялый, производя малоприятное впечатление.

чатление отъявленного лодыря, потерявшего какое-либо чувство ответственности. Гуляющего преследуют тайком по пятам самые разные прекрасные и причудливые идеи, которые могут прийти только на прогулке, да так, что он останавливается как вкопанный, прервав своё прилежное внимательное хождение, и прислушивается к себе: его, всецело охваченного странными впечатлениями и околдованного фантазиями, внезапно пронизывает ощущение, будто он проваливается, земля уходит из-под ног и перед ослеплёнными и растерянными глазами мыслителя и поэта разверзается бездна. Голова перестаёт служить, руки и ноги, обычно столь живые, немеют. Местность и люди, звуки и краски, лица и вещи, облака и солнечные лучи — всё начинает вертеться вокруг него, подобно хороводу призраков, и он спрашивает себя: «Где я?» Земля и небо расплываются и сливаются в зыбкий, мерцающий, туманный мираж. Порядок вещей упраздняется, возникает хаос.

(Роберт Вальзер. Прогулка, М., 2014, отрывок)

В т о р о й. Если в толпе, привлечённой на улице какой-нибудь катастрофой, каждый на свой лад начнёт внезапно проявлять свою природную чувствительность, то люди, не сговариваясь, создадут чудесное зрелище, тысячи драгоценных образцов для скульптуры, живописи, музыки, поэзии.

П е р в ы й. Верно. Но выдержит ли это зрелище сравнение с тем, что получится в результате продуманной соразмерности и той гармонии, которую придаст ему художник, перенеся его с уличного перекрёстка на сцену или на полотно? Если вы так полагаете, то в чём же тогда, возражу я, хваленая магия искусства, раз она способна лишь портить то, что грубая природа и случайное сочетание сделали лучше неё? Вы отрицаете, что искусство украшает природу? Разве не приходилось вам, восхищаясь женщиной, говорить, что она прекрасна, как Мадонна Рафаэля? Не восклицали ли вы,

глядя на прекрасный пейзаж, что он романтичен? К тому же вы говорите о чём-то подлинном, а я о подражании; вы говорите о мимолётном явлении природы, я же говорю о произведении искусства, задуманном, последовательном, имеющем своё развитие и длительность. Возьмите любого из этих актёров, заставьте варьировать уличную сцену, как это делают в театре, и покажите мне эти персонажи последовательно, каждого в отдельности, по двое, по трое; представьте их собственным движениям, пусть они сами располагаются своим действием, и увидите, какая получится невероятная разноголосица. Чтобы избежать этого недостатка, вы заставите их репетировать вместе. Прощай, природная чувствительность! И тем лучше.

Спектакль подобен хорошо организованному обществу, где каждый жертвует своими правами для блага всех и всего целого. Кто же лучше определит меру этой жертвы? Энтузиаст? Фанатик? Конечно, нет. В обществе — это будет справедливый человек, на сцене — актёр с холодной головой. Ваша уличная сцена относится к драматической сцене, как орда дикарей к культурному обществу. <...>

А знаете, какова цель столь многочисленных репетиций? Установить равновесие между различными талантами актёров с тем, чтобы из него возникло единство общего действия. А если самолюбие одного из них препятствует такому равновесию, то всегда страдает совершенство целого и ваше удовольствие; ибо редко бывает, чтобы блеск одного актёра вознаграждал вас за посредственность остальных, которую его игра лишь подчёркивает. Мне приходилось видеть великого актёра, наказанного за своё честолюбие: публика по глупости находила его игру утрированной вместо того, чтобы признать слабость его партнера.

<...>

В т о р о й. Душа великого актёра состоит из тонкого вещества, которым наш философ <Эпикур> заполнял пространство, оно ни холодно, ни горячо, ни тяжело, ни легко,

оно не стремится к определённой форме и, воспринимая любую из них, не сохраняет ни одной.

П е р в ы й. Великий актёр это ни фортепиано, ни арфа, ни клавесин, ни скрипка, ни виолончель; у него нет собственного тембра, но он принимает тембр и тон, нужный для его партии, и умеет применяться ко всем партиям. Я высоко ставлю талант великого актёра: такой человек встречается редко; так же редко, а может быть ещё реже, чем большой поэт.

Тот, кто в обществе выставляет себя напоказ и обладает злосчастливым талантом нравиться всем, не представляет собой ничего, не имеет ничего, принадлежащего ему самому, что бы его отличало, что бы увлекало одних и приедалось другим. Он говорит всегда и всегда хорошо; это льстец по профессии, великий царедворец, великий актёр.

В т о р о й. Великий царедворец, привыкший, с тех пор как начал дышать, к роли чудесного паяца, принимает любую форму по воле хозяина, дёргающего его за верёвочку.

П е р в ы й. Великий актёр — тоже чудесный паяц, которого автор дёргает за верёвочку и в каждой строке указывает ему истинную форму, какую тот должен принять.

В т о р о й. Итак, царедворец и актёр, принимающие одну только форму, как бы прекрасна, как интересна она ни была, — лишь жалкие паяцы?

П е р в ы й. В мои планы не входит клеветать на профессию, которую я люблю и уважаю; я говорю о профессии актёра. Я был бы в отчаянии, если бы мои замечания, неверно истолкованные, навлекли тень презрения на людей редкого таланта, людей действительно полезных, бичующих всё смешное и порочное, на красноречивейших проповедников честности и добродетели, на плеть, которой гений наказывает злых и безумных. Но взгляните вокруг, и вы увидите, что у постоянно весёлых людей нет ни крупных достоинств, ни крупных недостатков; что обычно про-

фессиональными лицедеями бывают люди пустые, без твёрдых убеждений, и что те, кто, подобно некоторым лицам, встречающимся в нашем обществе, лишены всякого характера, — превосходно играют любой. Разве у актёра нет отца, матери, жены, детей, братьев, сестёр, знакомых, друзей, любовницы? Если б он был одарён той утончённой чувствительностью, которую считают основным свойством его звания, то, преследуемый подобно нам и постигаемый бесконечными невзгодами, иссушающими, а подчас раздирающими нашу душу, сколько дней он смог бы уделить нашим развлечениям? Очень немного. Тщетно приказывал бы камер-юнкер, актёр нередко имел бы случай ему ответить: «Монсиньор, сегодня я не смогу смеяться», или: «У меня и без забот Агамемнона есть над чем поплакать». Однако не заметно, чтобы жизненные горести столь же обычные для них, как и для нас, но более противоречащие свободному выполнению их обязанностей, прерывали его слишком часто.

В обществе актёры, если они не шуты, вежливы, язвительны, холодны, тщеславны, рассеянны, расточительны, корыстны; наши смешные черты их поражают больше, чем трогают наши несчастья; ум их довольно безразличен к зрелищу неприятных событий или к рассказу о трогательном происшествии; они одиноки, бесприютны, в подчинении у сильных мира; мало нравственных правил, нет друзей, почти ни одной из тех сладостных священных связей, что приобщают нас к невздам и отрадам друга, который разделяет наши. Не раз я видел, как смеётся актёр вне сцены, но не припомню, чтобы видел хоть одного плачущим. Да что же они делают с этой присвоенной ими и приписываемой им чувствительностью? Оставляют её на подмостках, когда уходят, с тем, чтобы, вернувшись туда, снова подхватить её. <...>

Говорят, будто актёры лишены характера, потому что, играя все характеры, они утратили свой собственный, дан-

ный им природой, что они становятся лживыми, подобно тому, как врач, хирург и мясник становятся чёрствыми. Я думаю, что причину приняли за следствие, и что они способны играть любой характер именно потому, что сами все лишены его.

(Дени Дидро. Парадокс об актёре)

Паркетное домино

Взрослые играют обычным набором домино (с точками в двух КВАДРАТАХ кости — от нуля до шести, всего 28 костей), для детей можно сделать специальный набор, с квадратами семи цветов (белый, черный, красный, жёлтый, зелёный, голубой, фиолетовый) или с легко распознаваемыми рисунками (цветы, животные, оружие, гербы и пр.).

Короткую грань кости буду называть ФАСКОЙ, половину длинной — РЕБРОМ. У каждой кости два квадрата, две фаски, четыре ребра. В отличие от обычной игры (цепное домино), где кости соединяются в цепь фасками, в паркетном домино можно присоединять фаску к фаске, фаску к ребру, ребро к фаске и ребро к ребру, благодаря чему кости составляют не цепь, а плоскость, «паркет».

Играют вдвоем или троём. Сдают по четыре камня, остальные оставляют на «базаре». Бросают жребий, кто первый ходит, начинающий может выставить любой камень, кроме дубля. Если ходить игроку нечем (в дальнейшем эта ситуация может повториться), он берёт с «базара» ОДИН камень, если и его не удаётся выставить, ход по часовой стрелке переходит к противнику.

У вновь выставленной кости СОСЕДЯМИ её квадрата буду называть ближайшие к нему (по горизонтали, вертикали и диагонали, включая его самого) уже выставленные квадраты С ТЕМ ЖЕ КОЛИЧЕСТВОМ точек. При каждом ходе игроку записывается столько очков, сколько соседей у его выставленной кости, но НЕ МЕНЕЕ ТРЁХ. Партия заканчивается, когда у одного из игроков не остаётся костей, за что,

помимо записанных очков, он получает премию в 10 очков. Играть до 50 очков или оговоренное количество партий, допустим, 10.

КАРТИНКА

(1990-е)

Разговоры

— Максим, почитай о бароне Мюнхгаузене.

— Нет, я лучше почитаю «Скандинавские сказания», а то барон Митхаузен всё обманывает, неправду говорит. А в сказаниях — одна правда: о богах, о том, как мир возник...

Познакомился в гостях с американкой Прициллой и, засунув палец в рот, удивлённо слушал её. По дороге домой говорит: «Она откуда?» — «Из Америки». — «У них в Америке, наверно, логопедов нет. Поэтому она так плохо говорит».

Болтает без умолку:

— Культура русского хилика! На две буквы! Кто правит нашей страной, знаете? Культура русского хилика. Огонь и золото правят нашей страной. Потому что Москва пожаром спалена.

Ведь Москва — это ленинградский город. Толоков-ский город. Все толкуются: дама, люди...

Увидел на Марсовом поле невесту в прозрачном свадебном наряде, рассказывает возбуждённо:

— Принцесса! в длинном платье, с голой ногой, в трусах и майке!

Считает воробьёв: — Один воробей, другой воробей, третьи два воробья...

Играет в оловянных солдатиков.

— Я у них побеждаю!

— У кого?

— Ни у кого. У меня гражданская война.

— Русская народная сказка «Сказание о Раме»!

— Максим, что важнее: точка или ноль?

— Максим (*подумав*): — Ноль.

— А почему?

— Потому что точка, даже самая маленькая, — что-то есть. А ноль — совсем ничего!

Папа читает из Дао-дэ-цзина: «Кто умеет крепко стоять, того нельзя опрокинуть».

Максим (*тут же*): — Кто умеет крепко лежать, того нельзя поднять!

О маме: — Волнуется... Пусть волнуется. Она — женщина, ей полезно волноваться.

— Гора родилась, чтобы просто горой быть. А мальчишки по ней почему-то на санях ездят.

— Максим, почитай что-нибудь.

— Хорошо. Только я не остроумно буду читать, а про себя.

— Вся семья спит народным сном!

— Мама, мне, в общем-то, всё понятно, но кто научил людей бантики завязывать?

— Такое у меня хотенье пуделя, что аж в животе хотенье!

Играет под одеялом: — Влез и вылез! И вся жизнь.

После музея: — Такое удовольствие получил!

— А что?

— В тапочках по паркету катался!

— Ты, мама, спи. А я буду тихо-тихо орехи колотить.

Воспитательница в детском саду: — Дети, какие бывают жидкости?

Максим и его друг Сашка (наперебой): — Водка, пиво, зубровка, перцовка, вино, старка!..

Папа: — Устал я сегодня.

Максим: — У нас, в Ленинграде, всегда все от чего-нибудь да устает.

О кошке: — У неё такое китайское лицо: белое и глаза маленькие.

Колет орехи: — Что-то не получается. Орехи крепкие. Или молоток тупой.

Максим: — А божья коровка — она действительно божья?

— Ну да.

— Её священники так называли. Божья — значит Богом сделана. А если бы наши называли, то как-нибудь: хлорофита... или ещё как...

— Максим, ты какого зверя больше всего любишь?

— Рысь!

Подумав, добавляет: — И льва, орла, тигра...

— А змею любишь?

— О да! Удава. И дракона очень люблю.

— А кого не любишь?

— Черепаху.

Подумав: — Мышь не люблю и оленя.

— За что же?

— Оленя — за то, что он такой дикий, не охотится ни на кого. А черепаху — за то, что её перекрутить нельзя, панцирь очень крепкий.

(Максим Кузьмин-Пригон, 5 лет.
Воробей на асфальте, 1973–74)

Эриксен Эрик (Сигурд Мьельнир), 1865–1910.

Норвежский поэт, писатель и критик.

Дух сурового благочестия и патриархальности, господствовавший в скромной семье пастора глухого местечка Хаммерталь на севере Норвегии, где родился будущий глава литературной школы Нео-Эддизма, не препятствовал, однако, повышенному интересу к отечественной старине и, в частности, к поэтическим памятникам дохристианского периода.

Восприняв от отца и старшего брата горячую любовь к этим ранним творениям народного духа, Эриксен вместе с тем закончил период своего домашнего и школьного воспитания с затаённым чувством жгучей ненависти к ригоризму и к мещанской морали норвежского захолустья. В 1883 г. он поступил в университет в г. Осло (тогда — Христиания), философский факультет которого и окончил пять лет спустя. Общение с представителями студенческой и литературной общественности способствует окончательному определению Э. своих идейных позиций. Непримируемый враг христианских основ европейской цивилизации, молодой поэт как бы призывает благословение языческих бо-

жеств древности на свой литературный дебют, отказавшись от скромного имени и от фамилии, унаследованных от отца, и выступая под воинственным псевдонимом Сигурд Мьёлнир. Романтическим индивидуализмом веет и от сборника его юношеских стихов, вышедшего под многозначительным заглавием «Нагльфар».

<...>

«Нагльфар» стяжал признание молодежи, выдвинул юного автора в первые ряды норвежских поэтов. Вместе с тем вызывающий тон этой оригинальной музыки, местами, пожалуй, даже выходящий за пределы литературно-допустимого, вызвал взрыв негодования в правых и умеренных кругах норвежской общественности. В жизни самого Э. его первая книга получила значение рубежа, навсегда отъединившего его от родной семьи и прежних друзей. В продолжение 10 лет Э. живет в Осло, добывая средства к жизни случайным литературным трудом и изучая древнегерманские тексты в столичных книгохранилищах. Плодом этих вдохновенных занятий является филологическое исследование «Руны как рудимент древнейшего индогерманского алфавита», а также работа, не вполне отвечающая требованиям современной науки, слишком, быть может, строгим: «Исторические факты взаимопроникновения мифов, засвидетельствованные норвежскими и исландскими авторами VIII–XI столетий». Характер этой работы указывает на то новое направление, которое приобрели интересы Э.; попытка осмысления северогерманской мифологии под углом зрения оккультных теорий сказывается и в его романе «Самоубийство бога», опубликованном в 1897 г., выдержавшем за два года восемь изданий и переведённом на большинство европейских языков. Герой романа, молодой ученый-лингвист, приоткрыв покров символов, драпирующих оккультную глубину Эдды, решает строить свою жизнь согласно рецептам древних тайновидцев, в основных чертах совпадающих, как и можно было ожидать, с идеалом «че-

ловека двойного размаха». <...> Без труда прослеживаются в романе Э. также следы его двухлетнего (1895–1897) пребывания в Париже, где он предавался философическому изучению сексуальных причуд богемы и подонков «нового Вавилона». Критика обратила внимание также на реминисценцию идей Гюйсманса, с одной стороны, Достоевского — с другой, обозначившуюся в романе «Самоубийство бога».

Сборник лирики «Я хочу», вышедший в 1901 г., не внёс существенно новых черт в картину мирозерцания Э. Но в том же году мятежный борец за неограниченную свободу человеческого духа был привлечён к суду по обвинению в участии в чёрных мессах.

Судебное разбирательство не сумело внести должной ясности в противоречивые показания свидетелей этих утончённых забав нашего времени: Э. был оправдан, несмотря на негодующие голоса прессы, превратившиеся под конец в настоящий вопль. Этот вопль перерос в бурю, когда год спустя Э. подарил своих соотечественников новым романом «Выше безумия», где свойственное ему устремление к совмещению взаимоисключающих состояний выразилось в пропаганде оригинальной идеи совмещения в одной, всеобъемлющей личности острого душевного заболевания с полным душевным здоровьем. Реакция общественности на это смелое произведение пошатнула хрупкую нервную организацию автора; он погрузился в состояние глубокой прострации, под конец сумев, однако, почерпнуть новые жизненные стимулы даже в стенах психиатрической лечебницы. Самоотверженная любовь скромной больничной няни в отделении для буйных открыла перед ним путь к восстановлению душевного равновесия. Материальное положение его, упрочившееся благодаря успеху обоих романов, позволило Э. отказаться от литературной деятельности и уединиться с горячо любившей его женою в местечко Ха-конфьорд на юге Норвегии.

Незаконченный роман «Вот корень жизни!», опубликованный уже после смерти Э., показывает, что перед исследовавшимися странником по высотам и глубинам собственного «я» открывались новые жизненные перспективы в тихом счастье у семейного очага... Но рок судил иное: трагическая случайность оборвала жизнь Э. в самом начале этого многообещающего этапа. В марте 1910 г. глашатай новых понятий добра и зла погиб в собственной спальне — больше того, в собственной постели, — когда, переворачиваясь в темноте с одного бока на другой, ударился случайно головою об угол ночного столика.

(Новейший Плутарх)

→ 2 ноября: Новейший Плутарх, 6

ОКТАБРЬ

9

вторник

Современная медиевистика, из-за недостоверности хроник в основном обращаясь, насколько это возможно, к источникам, которые носят официальный характер, невольно впадает тем самым в опасную ошибку. Такие источники недостаточно выявляют те различия в образе жизни, которые отделяют нас от эпохи Средневековья. Они заставляют нас забывать о напряжённом пафосе средневековой жизни. Из всех окрашивающих её страстей они говорят нам только о двух: об алчности и воинственности. Кого не изумит то почти непостижимое неистовство, то постоянство, с которыми в правовых документах позднего Средневековья выступают на первый план корыстолюбие, неуживчивость, мстительность! <...>

Жизнь монарших особ окутана атмосферой приключений и страсти. И не только народная фантазия придаёт ей такую окраску. Как правило, нам трудно представить чрезвычайную душевную возбудимость человека Средневековья, его безудержность и необузданность. Если обращаться лишь к официальным документам, т.е. к наиболее досто-

верным историческим источникам, каковыми эти документы по праву являются, этот отрезок истории Средневековья может предстать в виде картины, которая не будет существенно отличаться от описаний политики министров и дипломатов XVIII столетия. Но в такой картине будет недоставать одного важного элемента: пронзительных оттенков тех могучих страстей, которые обуревали в равной степени и государей, и их подданных. Без сомнения, тот или иной элемент страсти присущ и современной политике, но, за исключением периодов переворотов и гражданских войн, непосредственные проявления страсти встречаются ныне гораздо больше препятствий: сложный механизм общественной жизни сотнями способов удерживает страсть в жёстких границах. В XV в. внезапные аффекты вторгаются в политические события в таких масштабах, что польза и расчёт то и дело отодвигаются в сторону. Если же подобная страстность сочетается с властью, — а у государей именно так оно и бывает — всё это проявляется с двойной силой. <...>

Слепая страсть в следовании своей партии, своему господину, просто своему делу была отчасти формой выражения твёрдого как камень и незыблемого как скала чувства справедливости, свойственного человеку Средневековья, формой выражения его непоколебимой уверенности в том, что всякое деяние требует конечного воздаяния. Это чувство справедливости всё ещё на три четверти оставалось языческим. И оно требовало отмщения. Хотя Церковь пыталась смягчить правовые обычаи, проповедуя мир, кротость и всепрощение, непосредственное чувство справедливости от этого не менялось. Напротив, Церковь, пожалуй, даже обостряла его, соединяя отвращение к греху с потребностью в воздаянии.

(Йохан Хейзинга. Осень Средневековья)

10.10.01

...при адаптации девятый день считается критическим: начинают открываться глаза и понимаешь, что всё делаешь не так, потому что делаешь как привык. Здесь, в новом месте всё иначе, по другим законам.

Я всё время подхожу к этой границе, мне нравится её осязаемость, я могу её исследовать — с этой стороны. Могу восстановить её, когда она начинает исчезать. Не то, чтобы недостаток реальности, просто нравится быть рядом, у черты-линии-стены, понимать её уместность и актуальность. О ней нельзя сказать на языке сущностей, но то, что мы признаём, во что верим и что любим, что обживаем и сохраняем, остаётся всегда границей, отделяющей от ничто-смерти.

Здесь, в восточной Германии, в зоне северного протестантизма невозможно не думать о границе. Само решительное и своевольное признание своего долга каждым человеком, сама организация общества на каждом уровне располагают к чувству, что *нельзя жить иначе, чем с границами* — себя, своего разума, своего долга.

12.10.01

Русские в группе по немецкому языку (раз в неделю научиться, по-моему, ничему невозможно, да и обучение, кажется, не является целью) — невыносимы, *не дают никому слова сказать*, даже преподавателю, совершенно безостановочны в своей «откровенности» или бесцеремонности. Один из Москвы, другая — с Украины, с харизмой и напором. Остальные народы, по сравнению с их активностью, — малые: китайцы, поляки, датчанин, египтянин.

15.10.01

Восхищаюсь здешней системой в библиотеке: любые книги, копии статей заказываешь по Интернету (есть общемецкий каталог и есть мировой) и тебе доставляют в течение недели. В итоге у меня гора книг дома, кто читать будет?

Студенты приучаются приходить ко мне в гости, у них вообще-то *не принято приглашать домой*, они идут в кафе и сидят там бесконечно с одним стаканом сока или Milch-

Kaffe. Очень скучаю по возможности поговорить о чём-то своём, а не о политике и мировых проблемах.

31.10.01

Сегодня выходной: протестанты празднуют День Реформации, а завтра католики (в Берлине, например, и в Баварии завтра выходной день) — День всех святых. У них такое внутреннее напряжение между разными конфессиями, что считается необходимым при знакомстве добавить: родился в протестантском регионе. А это различие в праздниках никто, даже Хартвиг, не захотел комментировать. Когда я спрашивала, все делали удивлённые лица, хотя в календаре завтрашний день выделен красным.

6.11.01

Почему надо говорить об истине (из профессора Штегмайера): *Чтобы сообщество воспринимало философа всерьёз.* В политическом дискурсе есть устойчивые истины, и нужно выработать понятие «истины» и представление об условности истины в дискурсе. Философ должен критиковать и участвовать, обнаруживать привычные стандартные представления.

10.11.01

Беньямин написал диссертацию и издал книгу «Истоки немецкой трагедии» (1929) по следам книги Шмитта (1923), о чём он ему сам пишет в единственном письме, сопровождающем высланную, только что изданную книгу. Шмитт же ни разу не упоминает Беньямина, за исключением написанного с обидой замечания в 1976 году: «Моя книга о Гоббсе „Левиафан“ 1938 года получила снова зелёный свет благодаря многим публикациям друга В. Беньямина Гершома Шолема о Каббале...»

15.11.01

Нашлось объяснение на целый ряд вопросов: почему невозможно философствовать вне контекста; почему то, что пишется здесь, непонятно и неадекватно в Питере, и наоборот. Почему философия — дело контекста и топоса? Ответ, как кажется, очень простой: философствование, в отличие от религии-

озного откровения, от молитвы или искусства, требует признания сообщества. Это не только позитивное признание, это любая критика, *любая понимающая реакция*. Сам факт того, что кто-то воспринимает нечто как философию, легитимирует её, назначает и признаёт её как осмысленное дело. То есть философия, по крайней мере, в наше время, это занятие коммуникативное, определяемое как таковое сообществом. Не сам человек решает: то, что я делаю, — это философия. Это могут признать только другие.

25.11.01

Смешно: проводят анонимный опрос у всех студентов о сексуальных домогательствах — подробные вопросы на двух листах. Я бы на их месте опрашивала о *дефиците сексуального внимания* — такое зажатое в этом отношении пространство, хотя на внутреннем уровне такое энергичное напряжение. Но никто не позволит себе ни намёка, ни внимания, ни флирта. И женщины становятся злыми, а мужчины плюшевыми.

(Гульнара Хайдарова, Записки из Грайсфельда)

→ 1 декабря: Записки из Грайсфельда, 2

Молодость ходит со смертью в обнимку,
Ловит ушанкой небесную дымку,
Мышцу сердечную рвёт впопыхах.
Взрослая жизнь кое-как научилась
Нервы беречь, говорить наловчилась
Прямолинейною прозой в стихах.
Осенью восьмидесятого года
В окна купейные сквозь непогоду
Мы обернулись на Курский вокзал.
Это мы ехали к Чёрному морю.
Хам проводник громыхал в коридоре,
Матом ругался, курить запрещал.
Белгород ночью, а поутру Харьков.

Просишь для сердца беды, а накаркав,
Локти кусаешь, огромной страной
Странствуешь, в четверть дыхания дышишь,
Спишь, цепенеешь, спросонок расслышишь —
Ухает в дамбу метровой волной.
Фото на память. Курортные позы.
В окнах веранды красуются розы.
Слева за дверью белеет кровать.
Снег очертил разноцветные горы.
Фрукты колотятся оземь, и впору
Плакать и честное слово давать.
В четырёхзначном году, умирая
В городе N, барахло разбирая,
Выроню случаем и на ходу
Гляну — о, Господи, в Новом Афоне
Оля, Лаура, Кенжеев на фоне
Зелени в восьмидесятом году.

(Сергей Гандлевский. Часы, № 50, 1984)

Если вы хотите приучить молодую собаку к выстрелу, лучше всего поселиться вблизи полигона. Там можно встретить преотличные бекасиные болотца, а планомерная пальба неутомимой батареи поможет благополучно преодолеть важнейший момент в воспитании подружейной собаки.

Одиночные и многократные залпы допотопной ракетной установки нисколько не нарушают тишины и спокойствия. Все поколения птиц, зверей и детей, которые выросли здесь, не обращали внимания на это несерьёзное буханье и воспринимали как естественный фон.

Стеклобно дребезжит клюква на подмёрзших кочках, вздрагивают моховики, мягко упакованные в розоватый сфагнум магелланский.

Оплывшие вмятины — не то сапоги, не то беспорядочные копыта — кто-то прошёл, может, теперь, а может, давно; стрельба, конечно, само собой, ведь сегодня у нас не воскресенье, над этим безлюдным глухим болотом она никогда не прекращалась, а если и стихала, то ровно на один день, в воскресенье, и я даже думаю, что эти чахлые кривые сосенки или безобидные горькушки разом бы высохли, если бы наш знаменитый полигон вдруг куда-нибудь перебазировался или вообще был бы упразднён. Да и мы, те, кто вырос в ближайшем учебном городке, были бы совсем не такими, для нас утренняя, дневная и особенно ночная пальба была чем-то вроде рыбьего жира, к тебе подступаются две ложки — в одной маринованный белый грибок, в другой — гадость, сначала жирок, потом грибок, поллитровая банка маринованных из магазина кончилась, недопитая бутылка куда-то задевалась, а мы росли под грохот канонады, орудийная мощь менялась, число залпов за один заход увеличивалось, мы считали их, как проходящие вагоны товарняков.

Мне кажется, замолкни однажды наша дорогая батарея за озером — всё здесь перестанет расти и цвести, а как поведёт себя наша картошка — неизвестно, ведь каждый год мы берём на посадку нашу собственную картошку, которая выросла именно на этом поле, и хотя бывали годы, что выросло примерно столько же, сколько посадили, но на посадку следующего года хватало, так что можно сказать, что выведена особая популяция залпоустойчивого картофеля — розоватые, удлинённые, плоские с боков клубни — такие экземпляры многократно рикошетят при прицельной стрельбе в воду.

(Белла Улановская. Боевые коты // Осенний поход лягушек, 1992, отрывок)

памяти Леонида Аронсона

Летит собака на Пегасе сквозь облака,
поэт заснул, но свет не гаснет в черновиках:
по ним гуляет птица смерти, чей клюв — ружьё,
и словно порох сгорают строки в глазах её.

Возьми волшебный выключатель, нажми рычаг,
тогда и счастье и несчастье уйдут во мрак,
где кто-то дышит часто-часто, дрожит рука,
летит собака на Пегасе сквозь облака.

(Дмитрий Григорьев)

Прогулка

У животных нет названья.
Кто им зваться повелел?
Равномерное страданье —
Их невидимый удел.
Бык, беседуя с природой,
Удаляется в луга.
Над прекрасными глазами
Светят белые рога.
Речка девочкой невзрачной
Притаилась между трав,
То смеётся, то рыдает,
Ноги в землю закопав.
Что же плачет? Что тоскует?
Отчего она больна?
Вся природа улыбнулась,
Как высокая тюрьма.
Каждый маленький цветочек
Машет маленькой рукой.
Бык седые слёзы точит,

ОКТАБРЬ

13

суббота

ОКТАБРЬ

14

воскресенье

Ходит пышный, чуть живой.
А на воздухе пустынном
Птица лёгкая кружится,
Ради песенки старинной
Нежным горлышком трудится.
Перед ней сияют воды,
Лес качается, велик,
И смеётся вся природа,
Умирая каждый миг.

(Николай Заболоцкий, 1929)

ОКТАБРЬ

15

понедельник

Свет был каким-то зыбким, почти голым. Он крошился мелкими, озябшими зёрнами. Жёлтые капли разбивались о спину и стекали вниз по плечам, рукавам, грубо залатанному холщовому мешку, который волочился по мокрой земле. Солнце струилось по спине, а пот — по лбу. Точно так же в пасмурную погоду лицо становилось мокрым от дождевых капель. Но, будь то пот или дождь, капли вечно попадали прямо в глаза, мешая разглядеть дорогу. Вернее сказать, не дорогу, а ту неприметную, замаранную перегноем листьев полосу на грязи, которая на поверку могла бы оказаться тропинкой, но это была бы лишь ещё одна условность в списке случайных названий. Слов, которые давно потеряли всякий смысл. Некоторые капли не сразу стекали вниз по лицу, а ненадолго застревали в бровях, но достаточно было четырёх-пяти шагов, и они прыгивали в глаза. Он не любил прибегать к помощи рук, чтобы избавиться от этих водяных осколков, стараясь отделаться от них с помощью моргания и подергивания головой. Со стороны это могло напомнить движения собаки или какого-нибудь другого намокшего животного, пытающегося стряхнуть с себя воду. А его длинные руки безжизненно болтались вдоль худого тела, как полые, не заполненные плотью рукава старого плаща. Он отчаялся просить их

о помощи с тех пор, как осознал, что ему далеко не всегда удаётся ориентироваться в пространстве. Порою, он останавливался, боясь споткнуться о какой-нибудь предмет, чаще всего — бревно, которое лежало в добрых двадцати метрах от его тропинки. Но он, не замечая этого, приседал на корточки, пытаясь откатить его со своего пути. И иногда ему требовалось несколько минут, чтобы понять, что он толкает ладонями воздух. Возможно, главной причиной этих недоразумений было то, что он до конца не ощущал пределов собственного тела — они были так же далеки от него, как и большинство окружающих предметов. Поэтому он решил идти, не делая лишних движений, опустив костлявые руки вниз, и лишь время от времени мотал головой, чтоб избавиться от капель в глазах. В пасмурную погоду, когда брызги с мокрой бороды разлетались в разные стороны, казалось, что они нарушают стройный порядок движения летевших с неба потоков, превращаются в крохотные, зыбкие плотины на пути непроницаемого течения.словно упрямые дезертиры, эти брызги, осознавая безнадёжность своего сопротивления, из упрямства продолжали противоречить силе тяжести. Они перечили течению. Как птицы, отбившиеся от стаи. Как пули, не пожелавшие лететь в мишень. Когда же стояла жара, они беспорядочно врезались в тёплый воздух, словно зёрна в землю, но растворялись в этой душной пыли ещё быстрее, чем в прозрачном водяном потоке. Разницы почти не было. Во всяком случае, он сам давно не ощущал особых отличий между жарой и холодом. Научился приспособливаться к погоде. Дождь или пот. Не всё ли равно? Его руки болтались вдоль тела. Он почти не поднимал их. Может быть, где-то глубоко в подсознании у него прописалось, что поднять руки — означает сдаться. Да, он был дезертиром, который собирался сопротивляться до конца. Хотя и не помнил, с кем надо сражаться. Отбиваться уже было не от кого. Он прибегал к помощи рук разве что для того, чтобы поправить верёвку на плече. Иногда

это выходило быстро, но порой занимало несколько минут. И в этих скупых жестах было что-то отчаянное. Его босые ноги, плохо спрятанные в футлярах потрескавшейся кожи старых сапог, были расцарапаны и забрызганы грязью. Чёрные лужи ещё не успели просохнуть после проливного дождя, обрушившегося на лес прошлой ночью. Этот ливень напомнил деревьям о том, что осень уже вплотную приблизилась, и нет никакого смысла пытаться удержать на ветвях жухлую листву. И лес не стал возражать. Сморщенные клочки листьев летели вниз, как смятые листы бумаги, выброшенные негодным писателем. Листья облепляли сапоги, и из-за этого ноги казались вросшими в землю, отчего становилось тяжелее двигаться дальше. Он смотрел на серо-коричневую грязь, исполосованную едва приметными линиями теней, отбрасываемых деревьями. Эти полустёртые, тонкие шрамы то исчезали, то вновь проявлялись, и время от времени выступали над землёй так, что об них, казалось, можно было споткнуться. Поэтому он ни на миг не отрывал взгляд от дороги, чтобы ненароком не зацепиться за тени ногой. Но всё равно иногда спотыкался, ведь из-за капель в глазах он видел всё размытым, затуманенным, нечётким. Пот; ливень; конечно, можно принять во внимание и последний из известных людям способ возникновения капель внутри глаз — плач. Но этот способ не был знаком бродяге. Или, вернее, давно был им позабыт. Скорее всего, когда он был ребёнком, с ним и случалось что-то подобное, но он уже не помнил, что стряслось с ним тогда, в детстве. Ему казалось, что грязь под его ногами, сгустившаяся с годами в некое подобие дороги, не покидала его с самого рождения. Он шёл сквозь деревья без малейшего осознания своего направления. Не искал он и выхода, он уже не был уверен, что могло существовать что-то за пределами леса. Настолько он свыкся с этими спутанными, серыми и лишь изредка вспыхивавшими рябиной ветвями, объатыми горько-пряными запахами полыни, трухи,

червивых грибов, болотного пара и мха. Но тусклая полоска под его ногами, напоминавшая зарубцевавшуюся царяпину, затёртую линию жизни на покрытой грязью ладони, подавала ему таинственные знаки, как зыбкий, щербящий горизонт маяк или робкие призывы далёкой кукушки. Изрытая, перекрещенная корневищами дорога была последней из тех, с кем он сохранил какой-то особый контакт, возможно, лишь она и заставляла его идти дальше. Впрочем, если предположить, что он добрался бы до того места, где тропа прерывалась, растворяясь в жидкой, хлюпающей грязи, то, скорее всего, он долгое время по инерции продолжал бы своё движение, погружая ноги в чёрный компост прокисшей земли, похожей на жидкое, прилипчивое тесто. Возможно, так оно и было сейчас, а тропа была только воспоминанием о тропе. Наверняка, так оно и было. Образ дороги. Но, пожалуй, этот сохранившийся в памяти образ был важнее реальности. Намного важнее. Верёвка, на которой болтался заплатанный мешок с вещами, натирала ему плечо. Боль вряд ли могла быть сильной, но временами ему казалось, что, прорезая лохмотья, верёвка впивалась в кожу, как проволока. И если бы ему в голову пришла мысль повеситься на ней, то, наверное, это было бы равносильно решению перерезать горло бритвой — настолько легко эта жёсткая бечева вошла бы в худую шею. С такой беспечной лёгкостью нож разрезает кусок хлеба. Но эта мысль о перерезанном горле показалась бы ему едва ли не более нелепой, чем идея продолжать своё бесконечное путешествие. Путешествие, у которого не было ни отправной точки, ни конечной цели. Ни прошлого, ни будущего. Не было и настоящего. Не было ничего и, прежде всего, — не было самого ощущения времени. Только сгустившаяся в дорогу грязь. И больше ничего. Нет, ещё капли в глазах. Эта скопившаяся влага, отражавшая кислые гримасы подслеповатого неба. Капли, напоминавшие слёзы, даже по вкусу. Вернее, ему казалось, что вкус слёз должен

быть таким. А может, он ошибался, и всё-таки это были самые настоящие слёзы, а вовсе не дождь, смешанный с потом? Кажется, он не был до конца уверен. Или просто не задумывался об этом. Но продолжал продвигаться вперёд, вслушиваясь в лесной шум. Он любил все эти знакомые шорохи, хрусты, шелесты и шуршания. Каждое дерево здесь шептало по-своему. Забрызганные грязью сапоги послушно оставляли на земле новые следы. Или наоборот, ноги ему уже не подчинялись? Скорее всего, они по привычке продолжали бы идти, даже если бы он принял решение остановиться. Хотя через какое-то время, наверное, остановились бы. По собственной воле. Или под тяжестью облепившей их листвы. Возможно, и так. Во всяком случае, его замутнённый взгляд не давал никаких разъяснений. Осунувшееся лицо было непроницаемо. Мокрая, давно не стриженная борода. Поседевшие брови. Затуманенные глаза, в которых лишь мельком угадывалась странная мука. Когда плечо уставало, он принимался волочить свою сумку по земле, и рядом со следами от сапог в грязи образовывалась извилистая полоса-лыжня от старого, затянутого бечёвкой мешка. Если бы ему захотелось вернуться обратно, он смог бы проследить какой-то отрезок своего пути по этим несуразным приметам.

(Анатолий Рясков. Пустырь, отрывок)

→ 5 ноября: Рясков, 2

Мы исчезнем, дорогой, мы исчезнем,
Не пройдя всех лабиринтов и лестниц,
И твоим, таким безудержным, песням,
Может, вовсе не нужны крылья вестниц.

Мы исчезнем, дорогой, мы исчезнем,
Даже если накопим сторицей

Достижений своих кол дремучий,
Башмаков износив пуд железный.

Стало тесно, стало больно в неволе,
Расплескались чудеса — не осилить.
Золотые слова стрянут в горле,
А серебряных нет и в помине.

(Тамара Чудиновская, 2003)

<Сеймур приходит к Дэниелу О'Холигену:>

— Принёс домашнюю работу — перевод про короля Артура. Пришлось постараться, — он вынул из кармана пиджака сложенные листы и положил перед Дэниелом.

— Спасибо, Сеймур. Я тоже хочу вам кое-что показать. Вы не могли бы закрыть дверь? — Дэниел отпер верхний ящик стола и достал аккуратную копию Креспеновой диаграммы, которую сделал накануне, как только вышел из ванной комнаты.

Мистер Рильке мгновенно понял, что это такое.

— Это формула круга в декартовых координатах, с коэффициентом a в качестве радиуса.

— Да?

— Да-да.

— Круга?

— Конечно. Радиус этого круга — коэффициент a . Вам известна его величина?

— Да, — Дэниел проверил под рисунком, — 1320.

— Чего?

— 1320? Ну, скорее всего лиг.

— Лиг! Какая ужасная древность, простите, — он сделал оправдательный жест, от которого Дэниел отмахнулся.

— Продолжайте, Сеймур. Это очень важно для... меня.

— Лига — это примерно что... три мили? Так что радиус этого круга — три умножить на тысячу...

— ...триста двадцать.

— Это около четырех тысяч миль, примерно шесть тысяч, м-м... 6400 километров.

— Это что-нибудь значит?

— Очень близко к радиусу Земли. Диаметр круга почти совпадает с диаметром нашей планеты.

Дэниел выпучил глаза, и рыжая щетина его бровей взметнулась на лоб. Сеймур счёл эту реакцию не соответствующей той информации, которую он только что сообщил.

Итак, Креспен наткнулся на истинный размер сферы и был убеждён, что траектория зрения в точности совпадает с этой кривой. Он пришёл к такому выводу, изучая монюкль, оставленный дочерью Христа, когда она была запущена... нет. Нет необходимости заниматься этим среди бела дня. Любое упоминание — и от Сеймура не отделаться. В тот момент, когда Дэниел принял это решение, его поток мыслей был прерван внезапным появлением К. К. Сука.

— Эй, Дан! Мона вайду? Эй, мистер Рилке! Хрис! Только кончил «Мельника». Фью! — Миниатюрный кореец был заворожён персонажами Джеффри Чосера и их рассказами по дороге в Кентербери. Он скрупулезно проработал «Рассказ мельника» и был сладко вознагражден за это его непристойностью и простотой. Теперь он стоял совершенно бездыханный перед столом Дэниела. — Мона покурю, Симур? Мона, Дан?

— Можно. Захотелось, наверное, после «Рассказа мельника»? Забавная история, правда?

— Забавна? Фью! Может, очень даже хуже! — Возникла пачка сигарет, вспыхнула зажигалка. — Стал читать, да? Дожен когда мотреть словарь, что там за слово, — К. К. Сук отмахнулся от этого ограничения беззаботной струей дыма — мастер-переводчик в расцвете сил.

— Все о'кей, до этого куска, — К. К. вынул из кармана рубашки листок, — это само хуже кусок попался, Дан! — Он скрючился в двусмысленном хихиканье. — Я тут писал. Хотишь слушать, Дан? И ты, Симур.

Женою юною пленяся,
Пока муж отбыл в Осени,
Схитрился поп единым вздохом
Укромно взять ее за хохл!

— Ты знаешь этот «хохл», Дан? Знаешь, Симур? Гадай, что там казано про «хохл»? — Глаза К. К. умоляли обеспечить кульминацию, но Дэниел понял, что куда забавнее этого не делать.

— Он взял ее за... Волосы? Руку?

Мистер Рильке высказал свою догадку.

— Запястье? Хохл... хохл... нет, извини, К. К., ты должен нам сказать.

К. К. был в ужасе.

— Ей, Дан, ты — писыалис. Я не магу так казать! Очен плохой слово. Большой сестра Триматур схочет, чтоб я летел в Япон, если слушит, что я кажу этот слово. Хрис! Буду на ероплан за пять минут!

— Сестры тут нет, К. К., — заметил мистер Рильке, — так что можешь нам сказать. Ну, что этот «хохл» значит?

К. К. сглотнул и утратил всю свою храбрость.

— Этот «хохл» означит для... — К. К. принялся издавать очень странный звук, словно яростный зимородок с автоматом, — хе-хе-хе-хе, ак-ак-ак-ак, хе-хе-хе-хе, ак-ак-ак-ак...

Звук продолжался довольно долго. Слёзы выступили из щёлок, в которых исчезли глаза К. К. Сука, он сотрясался в мелких конвульсиях, как будто его привязали к отбойному молотку.

Наконец буря миновала, и К. К. обрёл самообладание.

— Я не могу казать, Дан. Токо кажу — это женски част! А тепер, после, слушай это, правда поразитно:

Абсолом насухо свои обтёр уста,
Вокруг — ни зги, так ночь была густа.
Как из окна простёрла зад она,
Так Абсолом, не ведая худого,

Ту сладку плоть поцеловал готово
Со всем приятствием, нимало не узя,
Но чуял, что проделал это зря,
Понеже бороды у девы не бывало,
А что-то волосами помывало,
И рек: «Скажи, что сделал я? Темно».
«Ахти!» — она захлопнула окно.

Как только закончилось чтение, у К. К. начался новый приступ радостных судорог, и он, перегнувшись от смеха пополам, поднялся со стула.

— Ты помаешь, куда он целовал, Дан! Хе-хе-хе-хе, ак-ак-ак-ак, хе-хе-хе-хе, ак-ак-ак-ак... Не могу уже казать! Я пошёл, пока Симур не просит, что то «волосами помывало»!

К. К. выпал из Дэниелова кабинета и поковылял по коридору, по-прежнему безумно хихикая. Дэниел поднялся закрыть дверь и выглянул в коридор, где сотрудники неодобрительными взглядами провожали удаляющегося К. К. Сука, который в конвульсиях отскакивал от стен.

— Прошу меня простить, — громко сказал Дэниел. Все обернулись. — Один из моих студентов. Это называется — смех. По причине чрезмерного удовольствия от занятий. Постараюсь свести это к минимуму.

(Путер Уэйр, Безумие Дэниела О'Холигена)

Переселенцы

Чужое солнце за чужим болотом
Неистово садится на насест,
А завтра вновь самодержавно встанет,
Не наказуя, не благоволя.
— Как ваши руки, Молли, погрубели,
Как опустился ваш весёлый Дик,

Что так забавно говорил о боксе,
Пока вы ехали на пакетботе.
Скорей в барак! Дыханье малярии
С сиреневыми сумерками входит
В законопаченные плохо щели.
Коптит экономическая лампа,
И бабушкина Библия раскрыта.
— Как ваши руки, Молли, погрубели,
Как выветрилась ваша красота,
А ждёте вы четвёртого ребёнка.
Те трое — худосочны, малокровны,
Обречены костями осушать
К житью неприспособленную местность.
О Боже, Боже! Боже, Боже, Боже!
Зачем нам просыпаться, если завтра
Увидим те же кочки и дорогу,
Где палка с надписью «Проспект Побед»,
Лавчонку и кабак на перекрёстке
Да отгороженную лужу «Капитолий».
А дети вырастут, как свинопасы,
Разучатся читать, писать, молиться,
Скупую землю будут ковырять
Да приговаривать, что время — деньги,
Бессмысленно толпиться в Пантеоне,
Тесовый мрамор жвачкой заплевав,
Выдумывать машинки для сапог,
Плодить детей и тупо умирать,
Почти не сознавая скучной славы
Обманчивого слова «пионеры».
— Проспите лучше, Молли, до полудня.
Быть может, вам приснится берег Темзы
И хмелем увитой родимый дом.

1926

(Михаил Кузмин // Часы, № 24, 1980)

Газеты одного крупного города черты оседлости, описывая тамошнюю попытку публичного чествования памяти Комиссаржевской, устроенную литературно-художественным клубом, отметили, что русской публики на торжестве было мало, а зато было очень много публики еврейской. Это, действительно, любопытное явление; мне давно хотелось его отметить и побеседовать на эту тему, но не решался. Ни для кого не тайна, что литературные клубы в черте оседлости вообще на девять десятых посещаются евреями; огромное большинство членов — тоже евреи. Арийский элемент представлен обычно десятком-другим отдельных любителей слова и музыки; пусть это талантливые и симпатичные люди, но их мало. Остальная, массовая часть членов и посетителей состоит из евреев.

Читатель, вероятно, тут заспорит и скажет: «Позвольте, что же в этом дурного — напротив, очень хорошо, что евреи так отзывчивы, так интересуются — это делает им честь»... Честь или не честь, это другой вопрос; но займемся пока не евреями, а русскими. Где они? Отчего не приходят? Почему они так мало отзывчивы, почему они не интересуются, почему они не хотят «делать себе честь»?

Странно, ведь арийская интеллигенция велика и обильна. Несомненно, есть же в том городе достаточно образованной русской публики, чтобы заполнить три таких зала, особенно, если присчитать учащуюся молодежь. Отчего же эти не ходят? Вот, оказывается, и в Петербурге их не было на вечере памяти Комиссаржевской. Петербург в этом отношении особенно характерен. Город русский, евреи там вряд ли составят и две сотых населения. Там тоже было, а может и теперь есть, литературное общество аналогичного типа, «объединяющее все национальности». И на рефератах этого общества очи видели ту же знакомую картину: 10–15 репрезентативных христиан из радикальной литературы, а в публике почти исключительно евреи. Что за притча? Где русская интеллигенция? Смешно ведь даже спрашивать, есть ли она в столице, интересуется ли делами культуры. Это

ведь она создаёт русскую культуру, она создала всё, что было ценного в русской литературе, она создала и Комиссаржевскую. В чём же дело?

Лучшим ответом на вопрос было бы узнать мнение самих отсутствующих — мнение тех самых русских интеллигентов, которые культуру-то создают, а на рефераты и вечера известного рода упорно не ходят. Но мне их взгляд совершенно неизвестен. Зато приходилось часто говорить об этом «странном» явлении с их, так сказать, заместителями — с еврейскими ассимиляторами. Многие из них вообще не желают говорить на эту тему. Они не замечают. Но некоторые всё же разговорились и разоткровенничались. У меня получилось от этой откровенности странное впечатление. Они мне говорили известные старые вещи: что евреи — прекрасный фермент, что их миссия — будить всюду интерес к идее и культуре, что они — авангард, увлекающий за собой неповоротливых домохозяев, и пр. Я, как известно, грешник, считаю национальность альфой и омегой своей веры, дорожу ею больше, чем прогрессом, и т.д. Но, признаюсь, я совершенно не способен проникнуться этим взглядом на еврея, как на соль земли, без которой остальные вахлаки совсем бы закисло. Для меня совершенно ясно, что не только эллины в древности, но и многие народы в настоящее время, например, англичане и немцы, куда талантливее евреев во всём, решительно во всём, начиная с литературы и кончая банкирскими конторами. Я в этом не вижу никакой обиды для евреев, потому что не смотрю на них как на народ, который всю жизнь держит перед кем-то экзамен и должен непременно получать все пятерки. Право народа на самобытность и равенство не нуждается ни в каких оправданиях. Конечно, раз мы тут по Европе околачиваемся столько веков, мы естественно принесли ей много пользы, обогатили её жизнь; иначе и быть не могло — ведь и мы же не лыком шиты, и если занимаем среди исторических наций не первое место, то и не последнее. Но смешно пересаливать. Не будь евреев, культурный мир тоже бы теперь не

в лаптях ходил. В частности, русский народ свою литературу создал без всякой помощи евреев, так же, как и французский, и английский, и итальянский. Да будет позволено спросить: если бы в Петербурге и Одессе совсем не было евреев, неужели там и здесь так-таки никогда не возникли бы литературные клубы? Моё скромное мнение таково: не только возникли бы, но и процветали бы не меньше теперешнего, только публика была бы в них — русская.

Здесь я должен привести мнение одного известного журналиста, родом из евреев. Прошу читателя не принять эту ссылку за литературный приём: это был настоящий разговор с настоящим известным журналистом еврейского происхождения. Он живёт в русском городе, русскими интересами, вращается почти исключительно в русском обществе, следовательно, знает ту самую публику, которая «не ходит»: кроме того, сам пользуется репутацией умного, образованного и хладнокровного человека. Я всегда знал его за ассимилятора; впрочем, он не отрицал того, что еврейство национализируется, но не сочувствовал этому процессу. Речь зашла о том самом «странном» явлении: что «они» «не ходят». Совершенно ручаюсь за точную передачу мысли моего собеседника.

— Я вот что здесь наблюдаю уже не в первый раз, — сказал он. — Возникает какое-нибудь общество или, скажем, литературный орган: основатели его — русские люди с именами. (Это не всегда бывает так, но я нарочно беру только те именно случаи, когда основатели — русские). Когда дело наладится и машина пущена в ход, первое время всё идёт нормально. Русская публика интересуется, участвует, посещает, читает и сама пишет. Но со второго или третьего месяца начинается наплыв евреев. Основатели радушно их принимают, даже очень рады — знаете, нет ведь ничего добродушнее и искреннее хорошего русского интеллигента; он, право, по большей части и не замечает, кто вы такой. Через несколько недель — ваша аудитория полна евреев. И тогда вы начинаете замечать странную вещь: по мере того, как

прибывают евреи, убывают русские. Не только в смысле процента, но абсолютно. Где их прежде было 100, там их остаётся 20. Уходят. Не ругаются, не сердятся, не жалуются, вообще ничего не говорят, а просто отстраняются. Спросишь их: почему? Сами не умеют объяснить. Да, да, вы правы, надо будет опять записаться, просто, знаете ли, вылетело из головы... Иногда я в этом чувствую привкус сознательной юдофобии; но, право, гораздо чаще ничего подобного не могу нащупать. А вижу только разительное падение интереса к делу именно с того момента, как им так ревностно заинтересовались евреи. Оно с этого мгновения как бы стало для русской публики чужим, её туда уже больше не тянет, ей там больше не уютно и не занятно, хотя сюжеты прений или статей остались те же. Это повторяется и с обществами, и с газетами, — быть может и с партиями — и, говорю вам, не в первый раз. Чем это объяснить, я не знаю; но нельзя отрицать, что есть какое-то невидимое «отталкивание». И вот мой вывод: хорошо это или печально, но Россия должна будет пройти через полосу национального размежевания точно так же, как проходит через неё Австрия. Придётся взять эту линию и евреям, отмежеваться в обоих смыслах: политически и культурно. Я, конечно, исключаю тот десяток-другой евреев, которые для еврейства — отрезанные ломти, давно ушли, завязали новые связи и пустили корни в чужой среде. Но еврейское общество в целом должно будет отграничить себя от русского и в политике и в культуре. Этим оно окажет большую услугу и себе и русским: оно им даст, наконец, возможность организовать внутри себя, по-своему, без посторонних примесей, которые в таком количестве для них, очевидно, неприемлемы...

За точную передачу мысли, как уже сказано, я ручаюсь. Ручаться за правильность наблюдения и вывода, конечно, не моё дело. Я не знаю ни той публики, ни её настроений. Но позволю себе напомнить тем, для которых эти щекотливые вопросы поневоле должны быть интересны, что «странное» явление всё-таки должно иметь свою причину. И до

тех пор, пока жива на свете логика, эта причина может быть только одна из двух. Она или в русской интеллигенции, или в еврейской. Или первая органически неспособна интересоваться, откликаться, реагировать и т.д., и только евреи, эти единственные ангелы-хранители русской культуры в Петербурге и на окраинах, ещё спасают положение, держат знамя и прочее, и тогда остаётся только изумляться, откуда у этого равнодушного русского племени взялось столько творческого подъёма, чтобы создать без всякой еврейской помощи Толстого или Комиссаржевскую. Или — их к евреям просто «не тянет», и когда они видят, что на их собственном празднике танцует слишком много евреев, то даже лучшие из них предпочитают праздновать у себя дома: и если это так, то евреям и дальше придется нести на себе лестную роль единственных музыкантов на чужой свадьбе — с которой хозяева ушли.

(Владимир Жаботинский. Странное явление, 1912)

→ 13 ноября: Жаботинский, 2

ОКТАБРЬ

20

суббота

Мне почудилось наконец, что стая погнала в нашу сторону, и действительно, через минуту что-то начало ломиться в камыше; вскоре затем выкатил матёрой волк и понёсся по кочкам, прямо в вершину, в голове которой был наш секретный пост.

— Егорка, видишь? — спросил я шёпотом.

Егорка мой стиснул зубы и только дрожащею рукой подал мне знак пригнуться: он блестящими глазами своими, казалось, прожигал куст, сквозь который смотрел на волка.

Наконец зверь очутился противу нас, саженях в десяти; Егорка молча показал его собакам и бросил свору из рук. Пять собак рванулись разом, и Сокол первый, грудь в грудь, сцепился с волком: оба они слились в одно неразрывное целое, покатались по земле и исчезли в водомоине; прочие собаки скучились и прыгнули туда же; мы очутились там

же, но, — увы! — раздался пронзительный визг, и храбрый наш Сокол, облитый кровью, катался по земле; волк сидел, ощёлкиваясь от прочих собак, которые не смели к нему подступить. Егорка подал на драку, но зверь прыгнул на чистоту, принял направо и поскакал полем. Недолго, однако ж, длилась эта прыть: в рытвине, противу нас, мелькнула шапка стремянного, и в то же время три свежие собаки понеслись навстречу дерзкому беглецу.

Волк не устоял противу первого напора приёмистых и свычных с делом бойцов: он оробел, ощёлкнулся и пошёл наутек, но Крылат и Обругай повисли на нём; наши собаки подоспели, сгучились, и свалка сделалась общею; прежде, однако ж, чем мы успели подскать, волк стряхнул с себя кучу собак и, ошетинясь, сел в кружку, страшно сверкая глазами; подле него катался по земле Обругай, с прокушенным боком. Егорка прыгнул с лошади и пошёл к волку с кинжалом в руке. Видя нового врага, рассвирепевший зверь рванулся отчаянно вперёд и побежал, ощёлкиваясь от собак, мимо дубов к кустарнику. Но вот из-за куста, между полынью, шмыгнуло что-то, с свистом, как пущенная стрела, и серый Чаус в мгновение ока сцепился с зверем и покатылся с ним по пашне; собаки налетели на них гурьбой, и из них образовался один неразрывный клубок.

К нам подскакали старик Савелий и граф.

И вот в середине этого кружка что-то сильно поколебалось; собаки разлетелись врозь, и посреди них, как два достойные бойца, волк и Чаус поднялись на дыбы, схватились яростно и снова грянулись на землю; собаки снова накрыли их плотною бронёю.

Граф приказал принять зверя.

Охотники прыгнули с лошадей, и Егорка первый, схватя волка за заднюю ногу, всадил ему в пах кинжал по рукоятку; собаки отскочили; на земле остался один только Чаус: пасть его впилась в волчье горло и замерла на нём; зверь, хрипя, лежал вразтяжку; стремянный бросился к Чаусу и рознял ему пасть кинжалом.

Храбрый боец при общих похвалах отошёл тихо в сторону и снова пал на землю, сильно дыша; из горла у него валила клубом кровавая пена; налитые кровью глаза блестели, как раскалённые угли.

Егорка с радостным лицом принялся вторачивать волка, как трофей, принадлежащий ему, по праву охоты.

— Ваше сиятельство! Честь имею поздравить Вашу милость с полем, батюшка! — сказал старик Савелий, снимая шапку.

— И вас также, Савелий Трофимыч! — отвечал граф весело, подражая старику в ухватках.

(Егор Дриянский. Записки мелкотравчатого)

Две половины

Он не ревнует, а тебя влечёт
в любое плаванье накопленная влага:
о хрупкая китайская бумага,
о муравьиный мёд.

Мужчина — это женщина, когда
она перестаёт любить мужчину —
ты расшифруешь эту чертовщину,
пока течёт недлинная вода?

Он женщина, он ощущает грудь
и раздвигает медленные ноги,
ты в тот момент нагнулась на пороге
на босоножке пряжку застегнуть.

Вы то, что превращается в себя:
безумие делить на половины
движение уже невинной глины
в хрустящем полотне огня.

Ты плаваешь в мужчине, он плывёт
в тебе одной, и, зарываясь в воду,

вы всё до капли возвратите роду,
пока он вас из двух сосудов пьёт.

Мужчина существует только там,
где женщина научена мужчиной
не быть одно мгновение, — причины
иные нынче нам не по зубам.

Я говорю: ты отплываешь плыть,
а он за локоть укусил разлуку,
вам вброд не перейти такую муку,
которой, может быть, не может быть.

Попробуй сделать осень из седых
волос, тобою найденных в комодке,
во-первых: это нравится природе,
и вы умрёте — это во-вторых...

Останется не зрение, а слух
и подземельной музыки круженье,
когда с земли исчезнет отраженье,
что было вам дано одно на двух.

О, воробья смешное молоко,
о, сахарин на крыльях махаона,
о, ваша тень, когда во время оно
вы в кислороде плавилась легко.

Всё наново начнётся через сто
осыпанных ресниц большого неба,
и вы, начало будущего хлеба,
с нуля произнёсете фразу: «О,

оставь меня, безгубая Лилит,
возьми обратно пенис и вагину
и отпусти меня в слепую глину,
где я живу, а глина сладко спит».

(Виталий Кальпиди)

Толкуя слово, мы отвечаем на вопрос, что оно значит. Пусть же спрашивается, что значит одно слово начала русской сказки **Лисичка-сестричка и волк**, первой у Афанасьева:

Жил себе дед да баба. Дед говорит бабе: «Ты, баба, пеки пироги, а я поеду за рыбой». Наловил рыбы и везёт домой целый воз. Вот едет он и видит: лисичка свернулась калачиком и лежит на дороге. Дед слез с воза, подошёл к лисичке, а она не ворохнётся, лежит себе как мертвая. «Вот будет подарок жене», **сказал** дед, взял лисичку и положил на воз, а сам пошёл впереди. А лисичка---

(тримя дефисами отмечается обрыв цитирования) — это выделенное *сказал*?

Мои знакомые, кому я задавал этот вопрос году в 1979 в Ереване и кого вспоминаю с благодарностью, отвечали по-разному, но из их ответов четыре, оказалось, образуют единую последовательность. *Сказал* значит *сказал*, вот первый возможный ответ (а) на искусственный вопрос. Впрочем вместо *сказал* мы бы сказали *сказал себе* (б), раз деду некому было говорить. Или (в) *подумал*, вот что лучше назвать в ответ. Но почему тогда так прямо и не сказано в сказке? Ведь обманутый дед был как наедине с собой; *сказал*, должно быть, значит (г) *подумал вслух*, а не просто *подумал*. Выходит, лисичка подслушала мысль деда, а это выразительная подробность. Такова наша догадка, но ещё не доказуемое толкование. От вопроса, что значит *сказал*, принятого сперва за софизм, к четвёртому ответу с его догадкой нас ведёт неписаная герменевтика, или толковательное искусство, то есть умение отвечать на вопросы о значении слов и всего «говорящего». Не подменить собой это житейское умение призвана герменевтика как гуманитарная наука, а осознанно применять

его приёмы. Тогда пятым и последним ответом (д) будет: Дед подумал вслух, но сказал всё же нетолкуемое слово, зато наше *подумал* значит *сказал себе*, *думать* значит *говорить с собою, себе или про себя*. Толкование удаётся при возврате к своему, герменевтика служит самопознанию.

Пятичастное толкование слова *сказал*, потом *думать* для моей книги не подтверждающий пример, один из многих, а исходный образец решения герменевтической задачи. Вся книга состоит из примечаний (исконный герменевтический жанр) разных порядков к пяти последовательным ответам на заданный вопрос. Это почти по Лескову:

— Верно, какой-нибудь маленький случай, от которого сделаны очень широкие обобщения.

— Да, случай и обобщения; а только, по правде сказать, не понимаю: почему вы против обобщения случаев?

(*Железная воля*, 1). «Каждое частное явление погружено в стихию *первоначал бытия*.» — сказал Михаил Бахтин (*К методологии гуманитарных наук*) полусимволистски, полугерменевтически. Вездесущим первоначалом у меня вышло **иное**, инакость по данным русского языка и фольклора и продолжающей фольклор литературы. Толкуя слово, мы говорим, что оно значит, а значимо иное, особенное, исключительное: слово «думать» значит прежде всего «говорить с самим собою», а «я сам» — иной по отношению к другим для меня людям; но дурак тоже образцовый иной; сверхполное число, следующее за круглым, — число иного, остров его место, красный его цвет. А иной это один, но и другой, он единственный и не как все, некто или никто, причём есть три инакости: самость каждого «я», дружность всех своих как одного и чужость чужого. Обращена такая герменевтика от простых людей через толкователя к учёным, то есть в противоположную народному просвещению и популяризации науки сторону. Чему же я, всего лишь по-

средник, могу научить учёного, особенно естественника и математика? Что он ещё не знает, он узнает без меня, но вот обломки того, что он уже не знает, здесь найдутся.

Герменевтический подход к слову я различил в работах М. Бахтина и Владимира Топорова и учился по ним. В 1992 я издал в Москве предварительный отчёт о своих многолетних занятиях толкованием — сборник статей *Герменевтические подступы к русскому слову* с предисловием В. Топорова, таким, какого я не заслужил. Для теперешней единой книги, посильно отвечающей на этот вызов, мои *Подступы* переделаны вдоль и поперёк: то, что раньше я, преодолевая немоту, успел лишь наметить, здесь развёрнуто, появились и новые догадки. Своим строением книга обязана *Доказательствам и опровержениям* Имре Лакатоша и *Логико-философскому трактату* Витгенштейна и непреднамеренно похожа на *Бесконечный туник* Дмитрия Галковского.

*(Вардан Айрапетян. Толкуя слово.
Опыт герменевтики по-русски, М., 2001)*

Вера — это ожидание истины.

Социальная закономерность.

Жизнь — это школа со своеобразным расписанием: главные уроки в ней даются во время перемен.

Для переплёта своих идей используй свою собственную шкуру!

Вегетарианцы! Перестаньте терроризировать растительный мир!

Не человекохульствуй!

Есть сорт атеистов, боги которых ещё не родились.

Я — молодой, красивый, талантливый. Параллельно в этом виден только мне.

Плох рядовой, который не хочет стать маргиналом.

Прямой путь к смерти может состоять из одних крутых поворотов.

Он любит её. Она любит другого. В нём. Треугольник с двумя углами. Также трагедия.

Решившись на самоубийство, определитесь, какой именно жизни вы собираетесь себя лишить и в пользу кого.

(Андрей Коряковцев.

Как покончить жизнь самоубийством, не причинив вреда себе и окружающим? 1996)

→ 12 декабря: Коряковцев, 2

Желанье прекрасной жизни

Каждая эпоха жаждет некоего более прекрасного мира. Чем глубже отчаяние и разочарование в неурядицах настоящего, тем сокривеннее такая жажда. На исходе Средневековья основной тон жизни — горькая тоска и усталость. Мотив бодрой радости бытия и веры в силу, способную к высоким свершениям, — как он звучит в истории Ренессанса и Просвещения, — едва ли заметен в сфере франко-бургундской культуры XV в. Но было ли это общество несчастнее любого другого? Иногда этому можно поверить. Где бы ни искать свидетельств об этом времени: у историографов и поэтов, в проповедях и богословских трактатах и, разумеется, в документах, — мы повсюду сталкиваемся с напоминанием о распрях, ненависти и зло-

бе, алчности, дикости и нищете. Возникает вопрос: неужели эта эпоха не знала радостей, помимо тех, которые она черпала в жестокости, высокомерии и неумеренности; неужели не существовало где-либо кроткого веселья и спокойной, счастливой жизни? Вообще говоря, всякое время оставляет после себя гораздо больше следов страданий, чем счастья. Бедствия — вот из чего творится история. И всё же какая-то безотчётная убеждённость говорит нам, что счастливая жизнь, весёлая радость и сладостный покой, выпавшие на долю одной эпохи, в итоге не слишком отличаются от всего того, что происходит в любое другое время. Но сияние счастья, радовавшее людей позднего Средневековья, исчезло не полностью: оно всё ещё живо в народных песнях, в музыке, в тихих далях пейзажей и в строгих чертах портретов.

Однако в XV в. восхваление жизни, прославление окружающего мира ещё не превратилось в обычай, ещё не стало хорошим тоном, если можно так выразиться. Тот, кто внимательно следил за повседневным ходом вещей и затем выносил жизни свой приговор, отмечал обыкновенно лишь печаль и отчаянье. Он видел, как время устремлялось к концу и всё земное близилось к гибели. Оптимизм, возраставший со времён Ренессанса, чтобы достичь своей высшей точки в XVIII столетии, был ещё чужд французскому духу XV в.

Так кто же всё-таки те, кто первыми с надеждой и удовлетворением говорят о своей эпохе? Не поэты и, уж конечно, не религиозные мыслители, не государственные деятели — но учёные, гуманисты. Ликование, вызванное заново открытой античной мудростью, — вот что представляет собой та радость, которую им даёт настоящее; всё это — чисто интеллектуальный триумф!

(Йохан Хёйзинга. Осень Средневековья)

Сгорая, спирт похож на пионерку,
которая волнуется, когда
перед костром, сгорая от стыда,
завязывает галстук на примерку.
Сгорая, спирт напоминает речь
глухонемых, когда перед постелью
их разговор становится пастелью
и кончится, когда придётся лечь.
Сгорая, спирт напоминает воду.
Сгорая, речь напоминает спирт.
Как вбитый гвоздь, её создатель спит,
заподлицо вколоченный в свободу.

(Александр Ерёмченко)

ОКТАБРЬ

25

четверг

Моим информатором по бурятским верованиям был один из моих бывших слушателей, университетски образованный бурят, А. Н. Михайлов, постоянно живущий среди своего народа и, как это ни странно, искренно симпатизирующий шаманству, наследственно предрасположенный к шаманской психике, сам совершавший шаманские действия. В результате моих долгих бесед с ним им составлена обширная монография о верованиях и шаманстве бурят, которая ждёт своего опубликования.

Вот в кратких чертах то, что сообщает Михайлов по интересующему нас вопросу.

Бурятский шаман обыкновенно получает своё признание в силу наследственности от предка шамана, который из своего рода избирает более способных сородичей, берёт их души к себе на небо и там обучает шаманскому искусству, знакомя со всем обиходом обширного небесного царства и его повелителей. По дороге на небо души молодых шаманов останавливаются у бога среднего мира *Техашара Мацкала*, жёлтого козла, бога пляски, плодовитости и богатства, сожительствующего с девятью дочерьми Солбони,

ОКТАБРЬ

26

пятница

бога утренней зари. Это специальное шаманское божество; обыкновенные смертные хотя и упоминают его имя в своих призываниях, но жертвоприношений особых ему принести не могут, таковое предоставлено одному только шаману в связи с его шаманским призыванием. Так вот у этого специального фривольного бога шаманства, по свидетельству Михайлова, душа юного шамана проводит в амурных развлечениях с божественными девицами, и, в частности, ему предоставлена полная свобода пользоваться ласками девяти жён самого хозяина «среднего мира». Здесь он приобретает первые симпатии и завязывает узы любви с женскими представительницами мира богов. После этого его душа отправляется на небо для усвоения техники своей профессии, и после долгой и тяжёлой тренировки, когда душа шамана считается уже вполне приготовленной, он достигает состояния так называемого амдаха, что буквально значит — *открытие рта*, когда он начинает обнаруживать свою способность к шаманству. В этот-то период перелома, проявляющегося в чрезвычайной нервной возбудимости, припадочности, лихорадочной жажде веселья, плясок, шаманской активности и т. д., душа шамана встречает на небе невесту, свою будущую жену, с которой он, как и с другими небесными девицами, вступает в половую связь. Затем, после двух-трёх лет совершенствования в шаманской науке под руководством старых шаманов, наступает самый важный момент в жизни шамана, момент, с которого начинается подлинное шаманское служение.

Это грандиозное торжество, которое совершается при огромном стечении народа, сопровождается многочисленными жертвоприношениями, шаманскими призываниями и торжественным восхождением шамана по специально установленным священным деревьям на небо и заканчивается общим трёхдневным разгульным пиршеством. Оно неоднократно описывалось под русифицированным названием «посвящения» как акт публичного признания права

на шаманство. Истинный смысл этого торжества выясняется из следующих двух моментов.

Первый момент. За три дня до посвящения будущий шаман объезжает все улусы, где живут члены его рода, и собирает подарки, состоящие из шелковых хадаков сакральных цветов (белого, синего, жёлтого и красного), шкурок горностая, колонков, козлят и, наконец, колокольчиков. Эти дары, которые будут фигурировать на празднике, служат *калымом, вносимым шаманом за небесную жену*, с которой он сочетается во время торжества. Сородичи его принимают в этом участие согласно обычному не у одних только бурят правилу, по которому все сородичи вносят свою долю при покупке жены кем-либо из их среды и делятся получаемым от чужого рода калымом за женщину их рода.

Второй момент. Центральную роль в церемонии играет священное, так называемое шаманское дерево, на которое шаман всходит по пути на небо во время «посвящения». Дерево это соединено шнуром, скрученным из красного и синего шёлка, символизирующим пуповину и матку, с другим, вторым по важности деревом, так называемым «дугуин модон», вкапываемым в самой юрте у западного столба и выходящим в дымовое отверстие. Под корень этого последнего кладут гнездо из конских волос и зёрен для того, чтобы «оно имело столько подданных, сколько зёрен в гнезде». Такое дерево в том же месте обычно ставят в юрте новобрачных, кладя на него куски зелёного сукна, которыми украшают постели новобрачных. «Дерево это, — как выражается Михайлов, — по-видимому, представляет жизнь небесной жены шамана, а шнур, проведённый от него к шаманскому дереву — эмблема соединения в браке с этой последней».

В заключение своего подробного описания ритуала Михайлов говорит: «По воззрению бурят, ритуал этот не обыкновенное общественное жертвоприношение, а *свадьба шамана*, сочетание его с небесной невестой, которая найдена

была им уже там, на небе, во время амдаха, так что каждый шаман имеет двух жён: одну на небе, а другую на земле. Если будет зачатие от небесной жены, то остаётся бесплодной земная, и наоборот. Если посвящённый шаман ещё молод, то плохо будет его будущей жене, которая скоро может умереть от преследований небесной жены. Довольно часто в шамана вселяется небесная жена и его устами рассказывает, как она сочеталась с ним и кому на небе поклоны делала во время свадебного обряда...»

Все жертвоприношения во время «посвящения» идут на небо, причём в среднем же мире упомянутому божеству шаманства уделяется принесённый ему в жертву козёл с подбавляющим количеством тарасуна. Подобно тому, как на земле жених привозит почётные части мяса и вино родным невесты и её сородичам, так и душа шамана привозит дары небесным божествам, сородичам своей небесной жены.

Соответственно смыслу ритуала «посвящения» как свадьбы шамана, буряты называют этот ритуал надан-игрище, боји наир — шаманское пиршество. Действительно, пока идёт обряд «посвящения», происходит, как на свадьбах вообще, сплошное гульбище, пьянство, пляс, песни мужчин и женщин во всех юртах. Центром веселья служит сам шаман, который играет на бубне, призывая духов медведя и козла, божество пляски и пения, заставляя молодежь петь и плясать и угощая их водкой. И так продолжается три дня. После жертвоприношения козлом богу «среднего мира» как божеству плодородия и богатства, это последнее входит в него, знаменуя это козлиным бляением — момент, по-видимому, приобщения новобрачного шамана к силе плодovitости козлиного бога... силе, необходимей ему в момент вступления в брак с небесной женой. Словом, перед нами подлинный обряд свадьбы. Здесь ясно видно, какую громадную роль в избранничестве шамана играет сексуальная связь его с духом-покровителем.

(Лев Штернберг. Избранничество в религии)

Был оркестр в ударе, в ударе,
Трубы сильные всё переврали.
Полонез или вальс — ни черта не пойму
И не помню, в каком это было году —
Мы встречались в Летнем саду.

Помнишь, как до утра говорили
В коммунальной весёлой квартире.
Дружно хором мы что-то ругали,
Что за что ты припомнишь едва ли.

Мы смеялись, а листья летели,
Наводнёньем Фонтанка грозилась.
Ах, как много от нас ожидали,
И, увы, ничего не случилось.

Там другие живут, там другие уже
На втором этаже, на втором этаже.
Те же вина там пьют, те же песни поют,
Но тебя и меня там, конечно, не ждут.

Полонез или вальс — ни черта не пойму
И не помню, в каком это было году —
Мы встречались в Летнем саду.

(Лариса Неделева)

500 блюд для северян

Яйца варёные

Яйца варить различной степени готовности: всмятку (3 минуты), в мешочке (4–5 минут), вкрутую (8–10 минут).

Салат из редиса

Редис нарезать кружочками, соединить с шинкованным зелёным луком. Перед подачей к столу заправить сметаной.

ОКТАБРЬ

27

суббота

ОКТАБРЬ

28

воскресенье

Салат из моркови

Сырую морковь вымыть в холодной воде, очистить, натереть на терке. Разложить на порции, полить сметаной и посыпать сахарным песком.

Манная каша молочная

В кипящее молоко добавить соль, сахар и засыпать тонкой струйкой манную крупу, непрерывно помешивая, чтобы не образовались комки. Когда каша делается густой, варить её, помешивая, 5–10 минут при слабом кипении.

Кабачки в сметане

Нарезать кабачки тонкими кружочками, посолить, поджарить на сковороде в сливочном масле с обеих сторон, залить сметаной, дать прокипеть и подавать горячими.

(500 блюд для северян, Магадан, 1989)

→ 16 декабря: 500 блюд для северян, 2

→ 4 июня: Архипелаг ГУЛАГ

...Просыпаюсь я в четыре утра, и не потому, что закусили комары, как обычно, а потому, что в гостиной моей происходит нечто странное. Протираю очи и вижу, что по гостиной моей ходит некий молодой гражданин, лет за двадцать, белый, с усами, коротко подстриженный и явный гомосексуалист. Свет я забыл выключить. Ну, думаю, сплю. Однако нет: открыл глаза снова, а он всё ходит и, главное, не обращает на меня ровно никакого внимания, как будто меня там и нет. Ну, я говорю: здорово, Вася. Он отвечает: здорово — и дальше ходит. Тогда, чтобы выиграть время, я спрашиваю так с зевотой и полным дружелюбием, а который час. Он чего-то буркнул и дальше ходит. Ну что бы вы делали на моём месте; как всякий хороший хозяин, я тогда радушно так спрашиваю гостя, не хочет ли он поддать, он говорит, что не против. Ладно, надеваю я на себя простынку, потому что штаны

перед сном куда-то задевал, иду в холодильник и спокойно так наливаю ему стакан красного. Он берёт, спасибо не говорит, и глаза у него стеклянные-стеклянные, так что, видимо, он перед этим как раз обширялся чем-то вроде героина, и вот садится он в моё кресло, но слов опять не говорит, а даже начинает отключаться. Тут я кинулся к двери, выглянул, что на лестнице нет его сообщников, а потом ухватил найденную на помойке железную палку, которую держу как раз для таких случаев, ибо пистолет в Нью-Йорке легально купить практически невозможно, а нелегально мне пока не с руки. И уже более твёрдо спрашиваю, что же он у меня в гостиной делает. А он никакого внимания не обращает ни на палку, ни на меня, ни даже на стакан, а отключается совсем и даже начинает храпеть. И вот сижу я с ним рядышком, палка на коленках, и не знаю, что делать. А он себе, значит, отдыхает. Взял я тогда у него стакан, сам выпил, чтобы не пропало, отомкнул снова дверь и вышел на угол позвонить полицейскому по номеру 911. Полицейский был весьма по телефону неласков и никак не мог поверить, что всё это на самом деле происходит, однако обещал, что сейчас приедут. И вот стою я на углу, на мне одни штаны, которые я-таки отыскал, а в руках железная палка. Через пять минут подкатывает разноцветная машина, я рукой ей машу, вылезают голубые ребята с дубинками, и мы идём ко мне наверх, я думаю, какой позор, если парня этого у меня в кресле не окажется, однако он был, где ему положено — всё там же у меня в гостиной; чёрный? спрашивают менты, я говорю: белый; странно, а как он сюда попал? я говорю, наверное, дверь забыл запереть, вот он и забрёл, и они начали будить его так ласково, дубинками по коленкам, он открывает глаза свои стеклянные и ничего не говорит, и никак не реагирует; они его обшмонали, тут ещё машина подкатила, и ещё полицейские — работают, ничего не скажешь, быстро и резво; книжки мои рассматривают: из какой библиотеки украл, якобы шутя спрашивают, потому что тут несколько поймали таких, у кого дома по несколько десятков тысяч томов, а этого на лестницу вытащили, и слышу: как ты сюда, сука-пала, попал, ты где, пидорас, живёшь, отвечай, курва, и так далее, по телику такие методы не показывают, а если показывают, то в воспитательных целях. Откуда у тебя такая фамилия, спрашивают, я отвечаю откуда, а что у вас в России такое бывает, я говорю: реже; да, гово-

рят, у вас такие блядуги просто исчезают в Сибири, и всё — и с этими словами хорошо информированные работники охраны общественного порядка увели нарушителя моего спокойствия, а я пошёл в изумлении спать. Но это — не первая шутка, которая произошла со мной за этот первый месяц жизни в настоящем городе.

<октябрь 1977>

(Владимир Козловский, Письма из Америки // Часы, № 24, 1980)

→ 6 декабря: Козловский, 2

ОКТЯБРЬ

30

вторник

Чтобы понять поведение русского правительства, нужно принять во внимание, что Россия — страна-должник. Реакционеры уверяют, что русская конституция родилась по настоянию евреев или в результате их происков; во всяком случае без них тут не обошлось. Это так и есть. Хотя, разумеется, «злодеями» оказались униженные поселенцы российских гетто, но отчасти в происшедшем «виноваты» и их титулованные родичи из мира высших финансов Берлина и Парижа, в руках которых был контроль над курсом русских государственных бумаг.

Манифест 17 (30) октября 1905 года должен был принести успокоение. Но этого не произошло. Курс ценных бумаг опять упал. Кровавая трагикомедия в Москве, напротив, привела к повышению курса: обладатели русских ценных бумаг тоже хотели «порядка», и граф Витте обронил двусмысленные слова, что, дескать, император может «взять назад» свои обещания. Но этот «пробный шар» не встретил радушного приёма. В начале и в середине января газета «Новое время» день за днём телеграфировала из Лондона, что в банковских кругах русский кредит будет устойчив только в том случае, если Россия перейдёт к «конституционному» правлению.

Были и другие признаки. Страстные речи депутации «русских людей» в защиту векового старого порядка привели

ли, было, в движение жидкую кровь Николая. В несколько фантастических выражениях он заверил депутацию, что «скоро, скоро свет правды вновь забрезжит над русской землёй» и т.п. Полная радостного восторга депутация передала эти слова в газеты на радость и утешение всех «истинно русских» людей. Но вскоре последовало официальное извещение, что депутации придётся отвечать перед судом за несанкционированное разглашение сведений, касающихся Двора. Замечания Витте, что такая романтика неуместна, когда пуст кошелёк, было достаточно, чтобы поднявшая слишком рано голову «Божья благодать» вновь сникла перед безразличной, но неумолимой силой денежного рынка.

Сразу же многое изменилось. Сочли нужным официально опровергнуть, что в еврейских погромах поздней осенью и зимой принимала участие полиция. Но этого оказалось мало. К Пасхе нужно было разместить новый крупный заём, и понадобилось драконовским методом возложить на местных чиновников ответственность за предотвращение погромов. Эта мера помогла, и погромов не было. Наконец, писатели вроде Горького, которых хорошо знают за границей и преследование которых могло вызвать неудовольствие на Западе, оказались в значительно лучших условиях.

Так правительству в силу финансовых обстоятельств пришлось во внутренней политике руководствоваться «двойной меркой». Царь *никогда* всерьёз не думал превратить Россию в «правовое» государство, или, как было несколько наивно сказано в Манифесте, обеспечить «действительные» гарантии личной свободы. О подлинных намерениях царя говорит многое.

Во-первых, это хорошо согласуется с интересами властвующей полицейской бюрократии старого стиля. Кроме того, государство, проводя безжалостные репрессии, может убедить биржу, что оно достаточно «сильно».

Но, с другой стороны, бесконечные и безуспешные поездки финансовых чиновников за границу явно имели

цель убедить банкиров, что Дума действительно выбрана и созвана; только в этом случае можно было думать о размещении солидного займа.

Итак, было необходимо во имя обещаний 17 октября разработать проект конституции настолько, чтобы у зарубежной публики, мнение которой учитывали банкиры, по крайней мере возникло бы впечатление, что в России есть «конституционные» гарантии. Для этого нужно было попытаться примирить собственную «буржуазию» с интересами правительства; найти и привести к победе партии, на которые можно было бы опереться в Думе. Но это было не так просто.

Потому что хотя среди самой бюрократии, вплоть до Государственного совета и министерств, а также в армии среди нижних и даже высших чинов находились убежденные сторонники либеральной перестройки государственной системы, опыт демагогического правительства Плеве породил недовольство и недоверие в «буржуазных» кругах. Оставалось лишь надеяться, — и на этом стоял Витте, — что «красная» угроза всеобщей забастовки, восстаний и крестьянской войны поможет устранить все сомнения.

Внутри бюрократии и армии, по крайней мере на верхних уровнях, надлежало постепенно отделить зёрна от плевел, после того, как позиции Царя утвердились. Уходили один за другим демократически настроенные министры. В правительстве господствовал министр внутренних дел Дурново. Большинство губернаторов проводило репрессии со спортивным азартом. Против некоторых местных чиновников было сперва возбуждено дело, но по настоянию министра внутренних дел оно оказалось прекращено; I Департамент Сената счёл, что действия этих чиновников «отвечали намерениям правительства». В России установился административный произвол, и страна фактически распалась на региональные сатрапии.

Положение Витте стало крайне двусмысленным. В результате компромисса между ним и Дурново он *формаль-*

но остался во главе Совета министров. Но как он однажды заметил, если всесильный Дурново захочет его (Витте) повесить, он может сделать это в любую минуту.

Реорганизация полиции, чистка среди работников почт, телеграфа и железных дорог при одновременном весьма значительном увеличении жалования были первыми шагами вновь обретшей силу бюрократии.

Попытки подавить терроризм не удались, но и террористические акты не смягчили власть и не заставили её отказаться от практики насилия; в результате ситуация выродилась в хроническую гражданскую войну, принявшую самые худшие формы — гибли прежде всего невинные люди. Только после выборов, когда впереди забрезжила возможность займа и когда в тюрьмах обнаружилась нехватка места, начали выпускать массами на свободу людей, которых держали в заключении по 4–5 месяцев *без предъявления обвинения*. Этим хотели произвести хорошее впечатление.

Продолжались попытки создать за границей впечатление, что Манифест 17 октября проводится в жизнь; при этом, конечно, старались не поставить под угрозу реальную власть бюрократии.

(Макс Вебер. Переход России к псевдоконституционализму // Синтаксис, № 27, 1990)

Круг (фуга)

Всё уже круг. Живу я посредине.
Утроба, как урочище, урчит.
Уже хожу я в жиденькой редине,
а шуба дыбом всё ещё торчит.
И в пасти доля чёртова горчит.

Всё уже круг. Блюю на славу жёлчью,
мотаю на кулак себе кишки.

Я чувствую годов облаву волчью,
и дразнятся багровые флажки.
Всё уже круг. Он тесен, как силок,
и всё равно меня осилит.
(Последний зуб точу об оселок,
за горло схвачен и пробит навывлет.)

На «вы» ли тут пойдёшь? Или на «ты»?
Её встречая — Боже мой! — всё ту же.
И от бесстыжей человеческой стужи
в глазах такая уйма темноты!

А круг всё туже, туже, туже!
Всё уже круг. Он тесен, как закон,
и ни о ком знакомом не радеет.
Звериным пустяком я взят в загон.
Надежда, как одежда, всё редееет.

Всё уже круг (мой ненасытный друг),
и к ужасу, пожалуй, он приучит,
пока на сотнях престарелых рук
верёвку сучка-парка сучит.

Сучи иль не сучи, хоть вейся, хоть не вейся,
а быть концу. Гляди во все очки!
Живи, живи (и по ветру развейся!).
А красные флажки всё кажут язычки!
Пошли боры, бурьяны и яруги
навыворот. (Не вырваться лисе!)
Но как велик бирюк, когда в огромном круге
вращаюсь я, как белка в колесе!
И для чего, зачем-то что-то для
и ласково меня мантуля,
воркует время, как слепая гуля,
когда само — лишь тлен и мировая тля?

Всё уже круг, как верная петля,
и в сердце входит медленная пуля.

(Сергей Петров, 1971)

НОЯБРЬ

Добрый напёрсточник

Добрый напёрсточник в новогоднюю ночь решил вернуть обманутым им согражданам часть своих бесчестных выигрышей, используя для этого обычное орудие производства: три пластмассовых стаканчика. Под стаканчиками у него лежат копейка, копейка и золотой червонец.

Игра заключается в том, что прохожий показывает на один из стаканчиков, не переворачивая его, в надежде выиграть червонец. После чего напёрсточник (который отлично знает, что где у него лежит) открывает один из двух оставшихся стаканчиков (не тот, что указал прохожий) с копейкой.

Теперь прохожий может либо перевернуть указанный им стаканчик и забрать выигрыш (копейку или червонец), а может поменять выбор и перевернуть третий стаканчик.

Вопрос: Какова выигрышная стратегия прохожего?

Ответ № 1 (неправильный): Оставить всё как есть, сославшись на равную вероятность ($1/2$) попадания червонца под любой из двух оставшихся стаканчиков.

Ответ № 2 (правильный): Немедленно поменять указанный им стаканчик на третий.

Объяснение: Поименуем стаканчики А, В и С и предположим, что прохожий собирается перевернуть стаканчик А, справедливо оценивая вероятность выигрыша червон-

НОЯБРЬ

1

четверг

ца в $1/3$. С той же вероятностью $1/3$ червонец может находиться под В и С.

Поступает новая информация: добрый напёрсточник переворачивает стаканчик В, под которым оказывается копейка.

Должен ли теперь прохожий изменить свой выбор?

Рассмотрим две возможности:

1) под выбранным прохожим стаканчиком А лежит червонец (в этом случае напёрсточник может перевернуть любой из оставшихся стаканчиков и вероятность того, что он перевернёт именно В, равна половине),

2) под стаканчиком А лежит копейка — в этом случае у напёрсточника выбора уже нет, он с вероятностью единица перевернёт только один из напёрстков В и С — тот, под которым тоже лежит копейка. Следовательно, вероятность того, что червонец лежит под стаканчиком С в два раза выше того, что червонец лежит под стаканчиком А. То есть вероятность нахождения червонца под А по-прежнему равна $1/3$, а вот вероятность его нахождения под С теперь равна $2/3$. Следовательно, прохожий должен изменить выбор и перевернуть С, его шанс выиграть червонец возрастёт вдвое.

(Слышал от Александры Александровны)

Ящеркин Евгений Лукич, 1864–1899.

Известный педагог,

автор системы «сознательного инфантилизма».

Евгений Лукич Ящеркин родился в г. Арзамасе Нижегородской губ. в семье мещанина, имевшего соляной лабаз на городском рынке. По окончании городского училища Я. благодаря выдающимся способностям удалось успешно выдержать вступительный экзамен в Рязанский учительский институт, который он и окончил в 1885 г.

Педагогическая деятельность Я., сперва протекавшая в русле русской педагогической традиции, началась на должности учителя словесности и географии в Трубчевской мужской гимназии (г. Трубчевск, Орловской губ.). Ни в образе жизни, ни в воспитательных методах Я. ничто ещё не давало оснований усмотреть в молодом учителе будущего теоретика и практика одной из оригинальнейших педагогических доктрин.

<...>

Та поражающая своей простотой идея, которая лежит в основе теории сознательного инфантилизма, осенила её автора внезапно, как своего рода озарение. Очевидно, как у многих одарённых натур, запас жизненных наблюдений, исподволь накапливавшихся где-то в подсознательной сфере ума скромного труженика на ниве народного просвещения, под влиянием неизвестного нам толчка вдруг озарился ярким светом, явив изумлённому разуму картину мировой жизни в новых соотношениях и закономерностях.

«Если мы хотим сделать человечество счастливым и гармоничным, — пишет Я. в своём основном труде «Стань ребёнком», — мы должны прежде всего правильно воздействовать на неокрепшую и податливую психику ребёнка. Если мы хотим на неё правильно воздействовать, мы должны понять её. Если мы хотим понять её глубоко и всесторонне, к этому нет лучшего пути, как уподобиться детям. Если же мы хотим уподобиться детям, то мы должны весь наш быт, наш душевный и житейский обиход построить так, чтобы воспринимать явления как дети, поступать как дети, рассуждать как дети. Только тогда преграда между нами и душою подростка или ребёнка — это проклятие всякого педагога — падёт; как бы перевоплощаясь в воспитуемого, мы получим такие возможности воздействовать на него, какие и не снились закоснелым воспитателям прошлого и настоящего».

Стройная логичность посылок и выводов, кристаллическая ясность изложения, неотразимая убедительность

основной мысли делают это небольшое по объёму (всего 82 с.) произведение одним из драгоценнейших вкладов в сокровищницу русской педагогической литературы. Впервые уяснилась самому Я. эта идея весной 1894 г. и, как видно из дальнейших фактов его биографии, сразу захватила его с такой силой, что летние каникулы он целиком посвятил обдумыванию педагогической методики, равно как и проверки её экспериментальным путём. Глубоко честный и добросовестный по природе, наш мыслитель не мог успокоиться до тех пор, пока идея не получила безусловного подтверждения на путях строго научного опыта.

Первый эксперимент этого рода был произведён исследователем ещё в мае, в конце учебного года. Исходя из своей концепции перевоплощения педагога в ребёнка, Я. заключил, что ничто не даёт столь надёжного ключа к пониманию души ребёнка или подростка, как повторение педагогом тех невинных шалостей и весёлых затей, которые свойственны непосредственному и жизнеутверждающему мироощущению этого возраста. Однажды, собираясь после окончания уроков покинуть здание гимназии, Я. обнаружил, что его калоши прибиты гвоздями к полу. Эта довольно обычная, хотя и дерзкая, проделка школьной детворы, во всяком другом способная вызвать лишь раздражение, натолкнула вдумчивого наблюдателя на оригинальный эксперимент. На другой день, запасшись молотком и гвоздями, Я. с замирающим сердцем занял пост в тёмном углу учительского гардероба, ожидая подходящего мгновенья. Когда все преподаватели разошлись по классам, экспериментатор с чисто отроческим проворством не замедлил прибить к полу четыре пары калош. Но стук молотка привлёк внимание гимназического служащего; Я. пришлось пренебречь последней парой резиновой обуви, так и не получившей повреждений, и, спрятавшись в ретираде, наблюдать оттуда сквозь щёлку за растерянно-

стью отставного унтер-офицера, тщетно пытавшегося об-
наружить нарушителя порядка.

<...>

Окончание учебного года заставило Я. перенести свои
опыты из стен гимназического здания в жизненную сфе-
ру трубчевских обывателей.

<...>

Сведя знакомство с окрестными мальчишками, в числе
которых было и два гимназиста, он проводил каникулы сре-
ди детворы, разделяя все её забавы и всё глубже проникая
в неисследованные пласты детской психологии. Рыбная
ловля, хождение за грибами и ягодами, ловля раков, игра
в бабки, купанье в речке — всё было испробовано и изуче-
но, и Я. чувствовал, как молодеет его дух, как бы возвраща-
ясь к девственной поре своего существования. Дети, снача-
ла никакого удовольствия от проникновенья взрослого, да
и к тому же учителя, в их жизнь не испытывавшие, посте-
пенно прониклись к Я. доверием. Он убедился, что ничто
в такой мере не способствует крепкой спайке и установле-
нию дружеских привязанностей, как совместные шалости
с их круговой порукой.

Известно, что мальчик, для которого не таилось бы ост-
рых наслаждений в набегах на чужие сады за зелёными яб-
локами, — лицо абстрактное, мифическое, выдуманное мо-
рализирующими наставниками, ничего не понимающими
в детской душе. Разумеется, и в Трубчевске набеги эти со-
вершались постоянно, но Я. всё-таки не решался принять
в них участие из опасения, что кто-нибудь из малолетних
может разоблачить тайну. Но потребность изведать и это
детское переживание была столь велика, что наш исследо-
ватель решился предпринять набег на яблоки в одиноче-
стве. В безлунную ночь прокрался он к забору, опоясывав-
шему плодовый сад купца Гамова, и, царапаясь о гвозди,
которыми был утыкан конёк забора, кое-как перевалился
в сад. Эксперимент удался как нельзя лучше: все пережива-

ния, которые так страстно хотелось испытать отважному мыслителю, были испытаны — и не шутя, а всерьёз: он крался по росистой траве среди яблонь, он карабкался на деревья, он настораживался от шума трясомых веток и падающих яблок, он замирал от поднявшегося во дворе лая и топота бегущих ног, он срывался с дерева и опрометью бежал к забору, чуть не выкалывая себе глаза встречными ветками, он ухватывался за верхнее прясло и судорожно подтягивал туловище, он уже перекидывал на ту сторону одну ногу — и чувствовал, как преследователи ухватываются за другую. С торжеством, с чувством освобождения от величайшей опасности он пережил то мгновение, когда в руках преследователей остался только его левый сапог, и, возбуждённо дыша, помчался по улице, в темноте оступаясь с дощатых тротуаров и попадая разутой ногой в лужи. Упоительно прекрасен был и завершающий момент опыта, когда в безопасности, уже в своей комнате, психоиспытатель мог предаться чисто детской весёлости, вспоминая пережитое и убеждая себя в прелестном вкусе яблок, таких кислых, что начинали ныть зубы и сводило скулы.

К началу учебного года Я., по свидетельству трубчевских старожилов, изменился так заметно, что это не могло укрыться от взора директора гимназии. Возбуждённое, всегда приподнятое настроение, безразличное отношение к своему костюму, загадочная улыбка, постоянно блуждавшая на его устах, неожиданный и беспричинный хохот — всё это заставило директора гимназии повнимательнее присмотреться к педагогу, позволявшему, как это казалось другим учителям, «что-то слишком уж фамильярное отношение к себе» со стороны гимназистов. Однако то, что могло показаться со стороны фамильярностью, в действительности было новым типом отношений: активное вживание в детскую психику и практика сознательного инфантилизма привели к исчезновению всех естественных границ между воспитателем и воспитуемым, в то же время сделав

Я. в глазах подрастающего поколения высшим авторитетом по части всевозможных затей.

В нашей художественной литературе не раз отмечалось уже, что романтическая мечта о бегстве в Америку, издавна знакомая русским школьникам, в конце прошлого века приобрела особую остроту. Естественно поэтому, что вскоре Я. обнаружил существование проекта такого рода среди своих учеников и не замедлил придать ему ту художественную законченность, которая отмечает все начинания нашего исследователя. Во всяком случае, без участия взрослого человека вряд ли удалось бы юным конквистадорам убежать дальше ближайшей железнодорожной станции. Следовательно, тот факт, что обнаружение и поимка беглецов состоялись только уже на Берлинском вокзале в Варшаве, неоспоримо доказывает вдохновляющую роль и творческое воздействие Я. Так или иначе, 35-летний мыслитель и два гимназиста IV класса после четырёхдневного преследования были задержаны и доставлены в г. Орёл. Это прискорбное сообщение, заставившее Я. немедленно подать в отставку, совпало с выходом в свет издания Орловского книжного магазина Волкова знаменитого исследования «Стань ребёнком», где с обезоруживающей искренностью изложены не только заветные идеи автора, но и открытая им методика, опирающаяся на ряд подробно описанных экспериментов, лишь малая доля которых была упомянута нами здесь...

(Новейший Плутарх)

Взлётная полоса

Здесь самолёт зашит в стремительное ложе
Пурпурной полосы — кривой подземных сил.
Он как модель шмеля сам на себя помножен,
Застёгнут в небесах, взвинтивших свой накал.

Ещё ревёт мотор, скупой как стая свиста,
И ты бредёшь на пляж с челном наперевес.
Ослепнув от зари и ошалев от роста,
И птичья кровь в тебе угадывает вес.

Ты горек и смешон, и праведен и ложен,
Раскосый как Китай выходишь на шоссе.
Как стая облаков в своём прозрачном ложе
Ты будешь почивать на лётной полосе.

Солёный небосвод в зрачке слепящем выжжен.
Ты жарок как укол и холоден как яд.
И вся земля как тень становится на лыжи,
Вдыхает рост и вес и движется вперёд.

(Юлия Кисина // Часы, № 70, 1987)

Во множестве ритуалов жертвоприношение предстаёт в двух противоположных аспектах: то как «весьма святое дело», уклониться от которого было бы серьёзным прегрешением, то, наоборот, как своего рода преступление, совершить которое — значит подвергнуться столь же серьёзной угрозе.

Чтобы объяснить эти два облика ритуального жертвоприношения — законный и незаконный, публичный и чуть ли не потаённый, — Юбер и Мосс в «Очерке о природе и функции жертвоприношения» ссылаются на священный характер жертвы. Убивать жертву преступно, поскольку она священна... но жертва не будет священной, если её не убить. Перед нами круг, которому несколько позже присвоят и сохранят до наших дней звонкое имя — *амбивалентность*. Сколь бы убедительным и даже впечатляющим ни казался нам до сих пор этот термин, — после того как им столько злоупотребляли в XX веке, настало, видимо, время признать, что сам по себе он ни на что не

проливает света, не даёт подлинного объяснения. Он лишь указывает на проблему, которая ещё ждёт решения.

Если жертвоприношение предстаёт как преступное насилие, то, с другой стороны, нет и такого насилия, которое нельзя было бы описать в категориях жертвоприношения, — например, в греческой трагедии. Нам скажут, что поэт набрасывает поэтический покров на довольно гнусные вещи. Разумеется, — однако жертвоприношение и убийство не поддавались бы этой игре замещений, если бы не состояли в родстве. Перед нами факт настолько очевидный, что подчеркивать его почти смешно — и тем не менее приходится, поскольку в сфере жертвоприношения очевидности утратили силу.

Как только было решено видеть в жертвоприношении институт «главным образом» (или даже «исключительно») символический, стало можно говорить о нём практически что угодно. Этот предмет на редкость подходит для определённого рода нереальных размышлений.

В жертвоприношении есть тайна. Наше любопытство усыпляют благоговейные формулы классического гуманизма, но при общении с самими античными авторами оно пробуждается. И в наши дни эта тайна столь же непроницаема, как прежде. В нынешнем к ней отношении даже трудно сказать, чего больше — рассеянности, безразличия или какой-то тайной осторожности.

<...>

Пережить насилие можно лишь постольку, поскольку ему предоставляют какой-то отводной путь, дают хоть чем-то утолить голод. В этом, возможно, один из смыслов истории про Каина и Авеля. Библия сообщает о каждом лишь по одной черте. Каин возделывает землю и приносит Богу плоды урожая. Авель пастух; он приносит в жертву первенцев своего стада. Один из двух братьев убивает другого — и это именно тот, у кого в распоряжении нет той уловки против насилия, которой является жертвоприноше-

ние животного. Это различие между жертвенным и нежертвенным культом фактически совпадает с решением Бога в пользу Авеля. Сказать, что Бог принял жертвоприношение Авеля и не принял приношение Каина, — значит пересказать на другом, религиозном, языке, что Каин убил своего брата, а Авель нет.

В Ветхом завете и в греческих мифах братья почти всегда — братья-враги. То насилие, которое они, словно приговорённые роком, обращают друг против друга, способно рассеяться, лишь обратившись на какую-то третью жертву, на жертву жертвоприношения. «Ревность», которую Каин испытывает по отношению к брату, — не что иное, как отсутствие этого отводного пути.

Согласно мусульманской традиции, именно того агнца, которого заклал Авель, Бог послал Аврааму, чтобы тот принёс его в жертву вместо своего сына Исаака. То самое животное, которое спасло первую человеческую жизнь, теперь спасает вторую. Тут мы имеем дело не с какими-то мистическими грезами, а с точной догадкой, которая касается функции жертвоприношения...

(Рене Жирар. Насилие и священное, М., 2010)

Природа выдёвывала из себя последние остатки прошедшей ночи, заквашивая и створаживая воздух в размытое подобие утра. Но эти дымящиеся сумерки скорее походили на дрянной грим, неумелую подделку под начало дня: небо заволоклось плотной пеленой туч, надёжно защитив землю от ярких солнечных лучей, запертых в зыбких анфиладах тумана и слишком ослабших к осени, чтобы иметь силы сопротивляться этому бессрочному аресту и раскрыть плотную серую материю. Земли достигали лишь блеклые отблески затупившихся лезвий, холодные отражения, а не тёплый солнечный свет.

Миновав заросший пожухлой травой и лопухами пустырь, бродяга пошёл мимо одичалых подгнивающих изб, крытых почерневшим шифером, тесных землебитных домиков с окнами, заколоченными серыми досками, мимо убогих прокопчённых строений из крошащегося кирпича, омшелых сараев, обваленных по низу земель, покрытой гнилыми очистками и отбросами, мимо гиблых садов, худых деревьев с никлыми, подметавшими болотистую почву ветвями, мимо заросших бурьяном и крапивой дворов, полных тишины, нарушаемой разве что доносившейся из хат утренней бранью, сдавленным кашлем да ещё плачем детей. В остальном же деревню заполняла тяжёлая, удручающая тишь, похожая на безмолвие безветренной и непроглядной ночи. Гнетущая, отупляющая скука была разлита повсюду, она окрашивала окрестности в ещё более невзрачные тона и, казалось, даже замедляла время. Любые намёки на жизнь воспринимались как сон — столь бесплодными, прозяблыми, сырыми казались эти опустошённые холодом и молчанием края.

Покосившиеся стены таили в себе неприязнь и подозрительность, у одной из накренившихся калиток, роняя из пасти пену и захлебываясь злостью, срывалась с цепи давившаяся собственным хрипом собака. Её кудлатый хвост конвульсивно дёргался с бешеной скоростью, и утихомирить сиплый лай смогли только недовольные окрики хозяина, вышедшего на крыльцо справить нужду. Он икнул, застанными серыми глазами бездумно проводил странного прохожего и, проворчав под нос неразборчивое ругательство, растворился в кружевной рвани пара, поднимавшегося с земли и смешивавшегося с туманом. Из соседнего заросшего паутиной окна на бродягу упал старушечий взгляд, в котором смешались отчаяние, желчь и равнодушие. Костлявый череп, приклеенный к помутнелому стеклу, напоминал бесцельно вырезанный из старой газеты чёрно-белый фотоснимок, истёртый, пошедший трещинами и пятнами,

собранный в морщинах пыль. Казалось, что лица этих людей, чьи взгляды понурились от скопившейся в глазах темноты, выцвели так же, как пропитанные влагой брёвна их жилищ, став столь же безжизненными, пропахшими сыростью и безысходной злобой. Их силуэты врубцовывались в смугло-серые стены и превращались в мерклые барельефы, утопавшие в волнах брёвен и полинявших балок, обвитых бахромой соломы. Бродяга и не замечал этих пыльных взглядов, вросших в пропитанные нескончаемыми дождями стены, и даже очертания домиков и изогнутых деревьев сливались для него в тусклую, теряющую очертания дымку — единую бледную массу, колышущуюся, как водоросли на дне мутного омуты.

Бродяга повернул за угол и вышел к небольшой суглинистой площади, по периметру которой располагались сколоченные из неотёсанных горбылей торговые лотки и прилавки. Он глядел под ноги, на буро-коричневую, хлюпающую под сапогами грязь, невзирая на морозящий дождь сохранившую запёкшиеся следы тележных колес и широких каблуков, кое-где виднелись даже очертания босых детских ног. Большинство следов, скорее всего, были вчерашними, хотя попадались и свежие ямки, возможно, их набурили первые торговки, которые уже толклись у прилавков, выставяя принесённые товары. Но бродяга не думал о природе появления этих следов, он смотрел на развороченную ботинками грязь, словно на причудливый сложный узор. В этом тормозящемся месиве он различал бесконечно вьющуюся, словно вырвавшуюся из тисков приросшего к земле сказочного клубка змеистую нить, которая кривилась излучиной Млечного пути. Эта линия, то и дело выныривавшая из пенящегося тумана, казалось, играла сама с собой, как ласточка, порхающая перед лодкой. Полупрозрачная лента рассекалась на тысячи таких же причудливых линий, распылённых лучеобразным центробежным движением, вен, пробиравав-

шихся сквозь тело земли, — прерывистых, нечётких полосок, скопища которых являли тайные знаки, обрывки, начатки странной завораживающей картины, высвечивавшей какое-то отброшенное, вытесненное знание. В ней одновременно виделись и древний ужас, и первозданный восторг бездонной глубины, в которую как витые лестницы опускалась путаница корней, питающих всё живое. Эти образы вычерпывались из тёмных колодцев прапамяти, из заплесневелых запасников времени, обнажая и гадостную грязь глубин, и неистовый свет разнужданной жизненности, и ужасающую первозданную бессмыслицу, и великое, непостижимое учение. Тысячи зашифрованных иероглифов пролетали перед глазами с такой скоростью, что даже самому рьяному угадчику было не поспеть за порханиями этой тайнописи. Но их скрытое слово сказывалось через иные предметы и образы — эти иероглифы цвета являлись свидетельством неведомой логики, языка, незнакомого реальности. И эти многоликие, не поддающиеся разгадке письма призывали лишь поспевать за проворством их бега. А ему только и хотелось, что мчать, спешить, падать и подниматься вместе с ними. Тонкие нити то заплетались в кружевные вереницы орифламм и безмятежно хохотали, то из безобидных и милых хоропроводов серебристой кудели превращались в тугие лески, угрожавшие с секунды на секунду врезаться в горло, то казались тоненькими бикфордовыми шнурами, способными в один миг взорвать реальность, а порой сворачивались в коконы ракушек, на крошечных панцирях которых он различал сплетение сотен похожих на закрытые глаза чешуек. И вот уже из гротов раковин выныривали причудливые серебристые рыбины, хлопая челюстями, они начинали сновать прямо под его ногами, а к их бокам были приклеены чьи-то навсегда закрытые глаза. Глаза тех, кто отказался смотреть, кто отверг дар быть зрячим. И тогда он тоже решил покрепче

сомкнуть веки, под которые начал просачиваться сумрачный дым. Стараясь идти на ощупь, он не открывал глаз, ему не хотелось, чтобы эти сумерки, разрыв глазную мякоть, проникли в его нутро ночными бабочками. Этот туман тоже принадлежал к мёртвому миру — той реальности, которую ни в коем случае не следовало допускать вовнутрь. Но, споткнувшись о какую-то доску, он понял свою ошибку, и, вспомнив о руках, решил лишь время от времени отгонять ладонями опасные сгустки дыма, а глаза оставил открытыми.

Между тем, торговки продолжали распаковывать свои мешки, доставая из них лоснящиеся банки с липким вареньем, покрытые пятнами облупившейся краски бидоны с молоком и клюквенным квасом, корзины с подпортившимися овощами, крыжовником, грушами. На бродягу эти понурые тетки смотрели без всякой приязни, словно приглядывались к нему — но, разумеется, не так, как присматриваются к покупателю, и даже не так, как смотрят на подозрительного прохожего, опасливо оберегая товары, — они бросали на него те брезгливые, полные мертвящего холода взгляды, которыми обычно одаживают больных проказой или колодников, словом — тех изгоев, от кого принято держаться на расстоянии. А их руки машинально продолжали раскладывать на сырых досках залежалые и дурно пахнущие луковицы, яблоки, зелень. Раз в месяц в деревню приходила грузовая машина, водитель которой оптом перепродавал бабам синева-тое мясо, несвежую рыбу, дрянную водку, макароны, соль, сахар и другой городской дефицит, сразу попадавший на прилавки рядом с овощами и фруктами. Все плоды были удивительно чахлыми и имели болезненный вид. Однако торговки, похоже, так не считали, они бережно рассортировывали на прилавках тухловатые яйца, подгнивающие, покрытые черной сыпью груши и худо-сочную позеленевшую воблу так, словно то были не

грязь, дохлятина и дряблые обглодки, а изысканные угощения. И эта старательность не была свидетельством хитрой расчетливости, нет, они правда вложили в свои творения всю душу, и их сложно было винить в том, что под этим мутно-пепельным небом, сквозь которое отродясь не просачивались здоровые, свежие оттенки, им не удалось вырастить ничего иного. Сорняков в их жалких огородах всегда было больше, чем посеянной зелени, тонкой и негодной, расстилавшейся по земле бесцветной, вялой, измочалившейся ботвой. Чахлые, изъеденные лишаями стебли садовых деревьев были скупы на урожай, тонкие прутья их веток с трудом удерживали даже скрутившиеся коричневым мусором листья, что уж говорить о плодах — большая часть яблок гнила и опала бесформенными ржавыми хлопьями в мокрую траву, привлекая внимание насекомых. И люди здесь жили под стать своей обречённой на невзгоды земле: измождённые и недружелюбные. Даже ругань этих торговков не была похожа на обычную разнузданную брань ушлых базарных баб, а таила в себе какую-то неведомую обречённость, ворчали они почти беззлобно, скорее — по привычке, как брюзжат старики. Издалека выглядевшие живыми, вблизи эти закутанные в платки женщины оказывались бледными, анемичными и бескостными, их кожа посерела, впитав в себя отрешённость дождя, не нуждавшегося ни в каких оттенках за исключением пепельного. Бродяга не мог различить ни одного лица — их черты словно были стёрты сумерками, все они текли монотонно, и размытые силуэты, медленно проплывая перед его глазами, ни на секунду не обретали ни малейшей отчетливости.

(Анатолий Рясков. Пустырь)

→ 23 декабря: Рясков, 3

НОЯБРЬ

6

вторник

Свою кровь я спрячу в реке,
из кожи нарежу листьев,
погремушек для ветра,
смешаю в карьере тело
с родной ему юрской глиной,
и останется то, что есть —
бесцветное пламя,
его не увидишь, не спрячешь.

(Вадим Назаров)

НОЯБРЬ

7

среда

В ряду чудачков, любивших смотреть похоронные процессии и слышать надгробный плач и вопли над покойником, и это каждодневно, был известен очень богатый помещик Лев, очень образованный и чрезвычайно приличный старичок, весьма приветливый и любезный. Он ездил на все похороны, о каких случалось только ему узнать: богатые или бедные — это всё равно. Он входил в церковь, стоял при отпевании, потом провожал покойника до последнего жилища, затем шёл в дом покойного, отведывал кутьи и сидел за поминальным обедом. Он не разбирал, кто был умерший, — бедняк или богатый аристократ, ему всё равно: он провожал людей, которых никогда не знал и о которых никогда даже не слыхивал. Для чего он это делал, то была его тайна, которую он унёс с собой в могилу. Было ли это постоянное *memento mori*, чтобы поддерживать в себе христианское смирение, или другое что, так и осталось для всех загадкой...

(Михаил Пыляев.

Замечательные чудачки и оригиналы)

→ 20 ноября: Пыляев, 6

Судья говорит узнику: «Тебя казнят в один из дней следующей недели, день этот я уже назначил, но тебе не скажу, и ты его узнаешь только в последнюю минуту, когда за тобой придут, чтобы отвести на эшафот». Узник, бедняга, сидит в камере, плачет. Пришёл адвокат навестить его и говорит: «Не плачь, на таких условиях тебя казнить не смогут. Действительно, и ребёнку понятно, что субботу выбрать судья не может, потому что ты бы уже в пятницу к вечеру знал, что тебя казнят завтра. Но раз судья не может выбрать субботу, и все это прекрасно понимают, он не может выбрать и пятницу, потому что ты бы об этом знал уже к вечеру четверга. И так далее по индукции. Словом, казнь на таких условиях невозможна».

Узник поверил, повеселел. Каково же было его удивление, когда в среду за ним неожиданно явился палач.

(Слышал от Александры Александровны)

Чему учит техника

- *Всё в мире способно нас учить, — сказал цадик.*
- *Неужели и техника? — засомневался один из учеников.*
- *Конечно, — ответил цадик.*
- *Ну чему, например, учит железная дорога? — спросил тот.*
- *Что, опоздав на минуту, можно упустить всё.*
- *А телеграф?*
- *Что каждое наше слово учитывается.*
- *А телефон?*
- *Что здесь мы говорим, а там нас слышат.*

(Хасидская притча)

НОЯБРЬ

10

суббота

Сегодня я задумчив, как буфет,
и вынимаю мысли из буфета,
как длинные тяжёлые конфеты
из дорогой коробки для конфет.

На раскладушке засыпает Фет,
и тень его, косящая от Фета,
сливаясь с тенью моего буфета,
даёт простой отчётливый эффект.

Он завтра сядет на велосипед
и, медленно виляя вдоль кювета,
уедет навсегда, как вдоль рассвета,

а я буду смотреть, как сквозь лафет,
сквозь мой сонет на тот велосипед
и на высокий руль велосипеда.

(Александр Ерёмченко)

Радуга под левым предсердием

НОЯБРЬ

11

воскресенье

Для наглядности темы моих слов представьте себе прямоугольную колонну, выложенную из номеров журнала «Часы». Высота колонны примерно 2 метра 50 сантиметров. Журнал на журнале, первый, второй, десятый, тридцатый, восьмидесятый, толщиной в 30 мм плюс-минус 4 мм. В одной закладке журнала было 8–9 экземпляров, подписаться на него было невозможно, он раздавался проверенным, физически здоровым людям, кто без особых тягот способен был перенести лет 10–12 в зоне особого риска и в не лишённых смысла лагерях. В журнале «Часы» читатель мог познакомиться с живой тогдашней прозой, поэзией, драматургией, переводами «криминального» Запада, Востока и даже Севера.

Почему не усыпили главных изготовителей этого самиздатского журнала Бориса Иванова и Бориса Останина, мне сквозь

трахому времени понятно. Власть во главе с «родной гэбухой» тоже хотела знать цвет сингулярной точки, так сказать, быть на высоте и где-нибудь, не обязательно в Симеизе, а, скажем, на речке Оять затеять у костерка диспут совсем не в духе комсомольской стальной юности, а просто поговорить с коллегами о Льве Шестове и Сэмюэле Беккете или процитировать Василиска Гнедова. Люди из Смольного, из Киевского обкома, даже из комсостава Салехардского спецуправления тоже стремились «Учиться, учиться и ещё раз, и ещё раз...», да и сегодня стремятся.

С года 78-го Борис Иванов и Борис Останин, по моим подсчетам, наработали за свою просветительскую деятельность, за распространение информации, граничащей с просветлением, за коммуникативность в гуманитарии, за размножение положительных чувств и, конечно, за посягательство на кремлевскую лексику — по пять-шесть пожизненных заключений и послесловий. Не учитываю бурлескный, вызывающий особую негу под сердцем, дерзкий характер литературной продукции, говоря языком следователей, которым даже в аббревиатуре СССР мерещился текст иносказательного свойства.

В те годы позёмка репрессий вилась не только у порога каждого писателя, она вилась и вьюжилась под койко-местом каждого вольнодумца, на языке обкомовских референтов нас называли «гнилыми акцептуалами», а всё, что мы делали, — «грязной поливой», хотя слова «советский», «мент», «райком», «чека», «раковая шейка», «чёрный воронок» и даже нарицательное имя столицы да ещё нашей родины — все эти слова и имена в журнале не произносились. Какая же тема звучала, муссировалась, вибрировала под издательскими пальцами Бориса Иванова и Бориса Останина? Не удаляясь в сочное словие, скажу — тема полёта, Полёта с большой буквы. Тема бегства из тюрьмы скуки, обыденности и, да простят мне животные, бегства от тусклого скотства. В страну, да, да, в заоблачные выси и веси и дали, где нам чего-то не додали, где мы, шагая по траве утех, что-то проморгали... Сиюминутность этого мира и нашего стрекозиною детства куда-то уходила на страницах свободной литературы. Раскованность слова, доверительные поиски и опыты не только с деепричастны-

ми оборотами, но и с подсознанием, с несознанием и даже с абстрактным интимом (понимайте, как сможете), находки лесной тропинки личной жизни в условиях петли, лебединая песнь скрипки на вершине айсберга и, что бы ещё сказать аллегорического, радуга под левым предсердием, когда тебя во время написания поэтической строчки пронзает луч или волна инакомира, прикосновение глаз фантома верхом на болиде... но вы меня поняли...

Умение работать с авторами — большая редкость. Редактор, как правило, — полу-фашист, он диктует свои закидоны, свой умственный пафос превращает в угрозы, шантаж и уголовщина так и светятся сквозь его зубы, и всё это ради того, чтобы сделать книгу или журнал в духе его вечерни, как хочет его «мама», чтобы чего плохого не сказали соседи. Редактор, как правило, — просто дебил, потому что никогда не понимает, что плотиной становится на пути горной речки, но редактор, видите ли, «умнее» писателя, он, конечно же, соприкоснулся рукавами со святой вечностью и смотрит на поэта или драматурга как на след от мышки-землеройки весом в 15 граммов. Редактор «пришёл» в этот мир обустроить мозги запустелых лиц, и, конечно, он не снесёт, не потерпит голоса своемыслия и даже дрожания ногтей... у кого и где — не важно.

Борис Останин представляет или возрождает иную школу, иную формацию литературных деятелей. Не ввязываясь в диспут с молодым автором, который не замечает за собой фабрично-слободскую лексику, он достаёт необходимую книгу и даёт почитать на день для самообразования, взгляд его говорит о пользе книги. С другим автором происходит беседа о психологии современного крестьянина, и в конце концов автор соглашается убрать один кургузый абзац и развить захудалую мысль.

Со мной произошло другое. Редактор пришёл за рассказом для журнала. Дать рассказ означало засветиться на 120%. Итак, вся семья расстреляна Лениным, а затем Сталиным, меня допрашивают всё чаще, а тут ещё и участие в подстрекательской, как сказал бы специалист с высшим военным образованием, литературе. Передо мной стоял вопрос о сожжении всех моих бумаг и архива или о выборе особого пути.

Редактор всё это чувствовал, и когда он сказал, что лучше всего сохранять рукопись посредством её размножения, можно и под двойным псевдонимом (он тут же придумал мне Марк Мартынов), я согласился.

Архив, киноплёнки, дневники и фотографии я всё равно съёг, но не весь, наполовину. Теперь, когда мои рассказы свободно печатаются, а некогда тихое, теперь же злобно-нищее население и подавно не желает читать мыслительную литературу, теперь, когда в подъездах и на перегонах метро творится такое, что и не снилось Алексею Толстому с его «Хождением по мукам», когда за двадцать долларов можно посмотреть «шоу», как живого бомжа расстреливают в районе Дачи Долгорукова, а потом пьют берёзовый сок, и всё это под музыку из «Шербурских зонтиков», теперь, когда нынешние тридцатилетние не задают себе никаких вопросов, но от одиноких пешеходов ждут ясных ответов, теперь, когда я с запоздалым мазохизмом вспоминаю осоловелые совдеповские годы — годы ужаса и надежд, молчаливый и терзаний, дерзаний и подвиговических устремлений, теперь, когда над головой вместо перистых облаков кружится пена российско-чикагского капитализма, сейчас я почти не верю в прошлую жизнь, в чистые глаза поэтов, в жертвенность художников, в далекие помыслы чистых дерзаний...

Так хорошо поставить многоточие, но ещё не сказано, что Борис Останин в сатанинские годы мог приютить меня на даче, давал денег, я питался яблоками в его саду и катался на его лодке, а потом удостоился даже личных грядок в его огороде, ну и пусть что не огуречных, а только морковных. И всё это когда милиция и многие «другие» очень скучали, очень тосковали по общению, не обязательно со мной, но включительно.

Загадки в поэзии для меня почти не существуют. Загадка некоторых личностей, причинности их бытования для меня несомненна, она, эта загадка прояснится, но, боюсь, не до конца. И не скоро.

<1995>

*(Борис Кудряков. Радуга под левым предсердием.
Заметки о журнале «Часы» и его редакторах)*

Свои в доску объявления

НОЯБРЬ

12

понедельник

*Сожгли враги родную хату
Станиславский и Нелмирович-Данченко,
артисты погорелого театра*

Круиз вокруг пальца

*Переливаю из пустого в порожнее
Торричелли*

*Ищу человека
Людоед*

Меняю Шиллера на Миллера

*Продам папу
Павел Морозов*

*Блондин, красавец, средних лет, бесплатно
съем любой обед
Тел. МИ5-8300, доб. 916*

*Сыграю в ящик.
Пандора*

*Зайду на огонёк.
Герострат*

*Продаются мелмуары Ивана Поддубного «Моя
борьба» на немецком языке*

*Поцелую за небольшое вознаграждение
Иуда*

Бане требуются люди с чистой совестью

Дано уроки эзопова языка. Стучать три раза

*Во всех науках знато толк
Большой учёный*

Мир хижинам
Дядя Том

Паёто сроки, точу ласы, чиню препятствия

Подрошу на скорую руку
Юз

Точу камень
Капля

Срочно нужен кирпич
Морда

Вступлю в партию, возможны варианты

Сниму штаны в изолированной квартире со
всеми удобствами

Куплю овечью шкуру
Волков

Ищу приключений на свою жопу
Эдичка

Продаётся «Дом с мезонином»

Сниму шапку
Мономах

Сдаётся армия

Куплю картофель в мундире
Генерал Григоренко

Изменю родине с матерью
Эдип

У-ра-а-а-а!
Патриоты

Наступлю на горло собственной песни
Эмиль Горовец,

Отнимаю последнее
Прибавляю в весе
Делю шкуру неубитого медведя
Размножаются
Математик с остроумной фамилией

На пол не плевать
Фрейд

Осторожно, во дворе злая собака
Баскервиль

Купите булочки

Спасибо товарищу Рейгану за счастливую
старость
Группа пенсионеров

Продам трубу
Фаллопиев

Новинка! Надувная бестия (игрушка)

Куплю книгу «Корабль дураков»
Иванушка

Куплю двуглавого орла
Янус

Продам осла
Буридан

Околачиваю груши
Мичурин

Инженер человеческих душ ищет работу по
специальности

Продаётся славянский шкаф
Абель

Имеются вакансии на святые места

Провожу аналогии

Умываю руки

Понтий Пилат

(Вагрич Бахчанян. Записные книжки, М., 2011)

Заметка о «странном явлении» (→ 19 октября) вызвала оживлённый газетный спор, но спор этот, к сожалению, пошёл по нелепой линии. Получилось такое впечатление, точно я в своей заметке спрашивал русских: почему вы, добрые люди, не ходите в собрания? Не потому ли, что вам не хочется якшаться с евреями? И вот, несколько почтенных русских сограждан удостоверили, что они, напротив, очень рады якшаться с евреями, да только как-то всё не случилось, — и несколько почтенных еврейских коллег тоже откровенно признались, что настоящая русская интеллигенция чрезвычайно любит еврейскую. Очень приятно, прочёл с удовольствием. Но зачем это всё было написано — не знаю. Я этого вопроса не ставил. Отчасти потому, что нет смысла наивничать и спрашивать «любишь ли ты меня?» там, где каждый ребенок на улице знает всю правду. А главным образом потому, что как раз я меньше всего этим вопросом интересуюсь. По-моему, он никакого отношения не имеет даже к спору о том, надо ли «размежеваться». Журналист еврейского происхождения, о котором я в той статье рассказывал, действительно дошёл до мысли о необходимости «размежевания» только потому, что заметил со стороны русских явное нежелание «якшаться». Но на то он ассимилятор. Для людей моего лагеря суть дела совершенно не в том, как относятся к евреям остальные народности. Если бы нас любили, обожали, звали в объятия, мы бы так же непреклонно требовали «размежевания». Ибо мы думаем, что миссия каждой нации — создать свою особую культуру: и мы думаем, что это достижимо только путем полюбовно-

го размежевания. Какое нам дело с этой точки зрения до любви или антипатии соседей? Если они евреев не любят, мы об этом очень жалеем; если полюбят, будем очень рады и будем платить взаимностью, но наше отношение к ассимиляции от этого не зависит. Мы не желаем, чтобы евреи стали русскими, даже если русская интеллигенция начнёт скопом ходить на вечера литературного клуба.

Моя заметка имела в виду совершенно другую цель. Интересует меня не отношение христиан к еврейской ассимиляции, а самочувствие еврейских ассимиляторов. Я считаю их позицию в основе и по существу ложной и стараюсь проследить и отметить те случаи, когда эта внутренняя ложь обнаруживается особенно выпукло, когда сама жизнь, так сказать, демонстрирует против ассимиляции. Такой случай, по-моему, теперь налицо, когда ассимилированные евреи в огромном городе вынуждены фигурировать в роли единственных носителей русской культуры — «единственных музыкантов на чужой свадьбе, с которой хозяева ушли». На эту ситуацию я хотел обратить внимание самих «музыкантов», предложить им обдумать её и сделать выводы. Так как дискуссия вместо того направилась по совершенно постороннему фарватеру, то позволю себе вернуться к сути вопроса и сделать эти выводы так, как я их понимаю.

Совершенно неопровержимо установленным я считаю тот факт, что ассимилированные евреи в нашем городе действительно очутились в роли единственных публичных носителей и насаждателей русской культуры. Этого никто во всей дискуссии даже не пробовал отрицать, ибо это слишком яркая очевидность. Обсуждая и оценивая эту любопытную ситуацию, я, прежде всего, нахожу её в высочайшей степени комичной.

Почему она комична — я доказать не умею. Смешное не доказывается, анекдот не требует аргументации. Комизм ощущается непосредственно, и баста. И я утверждаю, что этот комизм положения, когда евреям в полном одиночестве приходится чествовать Пушкина и Комиссаржевскую,

ощущается решительно всеми, прежде всего самими «музыкантами». Я часто встречаюсь со своими противниками, но не встретил ещё ни одного, который не чувствовал бы этого комизма. Иначе нельзя объяснить и переполоха, который вызвала именно эта моя заметка. Мне случалось уже писать, например, и о том, что много рядовых либеральных христиан в глубине души верят в ритуальную сказку; это похуже, поопаснее, чем нехождение на «четверги», и однако никто из ассимиляторов так не взволновался, как на сей раз. На сей раз было такое впечатление, словно людей вдруг обнажили, указали пальцем как раз на ту мозоль, за которую им в душе особенно неловко, и вот они изо всей силы стараются прикрыть её чем попало. Очевидно, каждый в душе чувствует, что «ассимиляция», «слияние» с окружающей средой обязательно требует «рецепции», согласия окружающей среды: для того, чтобы обрусение не было унижительным, необходима тут же наличность большой русской толпы, в которой евреи могли бы рассыпаться, разместиться, растаять — и притом с её хотя бы молчаливого согласия. Тогда бы в этой массе действительно всё перемешалось; рядом с тремя русскими ораторами мог бы тогда выступить четвертым и еврей и тоже сказать «мы, русские» или «наша русская литература» — и это стёрлось бы, утонуло бы в общем впечатлении. Но когда русской толпы нет и никак её не заманишь и не притянешь, и на празднествах русской культуры в полумиллионном городе одни евреи, совершенно лишённые русского прикрытия, бьют в барабан и кричат «ура» во славу «нашей литературы», — то эта ситуация комична, потому что комична. <...> Ассимиляция по природе своей требует незаметности, наглядной возможности утонуть в громаде ассимилирующего тела: где девять русских, там еврей ещё кое-как может быть «десятым русским»; но когда пропорция обратная или того хуже — весь, как говорится по-еврейски, «миньян» состоит из великороссов еврейского происхождения, то это есть явление высочайшего и глубочайшего социального комизма.

Конечно, когда обнаруживается социальный комизм какой-нибудь ситуации, разные люди по-разному на это реагируют. Одни, у которых более плоская душа и более толстая кожа на ланитах, продолжают выступать гоголем; о таких нечего разговаривать, так как это элемент, лишённый всякой культурной ценности. Но есть и в ассимилированном лагере люди более тонкой организации. Для таких увидеть себя в ситуации, полной такого органического комизма, есть болезненный удар в ту самую точку сердца, где хранится у человека его лучшее богатство — его гордость. Для таких людей комизм превращается в трагизм. Я уверен, переполох, вызванный в стане ассимиляторов дискуссией по поводу «странного явления», объясняется ещё и тем, что лучшие, наиболее чуткие и вдумчивые люди этого стана почувствовали не простую неловкость от комического положения, но и настоящую боль, укол в самое чувствительное место, и им на минуту стало жутко от мысли: а что, если всё это правда? А быть может, я и сам давно всё это подозревал, только не решался формулировать? И на минуту почудилось им, что, быть может, вся работа их жизни действительно прошла по ложной колее и завела их вместе с их паствой куда не надо... Но, конечно, даже чуткий человек, если он уже затратил несколько десятков лет на данной черте, в конце концов прогонит чёрные мысли и даст себя успокоить обычными словесами. Остаётся только маленькая трещина в душе — и если она осталась, я очень рад: этого я добивался. Но патологичность ситуации не только в её комизме и даже не в трагическом привкусе этого комизма. Ещё хуже другое. Хотя мы здесь «шумим, братец, шумим», а настоящие русские молчат, но, тем не менее, для всего мира ясно глубокое несоответствие между шумом и ценностью. Ни один серьёзный зритель не сомневается, что хоть шумят на русских культурных праздниках евреи, а всё-таки истинной, стихийно-нерушимой опорой и источником русской культуры служат не те, которые шумят, а те, которые молчат. Если судить по шуму, то выходит, будто русские 1-го разряда, активные

русские — это и есть ассимилированные евреи, тогда как люди настоящего русского происхождения — это, как выражается Отто Бауэр, *Hintersassen der Nation*, русские 2-го сорта. Между тем ясно и неопровержимо, что это в сущности как раз наоборот. Именно с момента, когда еврей объявляет себя русским, он становится гражданином 2-го класса.

Я, националист, ни за что не признаю себя в России гражданином 2-го разряда. Я считаю себя принципиально таким же хозяином в этом государстве, как и русского: я желаю говорить, учиться, писать, судиться, управляться на моём национальном языке, ни к кому не намерен подлаживаться и приспособляться и требую, напротив, чтобы государство приспособлялось к моим национальным домогательствам точно так же, как оно должно приспособиться к домогательствам русских, украинцев, поляков, татар и т. д., гармонизировав эти все требования в общем «народосоюзном» строе. Покуда я так смотрю на своё место в России, я не выше других и не ниже других, мы все граждане одного ранга. Но если я захочу пролезть непременно в русские, то дело сразу меняется. Тут я попадаю в положение неофита. Чужая национальная сущность, чужая психика и ею пропитанная культура не могут быть по-настоящему усвоены даже за срок целого поколения, даже за срок нескольких поколений. Сохраняется акцент в речи, и точно так же сохраняется особый «акцент» души. Могут ли эти оттенки совершенно исчезнуть впоследствии, через много-много лет, это вопрос другой, которого я здесь не касаюсь; но покуда они есть, до тех пор я обречён числиться не настоящим, неполным русским, кандидатом в русские, подмастерьем русско-культурного цеха. Меня могут любить или не любить, это к делу не относится: но совершенно ясно, что источник и оплот русской культуры не в неофите, а в той массе, с которой он ещё только старается слиться. Когда людям понадобится настоящее русское творчество, они оттолкнут изделие неофита и скажут: может быть, это подделано очень мило, может быть, это и лучше, чем на-

стоящее русское, — но, извините, нам нужно не это, а настоящее русское. Это и значит быть русскими 2-го разряда. Надо различать понятия: россиянин и русский. Россияне мы все от Амура до Днепра, русские только треть в этой массе. Еврей может быть россиянином первого ранга, но русским — только второго. Так на него в этой роли смотрят другие, и так на себя невольно смотрит он сам.

<...>

Здесь я не буду вновь поднимать спор о том, многим или малым обязана русская, немецкая, французская и пр. литературы ассимилированным евреям, достаточно ли усвоили эти писатели из евреев соответствующий национальный «дух» и т. д. Спорить об этом трудно потому, что это вопрос чутья, ощупи, и еврейские судьи тут совершенно не компетентны. Сколько бы ни божился еврейский критик, что Гейне — подлинный немец по духу, вопрос этим не будет решен. Но я интересуюсь этим вопросом больше с политической стороны. Здесь дело яснее, здесь мы не бродим в потемках эстетических оценок, а имеем перед собой массовые факты. И эти факты ясно говорят, что ассимилированный еврей при первом серьезном испытании всегда и всюду оказывается таким же плохим «ассимилятором», как и плохим евреем. Он объявляет себя немцем, покуда господствуют немцы, и старается делать так, чтобы по виду его нельзя было отличить от настоящего немца. Но как только господство переходит к другой национальности, моментально обнаруживается различие: настоящие немцы остаются немцами, выдерживают борьбу и несут на себе все жертвы, между тем как тевтоны израильского происхождения с поразительной быстротой начинают отрясать прах немецкий и присоединяться к национальности нового хозяина.

<...>

Я теперь не спорю о том, хорошо это или дурно с нравственной точки зрения. Настаиваю только на одном: это факты, и эти факты неопровержимо доказывают одно: ко-

гда еврей воспринимает чужую культуру, превращается в немца, чеха или поляка, то каков бы ни был его энтузиазм, нельзя полагаться на глубину и прочность этого превращения. Ассимилированный еврей не выдерживает первого натиска, отдаёт «воспринятую» культуру без всякого сопротивления, как только убедится, что её господство прошло и хозяйское место переходит в другие руки. Он не может служить опорой для этой культуры: с каким бы он пылом о ней ни говорил, неглубокость и непрочность корней, которыми она связана с его душой, обнаруживается при первом серьёзном испытании...

*(Владимир Жаботинский.
На ложном пути, 1912, отрывки)*

Луна, цветы...
По жизни снова и снова
Шагаю бесцельно.

(Исса)

НОЯБРЬ

14

среда

Балдашкин, Бардаш, Безменов, Безушко, Безштанько, Белопупенко, Бздучев, Бзникин, Блоха, Бляшкина, Богорода, Божедай, Бомбрюхов, Бородавкин, Брехунов, Бухгалтер, Волосатых, Вислобоков, Вырвихвост, Гадюкина, Гапонов, Гнидин, Голопузов, Громан-Духанин, Гузик, Дворников, Дергобузов, Деркач, Дубина, Дурноляпов, Дурняков, Дырочкина, Езерец-Изерец, Енгель, Епин, Живодёров, Жуйборода, Засыпкин, Закаблук, Иванов-Веткин, Каравашкина, Карасик, Кобелькова, Козодуев, Козявкин, Кособрюхов, Кощеев, Кривокрыса, Куйкин, Куква, Кукурекин, Кулибаба, Купленный, Курочка, Лапа, Лапузо, Лепетун, Матюков, Машкина, Молибога, Молитвословов, Муховоз, Негодяев, Нетерба, Ноздрачёв, Ньюнко, Одигитриевский, Перебейнос, Пиндюрин, Пипкин, Пискун, Плешкова, Подковыркин, Подыминогин, Познофиркин, Попадьян, Поростяников, Портянка, Пузыня, Пшик, Разгильдяев, Разживин, Самодуркин, Свинобоев, Семидевкина, Семиколен-

НОЯБРЬ

15

четверг

ный, Серхин, Синепузов, Сисяева, Скопец, Слюнькова, Сорокобабкина, Срулихис, Сукин, Титков, Фунтиков, Хайло, Холявко, Хренкин, Худоногина, Цевочкин, Чванкин, Чернов-Зельман, Чернокоз, Чирьев, Шалавин, Шелопаев, Шиш, Шлюхина...

(Афанасий Селищев.

Смена фамилий и личных имён, 1930-е, с изменениями)

НОЯБРЬ

16

пятница

Прежде чем изложить вам причуды одной кампании, я бы заметил, что она складывается из бесплодных усилий, идущих от чистого сердца, из взаимоисключающих слов и поступков. Это известные черты русской жизни, они питают нашего патафизика, инженера воображаемых решений. Его тип — исторический, но мне кажется, что обострившиеся сегодня во всём противоречия вот-вот привлекут своего героя, которого до сих пор мы держали в мистиках и курьёзах. Сейчас, когда как бы на развалинах сталкиваются разные измерения, его лучшие времена: молчаливые, наперекор мысли и всякой другой напраслине, безнадёжно счастливые. Всё это напомнило мне полет разведчика, который я видел в старом кино; как говорил француз, этот — действительно королевский пилот.

Отец Пуадебер, первопроходец воздушной археологии, — так и тянет назвать её пневматической, — уверял, что особые свойства почвы и необычный для европейца свет дают на его снятых с самолета фотографиях поразительный вид на Римскую Месопотамию, исчезнувшую больше тысячелетия назад: весь обширный лимес укреплений, ассирийские развалины, города, парящие как паутина проспектов и улиц на нити большой дороги — всё, невидимое под землей даже с высоты полета, возникло на снимках. Иллюзию нарушают только безлюдье или вдруг нелепо, не в перспективе раскинувшийся базар; одни верблюды, невольно бредущие в пустыне, укладываются в призрак порядка.

Такой эпиграф. Здесь начинается рассказ о том, как двое нашли пуп Земли на реке Мойке, где-то возле Юсуповского дворца. Это было, хотите — верьте; и хотя некоторые вычисления указывают, скорее, на Заячий остров, все разногласия кроются не в природе, а в безумии совмещаемых её планов. По-своему прав будет поэт, что «разумение человека в его почве», и мир невидимый, мир мёртвых и возможных, представляется своему страннику (у того, по масонскому обычаю, на глазах повязка) в очертаниях особенной геометрии — что вполне соответствует скрытому за превратностями истории замыслу города Петербурга. Зачем же, сперва поступая из чисто археологического любопытства, потом отступая в поисках, соскальзывая, так сказать, по ту сторону Луны? Но изыскатель вдруг ощущает в природе городского замысла пока ещё невнятную волю: очевидно только то, что он обязан ей своим происхождением и окружающей реальностью. Теперь его не остановишь. Он раскрывает книги, рисует фигуры. В его воображении — остров, открытый на все ветры, распускающийся, как вертоград. Не знаю, летучий ли этот остров или в океане, как устроена его утопия, четыре ли, пять, сколько граней у её звезды. Ведь те фантастические края, которые показывает нашему путешественнику его картография — всего лишь новая перспектива уже обитаемых, открывающихся перед ним на последней ступеньке, когда повязка спадает с его глаз. На входе в кафе «Норд» ему встречается Трисмегист, высокий и седобородый, как Леонардо, чародей из Винчи.

(Василий Кондратьев. Нигилисты // Прогулки, СПб., 1993)

Ле-цзы сказал:

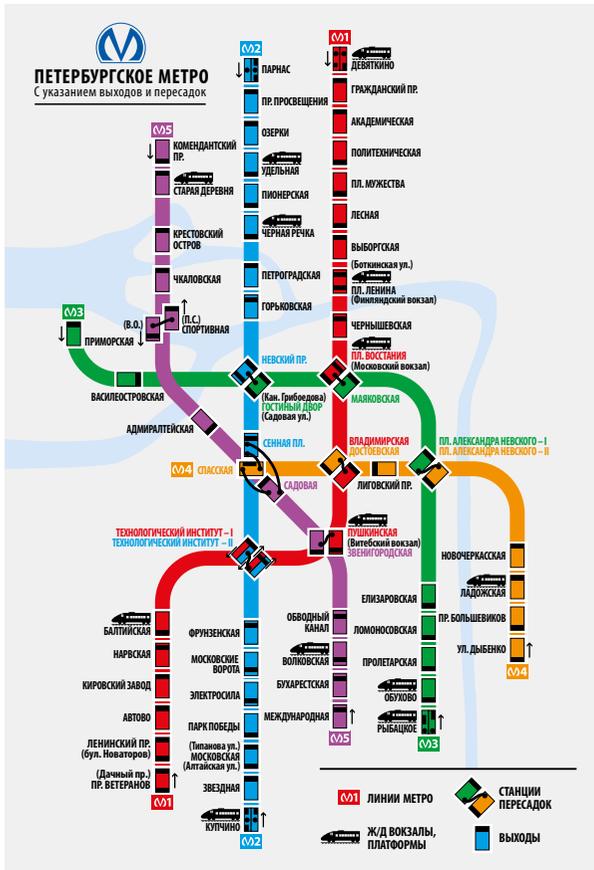
— Палный красоты — горд, палный сил — необуздан, с ними нельзя говорить об учении. Поэтому пока не поседят, с ними не стоит и говорить об учении, а ещё менее — о его осуществлении. Необузданному люди не могут советовать. Если же люди не

могут ему советовать, то он остаётся одиноким, без помощников. Умный полагается на людей, поэтому и в старости не дряхлеет, знания у него исчерпываются и беспорядков не возникает. Трудность управления царством не в том, чтобы самому быть умным, а в том, чтобы находить умных.

(Даосская притча)

Метро с эскалаторами

НОВАЯ
18
воскресенье



Вечная иллюзия Революции состоит в том, что кажется, будто её жертвы не виновны в происходящем насилии, что, если бы сила была у них в руках, то уж они-то бы воспользовались ею справедливо. Но, за исключением тех немногих, кто близок к святости, жертвы так же запятнаны силой, как и палачи. Зло с рукоятки меча передаётся его острию. Жертвы, окажись они на коне, хлебни они хмеля перемен, причинят столько же зла, а то и больше...

Социализм видит благо в побеждённых, а расизм — в победителях. Но революционное крыло социализма использует тех, кто, хотя и рождены внизу, но по природе своей и по призванию — победители, и потому он выливается в такую же точно этику.

Бог дал Моисею и Иисусу Навину чисто земные обетования, в то время как Египет тянулся к вечному спасению души. Евреи, отринув египетское откровение, получили именно такого Бога, какого заслужили: Бога плотского и коллективного, который до вавилонского пленения не заронил ни одного живого слова ни в чью душу (разве что в Псалмах?)... Среди персонажей ветхозаветных историй чисты лишь Авель, Енох, Ной, Мельхиседек, Иов, Даниил. Не удивительно, что племя беглых рабов, завоевавшее райскую землю, возделанную культурными народами, к труду которых они не имели никакого отношения и кого они уничтожили убийствами и резней, — не удивительно, что такой народ так и не смог создать ничего хорошего. Говорить о Божественной педагогике по отношению к такому народу — жестокая шутка.

Евреи, эта горстка людей с вырванными корнями, стала причиной потери корней у всего земного шара. Их участие в христианстве привело к тому, что христианский мир оказался не укоренённым в своём собственном прошлом. Попытка Ренессанса вернуться к корням закончилась неудачей, потому что имела антихристианскую направленность. Идеи Просвещения, 1789 г., секуляризм и т.д. лишь бесконечно усугубили эту потерю корней лживой сказкой о про-

грессе. Лишённая корней Европа своими колониальными завоеваниями лишила корней и остальную часть земного шара. Капитализм, тоталитаризм — очередные шаги этой лавины, смывающей корни...

(Симона Вейль. Тяжесть и благодать, М., 2008)

А теперь посидим

НОЯБРЬ

20

вторник

Популярности дзен-буддизма в Америке особо способствовали два однофамильца: Судзуки Дайсэцу и Судзуки Сьюнрю. Первый издал много книг, читал лекции, второй, по отзывам знатоков, был само воплощение «духа дзен».

Про одного из них ходил такой анекдот: Судзуки приехал с курсом лекций в Нью-Йорк, где должен был выступить в концертном зале. Сопровождавший его американец, предложил добратся туда не обычной линией метро, а скоростной:

— Сэкономили так 20 минут.

— Хорошо, — согласился Судзуки, но когда они доехали наконец до места и поднялись наверх, отыскал свободную скамейку, сел на неё и закрыл глаза.

— Что ж ты сидишь? — забеспокоился провожатый, — пойдём скорее с зал.

— Но ты ведь сам сказал, что на скоростной линии мы сэкономили 20 минут. Давай теперь эти 20 минут посидим.

НОЯБРЬ

21

среда

Если обратиться к дороге, по левую сторону деревня смыкается с кладбищем, летом из-за украшающих могилы розово-жёлтых бумажных цветочков по-францискански формально весёлым и приветливым: мол, приходите, пожалуйста, — а не безалаберно русским — да ну, все там будем!

Дом Марьи Гавриловны как раз на левом краю стоит. Той ночью во сне Марья Гавриловна долго пусто и бездыханно падала в пропасть, падала — знала, не долетит. А когда вернулась в себя на колючие остья тюфячка, ошеломило благоухание разбухших от дождя и грузно поникших соцветий сирени, плывшее от разросшихся кустов, которые навалились, сломав дальний штакетник у них на даче, и она, не размыкая век, увидела неровно растушёванные объёмы: тёмные сгущения возле стержневых побегов и лучезарное кружево, обрамляющее сирени по краям... Мысль: жизнь большая была — подумалась не словами, а каким-то удивлённым чувством, и только потом — как это в августе сирень? Ослабевшая Марья Гавриловна пошевелила губами испить нахлынувшего сырого воздуха, ей стало просторнее в груди, а потом сиреневый запах растаял. И снова была неопределённость.

Но днём у Марьи Гавриловны случилось ещё одно неожиданное впечатление, на этот раз от фаянсовой с красной каёмочкой дощечки для сыра, которую Груша для чего-то положила в баул, когда несколько лет назад укладывали для переселения в деревню самую нужную утварь, и до нынешнего дня Марья Гавриловна её из баула не вынимала. Но нынче, когда всё решилось и предстояло снова собирать вещи, она увидела дощечку и была не в силах отвести взгляда от жёлтых пузырчато-маслянистых ломтиков на белоснежном фаянсе, их тусклых бескрайних отражений в бочковатой стенке самовара, убегающего в зеркальную глубину призрака стоящей рядом чашки...

Марья Гавриловна три дня не умывалась. Она перестала думать впрок, пила чай, не поев, и доила в хлеву Фрину, не сменяя платья. Что-то исподволь и постепенно завладевало Марьей Гавриловной, но когда она на это обратила внимание, оно уже было. Брови у Марьи Гавриловны, от неожиданности несколько надломившись, приподнялись, а глаза прикрылись веками, но от того, что расширившиеся зрачки

отказывались целенаправленно взирать на что-либо определённое, вбирая всё, видела она только лучше. И главное, наконец, только то, что ей было нужно, хотя из-за взметнувшихся бровей выражение лица у Марьи Гавриловны сделалось несколько высокомерным. Соседям хватало своих забот. Да и кто бы мог случившееся в душевных глубинах Марьи Гавриловны углядеть: акушерке, которой было больше по вкусу медицинские советы рассылать из дому заглазно, всё равно пришлось хлопотать с бабами, кому приспело рожать, а Фрина была поглощена собой, потому что дышала, жевала и переваривала.

Навыков последовательно сообразных движений Марья Гавриловна в связи с явленным ей целиком и напрямую откровением, в котором всё же кое-что оставалось непроявленным, не утратила, однако безотчётно подчиняясь непосредственным нуждам, она то и дело прерывала исполнение привычных обязанностей и присаживалась, склоняя голову и складывая руки на коленях: не думая ни о ком отдельно, она думала о всех разом одну странную всеобъемлющую мысль, которую несомненно затруднилась бы пересказать, если бы кому-нибудь пришло в голову спросить её, про что эта мысль. Застигая Марью Гавриловну на ниве будничных трудов, раздумье вдруг понуждало её замереть с невычищенной морковью, а спустя неопределённое, никем не посчитанное время, с недоверчивой улыбкой покачать головой и опустить преданную забвению морковь в позабытый чугунок, чтобы теперь уже навек вычеркнуть их обоих из памяти.

Порой большая и невыразимая из-за своей значительности мысль Марьи Гавриловны дробилась и тогда отдельные её части становились внятными: «С виду люди всего нескольких типов, а к душе приглядишься, двух похожих нет, — размышляла Марья Гавриловна, — иногда такое в ком-нибудь заметишь, что поневоле призадуматься».

Озадаченная собственным неожиданным рассуждением, обнаруживающим сложную картину жизни, Марья Гавриловна всё больше уверялась в том, что истинные причины поступков открываются разуму, только если их, так сказать, ненароком подсмотреть. Как ни странно, углубившись в посторонние раздумья, меньше всего она размышляла о том, насколько другой жизнью ей теперь живётся. Вступив на дорогу символических прозрений, Марья Гавриловна пошла по ней безоглядно, отныне факты жизни что-то значили для неё, только если за ними можно было усмотреть второй смысл, и этот второй смысл оказывался капитальнее обыкновенного первого. Кроме того, надо же кому-то доить Фрину, и вот когда в универсуме место рядом с Фриной оказалось вакантным, его заняла она, Марья Гавриловна, и теперь это её вечное место возле вечной Фрины. С женственностью Марья Гавриловна тоже в одночасье попрощалась и укладывалась спать в шерстяных носках; да и вообще жизнь, которой она жила прежде с её вздорной категоричностью невесомых суждений, как-то отслоилась, и в Марье Гавриловне осталось только то, что её составляло, — неосязаемая энергия, — и она сделалась среди людей собственной тенью, открыв для себя бесконечное количество чудесных возможностей и переживая наедине с Фриной наибольшее чувство полноты существования. Впервые тягу к пустоте она почувствовала, когда незаметный прозрачный полог, именуемый временем, начал тихо испаряться и с ним исчез Пётр Петрович. <...> И хотя прежде для неё много значило отдавать себе отчет в правильности или ошибочности собственных мыслей и поступков, с некоторых пор она перестала оценивать свои действия с точки зрения морали. У неё теперь не бывало размышлений о том, плохо или хорошо то, что она делает. Замкнувшись в круге однообразных трудовых жестов, она больше не интересовалась ничьими мнениями, а обронённые ею скудные слова, вполне ей самой безразличные, стали почти це-

ликом зависеть от сиюминутных телесных состояний... и жизнь упростилась. Но важнее всего было то, что в ней открылся неистощимый кладёзь покорности, неисчерпаемые запасы согласия и смирения по отношению ко всему тому, что случилось и может ещё случиться.

Меж тем, когда — не сразу — Марья Гавриловна, всё так же приподняв брови и полуприкрыв глаза, бесстрастно разгадала, откуда дует ветер, и как то, чем она была в прошлом, сошлось с тем, чем ей предстояло стать, голова у неё склонилась ещё ниже — пожалованный ей неожиданный ответ надо было скрыть от беспечных взоров.

Впрочем, если бы кому-нибудь из невнимательных соседей и вздумалось в тот миг взглянуть на Марию Гавриловну, едва ли бы он что-то необыкновенное в ней различил, ну разве что заметил вдруг напрягшиеся и отвердевшие черты лица, начавшего именно тогда, когда до Марьи Гавриловны донеслось из ниоткуда, что от неё ждут решительного шага, обретать характерные особенности изваяния.

<...>

К тому времени, когда Марья Гавриловна обратила пристальный взгляд на фаянсовую с красной каёмочкой дощечку, её городской облик претерпел изменения: одежда, преобразившись в простую преграду холоду и жаре, перестала указывать на что-либо кроме физического состояния окружающей среды, благородные седины побурели — теперь она неаккуратно повязывала голову косынкой, не умея сноровисто, как это делают крестьянки, подоткнуть уголков внутрь. К тому же оставаться в крепко сколоченных стенах налаженного для жизни дома у Марьи Гавриловны охоты не было, её непрестанно влекло на воздух, и она всё распахивала окошко, едва не сталкивая на пол, подаренный акушеркой горшок с розовой геранью, уже не думая о том, что красивые вещи способствуют облагораживанию души. При этом забредавшие ненароком ей в голову мысли были такими отрывочными, что их серьезно и мыслями-то назвать

было нельзя. «Что за дело, — думала Марья Гавриловна, — дом, например, ну, построили-расстроили, разлюбили, бросили... имущество... барахло...»

И в поддержку этого анархического умонастроения, свидетельствующего безразличие к земным делам, её внутреннему взору являлись не хлипкие сооружения человеческих слабых рук, а картины бесконечно распахивающихся горизонтов и маячила такая упоительная возможность в них за-теряться.

<...>

А вскоре и вовсе стало не до чаёв с вареньем: Марье Гавриловне сделалось совсем всё равно на что глядеть и что куда класть. И в один прекрасный день, когда август склонялся к сентябрю и по осени потянуло сыростью и безнадежностью, когда из будущего, захватывая пространство, заступая со всех сторон, надвинулась былая жизнь, на другой день после неурочного августовского благоухания сиреней и видения сырных на фаянсовой дощечке ломтиков Марья Гавриловна окончательно и бесповоротно поняла, какого шага от неё там ожидают, а разобравшись, представала перед акушеркой в виде необыкновенном: в некогда кокетливой панаме с одной оборванной тесёмкой — потом её сорвал и унёс ветер странствий, в пыльнике с суковатой, не по руке тяжёлой палкой и худым мешком за плечами. Много было не снести и не нужно, и ложечки тоже, только вчера их битый час начищала и при этом в голове такая пустота, пустее не бывает, но в душе всё поет и небывалый восторг, а потом вдруг стало неумолимо ясно, всё, пора и скорее, потому что, конечно же, он сюда не может... Ну, а ложечки, что ж, разумеется, она помнит: из числа движимого имущества ящик со столовым серебром... ящик с кофейным серебряным прибором завещаю старшей... остальное серебро, столовые и чайные ложки... но, право, до того ли сейчас, когда вот-вот на месте последнего проёма вырастет крепостная стена, которой, как ни воздевай

рук, ей не одолеть, и она их, сияющих вензелями, маленькими условными значками воплотившейся жизни, великодушно протянула через изгородь насмерть перепуганной акушерке.

Протягивая серебряные ложечки, в которых, окончательно убывая в пространство любви и чистых сущностей, Марья Гавриловна, конечно, уже не нуждалась, она обронила что-то вроде того, что нет в мире ничего естественного и завершённого, но каждый миг — предвосхищение чудесного, и ещё прибавила нечто столь же мало вразумительное, сказав, что в сорокалетней давности январский день она увидела в глазах Петра Петровича... окончания фразы акушерка не расслышала, потому что, стоя рядом с воодушевлённой Марьей Гавриловной, вдруг оглохла от свергнувшегося на неё одиночества, да и договаривала Марья Гавриловна фразу, уже отвернувшись от стоявшей за изгородью приятельницы, делая первые решительные шаги по неведомой дорожке другого, совсем другого пространства. Ну а в земной жизни, ясное дело, какое-то время на серых дорогах среди простоволосых и неприбранных деревень терзалась и маялась невзрачная телесная оболочка.

Так описывали уход Марьи Гавриловны деревенские старухи, потому что вскоре сама акушерка стала безразлична к предметам памяти и оставшиеся немногие дни, посиживая у входа на приветливое по-францискански кладбище, молчала как воды в рот набрав. Но всякий раз, когда она встряхивала левой рукой или, приятно усаживаясь на скамью, доставала из аварийного кисета табак, раздавалось звонкое металлическое бряцанье, которое не могло иметь отношения ни к игральным картам, ни к трубочке из пенки.

(Вера Резник. Захватывающая радость, отрывок)

→ Январь 7/2019: Резник, 5

В 1-м псалме сказано о «блаженном муже»: «Но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!» «Размышляет», а не «исполняет» или «повинуется». Конечно, речь идёт не только о десяти заповедях, но обо всём сложном «законе», который содержится в книгах Левит, Чисел и Второзакония. Блаженный муж делает именно то, о чём говорит Иисус, сын Сирахов: «Размышляй о повелениях Господа и всегда поучайся в заповедях Его». Это значит, кроме всего прочего, что закон изучали, он был, как мы сказали бы, «предметом». Его толковали учителя, его зубрили ученики. В этом смысле им можно было «наслаждаться» так, как у нас «любят» историю, физику или археологию. Такая любовь вполне невинна, если к ней не примешиваются радости самодовольства и презрения к неучёным или более грубые радости карьеризма.

Опасность умножается во много раз, когда сам «предмет» священен: к крохоборству, тщеславию и спеси прибавляется гордыня. Иногда (не всегда) я рад, что я не слишком хороший богослов; уж очень легко тогда счесть себя хорошим христианином. По сравнению с этим просто смешны искушения химика или филолога. Когда наука священна, гордый и умный человек может подумать в конце концов, что «внешние» не только необразованней, чем он, но и ниже в глазах Господних, — «этот народ невежда в законе, проклят он». Гордыня растёт, наука, дающая такие преимущества, усложняется, запретов всё больше; наконец, прожить день, не нарушив какой-нибудь заповеди, становится так же трудно, как станцевать сложный танец, а это, в свою очередь, приумножает самодовольство одних и запуганность других. Тем временем «важное в законе», праведность, отходит на самый задний план; законники оцепивают комара, поглощая верблюда.

Тогда закон, как и обряд, становится злокачественным. Он живёт уже сам по себе, губя то, ради чего он создан. Чарльз Уильямс сказал: «Когда средства автономны, они ужасны». Такое перерождение — одна из причин той радости, с которой апостол Павел говорит об избавлении от за-

кона. Оно же вызвало суровые слова Спасителя; именно в нём — и грех, и кара книжников и фарисеев. Но сейчас я хочу подчеркнуть другое. Я хочу снова показать ту добродетель, которая может переродиться в такой порок.

Всякий знает, что особо посвящен закону 118-й псалом, самый длинный из всех. Всякий заметил, наверное, что он ещё и самый искусный. Автор берёт слова, которые в этом контексте синонимичны (откровения, пути, уставы, заповеди, суды, закон), и играет синонимами в каждом из восьми мистиший, соответствующих одной букве алфавита. Тем самым, это не крик души, вроде 16-го псалма, а плетение словес, тонкое шитьё, кропотливая и долгая работа.

Это очень важно, потому что вводит нас в настроение, в состояние псалмопевца. Наверное, он чувствовал к закону то же, что к своему искусству: и то и другое предполагает точное и благоговейное следование некоему узору. Отсюда есть путь к фарисейству, но само по себе это вполне невинно. Тем, кто таких вещей не любит, это покажется нудным и натужным, но они ошибутся. Автор просто наслаждается ладом. Конечно, он знает, что речь идёт о несравненно большем, чем танец или стихи. Кроме того, он знает, что ему не дается этот лад: «О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих!». Но старается он не из рабского страха. Лад Господня ума, воплощённый в законе, прекрасен. Что же делать человеку, как не воспроизводить его по мере своих сил? На пути откровений он радуется, как во всяком богатстве, уставами утешается, они — его песни, они лучше мёда, лучше золота и серебра; чем шире открыты его глаза, тем яснее он видит чудеса закона. Это речь не педанта, а поэта, потрясённого нравственной красотой. Если мы его не понимаем, хуже нам, не ему.

(Клайв Льюис. Размышления о псалмах // Избранные трактаты.

Литературное приложение к журналу «Часы», 1985)

→ 29 ноября: Псалмы, 2

За окном творилось что-то странное — такого Андрей не видел ещё никогда. Поезд шёл через ночной город по низкой эстакаде, отделённой от улиц железной решёткой. За окном вагона горели бесчисленные огни — фонари на улицах, окна домов, фары автомобилей. Но самым странным было то, что внизу были люди, очень много людей. Они стояли у решётки эстакады; когда окно, за которым сидел Андрей, проплывало мимо, они начинали махать руками и что-то весело кричать. В городе, похоже, был праздник — все, кого он видел, выглядели до крайности беззаботно.

Наконец Андрею стало тяжело чувствовать на себе такое количество взглядов. Он встал и вышел в коридор. С другой стороны вагона за окнами тянулась обычная тёмная цепь деревьев, и Андрей почувствовал себя легче. Коридор выглядел как-то странно — пол был покрыт густым слоем пыли, двери всех купе были распахнуты, и в них виднелись голые железные каркасы диванов. Андрей сначала удивился и даже испугался, но вспомнил, что в поезде, кроме него, нет ни одного человека, и успокоился. Ему захотелось перечитать письмо, и он вытащил сложенный вдвое конверт из кармана. Текст, естественно, остался прежним:

ПРОШЛОЕ — ЭТО ЛОКОМОТИВ,
КОТОРЫЙ ТЯНЕТ ЗА СОБОЙ БУДУЩЕЕ.

БЫВАЕТ, ЧТО ЭТО ПРОШЛОЕ
ВДОБАВОК ЧУЖОЕ.

ТЫ ЕДЕШЬ СПИНОЙ ВПЕРЁД
И ВИДИШЬ ТОЛЬКО ТО, ЧТО УЖЕ
ИСЧЕЗЛО.

А ЧТОБЫ СОЙТИ С ПОЕЗДА,
НУЖЕН БИЛЕТ.

ТЫ ДЕРЖИШЬ ЕГО В РУКАХ,
НО КОМУ ТЫ ЕГО ПРЕДЪЯВИШЬ?

Вглядываясь в эти ровные строчки, Андрей повернулся к двери в своё купе, положил ладонь на ручку замка и вдруг заметил в самом низу листа постскриптум, короткую приписку мелким почерком, которой он раньше не заметил — наверно, потому, что она располагалась за линией сгиба.

И в эту же секунду он понял, что не стоит в пустом коридоре поезда, а лежит на диване своего купе и видит сон. Он стал просыпаться, но за тот неуловимый миг, который заняло пробуждение, успел прочесть и запомнить постскриптум, точнее, запомнить слова, которые ему снились, — во сне они имели какой-то совсем другой смысл, который никак нельзя было протащить в обычный мир, но который он успел понять.

P. S. Всё дело в том, что мы постоянно отправляемся в путешествие, которое закончилось за секунду до того, как мы успели выехать.

Андрей включил лампочку над подушкой, достал письмо и перечитал его — никакого постскриптума там не было. На том месте, где он увидел его во сне, было только несколько малозаметных царапин, словно кто-то водил по листу засохшей ручкой, пытаясь её расписать.

Что-то было не так. Что-то случилось, пока он спал. Андрей поднялся с дивана, помотал головой и вдруг понял, что вокруг стоит оглушительная тишина. Колёса больше не стучали. Он поглядел в окно и увидел неподвижную ветку с большими чёрными листьями в квадратном пятне света, падавшего из окна. Поезд стоял.

Когда Андрей вышел в коридор, там всё было как обычно — горел свет, пахло табаком. Но пол под ногами был совершенно неподвижен, и Андрей заметил, что чуть покачивается, шагая по нему. Дверь в служебное купе была открыта. Андрей заглянул туда и встретился взглядом с проводником, который неподвижно стоял у стола со стака-

ном чая в руке. Андрей открыл рот, собираясь спросить, что случилось с поездом, но понял, что проводник его не видит. Андрей подумал, что тот спит или впал в какое-то оцепенение, но тут его взгляд упал на стакан в руке проводника — в нём неподвижно висел кусок рафинада, над которым поднималась цепь таких же неподвижных пузырьков.

Он уже знал, что надо делать дальше. Шагнув к проводнику, он осторожно сунул руку в боковой карман его кителя и вынул оттуда ключ.

Выйдя в тамбур, он подошёл к двери, сунул ключ в круглую скважину — он вошёл неглубоко, потому что скважина была забита многолетним мусором, — и повернул его. Дверь со скрипом открылась, и на пол посыпались набитые в её щели окаменелые окурки. Андрей подумал было, что надо вернуться в купе за вещами, но понял, что ни одна из тех вещей, которые остались в его лежащем под диваном чемодане, теперь ему не понадобится. Он встал на край рубчатой железной ступени и поглядел в темноту. Она была бесконечной и тихой; из неё прилетал тёплый ветер, полный множества незнакомых запахов.

Андрей спрыгнул на насыпь. Как только его ноги ударились о гравий, которым были присыпаны шпалы, сзади раздалось шипение сжатого воздуха, а ещё через секунду лязгнули растянувшиеся сочленения между вагонами. Поезд тронулся и стал медленно набирать ход. Андрей отошёл на несколько метров в сторону и посмотрел на «Жёлтую стрелу».

Со стороны она действительно походила на сияющую электрическими огнями стрелу, пущенную неизвестно кем неизвестно куда. Андрей посмотрел в ту точку, откуда появлялись вагоны, а потом в ту, где они исчезали, — с обеих сторон не было видно ничего, кроме тёмной пустоты.

Он повернулся и пошёл прочь. Он не особо думал о том, куда идёт, но вскоре под его ногами оказалась асфальтовая

дорога, пересекающая широкое поле, а в небе у горизонта появилась светлая полоса. Громыхание колес за спиной постепенно стихало, и вскоре он стал ясно слышать то, чего не слышал никогда раньше: сухой стрекот в траве, шум ветра и тихий звук собственных шагов.

(Виктор Пелевин. *Жёлтая стрела*)

НОЯБРЬ

24

суббота

*Без штанов, надев очки,
Я лежу на девочки —
И читаю бодро, яро
По-французски Бодрийяра.*

(1990-е)

НОЯБРЬ

25

воскресенье

Боря! Мы так рады были с Димой получить от тебя письмо! Мы очень часто вспоминаем тебя. Я дважды ездила в Россию и пыталась тебя разыскать, но, увы, летом ты недосыгаем. Поездки мои были очень короткими и всегда несколько скомканы: какой-то поток несёт тебя и ты уже ни в чём не волен, как во сне. Пишу письмо в Верочкиной палате, короткими урывками, так что оно будет бестолковым, но ты смирись, другой возможности писать у меня нет. Как ты знаешь, Верочка <дочь> серьёзно больна, три года назад ей поставили диагноз «опухоль среднего мозга». Позади пятнадцать операций, две серии радиаций, химиотерапия. Пытались мы использовать и нетрадиционные методы лечения: травами, китайский метод, всяких врачей, включая филиппинских, англичанина Хьюза. Сейчас Вера четвёртый месяц в госпитале. У неё полностью нарушена координация, поэтому она не может ходить. Нарушены нервы левого глаза (он не закрывается и не видит), плохо слышит левое ухо. Не работают плотательные нервы, потому еда попадала в лёгкие, в результате она получила сильное воспаление лёгких. Сейчас она не может самостоятельно дышать, четвёртый месяц подключена к машине, в лёгкие через горло ей вставлена специальная трубка. Кроме того ей вставлена трубка в желудок, так как через рот её кормить опасно. Всё это болезненное для неё, но она всё

переносит с ангельским терпением. Добавь к этому, что и говорить она из-за всех этих трубок не может. Излишне говорить, что все в семье готовы поддерживать Вершку кто как может. В основном я с ней в госпитале, Дима <муж> разрывается между работой и как-то подменить меня у Верочки, да и малыши тоже требуют хоть какого-то внимания. С ними в основном мой отец, ему уже 80 лет, но он ещё довольно крепкий. Прошлой осенью умерла моя мама, так что папа теперь здесь без языка, да и вообще в 80 лет трудно начинать всё заново. Капочка <старшая дочь> живёт в общежитии, но на выходные приезжает домой или в госпиталь к Верочке. Хотелось бы тебе подробнее написать, о чём думаем, что читаем, с кем встречаемся, но туго со временем, да и «чукча» на сей раз не писатель. <...> Я помогаю Гуверу составлять архив всех неформальных движений и групп. Начала это дело несколько лет назад, когда «неофициальная литература» была здесь редкостью. Гувер платил 20 центов за страницу, из них около 30% налог. Делала я это, потому что хотелось поддерживать журналы и людей (знаешь, был такой комплекс, что сбежали от трудностей, а там люди дело делают, так нужно хоть как-то помочь). Ну и хотелось сохранить всё это для истории, ведь я помню, как ты жаловался, что некоторые номера «Часов» исчезают бесследно, и даже у вас не все они есть. Да и самой было интересно прочитать то, что когда-то проходило через меня. Теперь, конечно, много изменилось. Гувер буквально захлёбывается от потока литературы, которую ему предлагают, причём по смехотворно низкой цене. Правда и литература стала иной: толстых <машинописных> журналов практически нет, зато огромное количество всяких газет. Времени просматривать всё это у меня абсолютно нет, да и интереса тоже. И комплексы как-то все прошли, оказалось, что с трудностями здесь тоже всё в порядке. <...> Пиши нам обо всём, нам с Димой очень интересно всё о тебе знать, а также твоё мнение обо всём. Прошлым летом Капа была в Петербурге, я очень хотела, чтобы она встретилась с Максимом, да и ей хотелось увидеть «мальчика, который подарил ей клоуна», но они так и не встретились.

Привет всем своим.

Тая <Ленкова>

1.10.93.

От критики мы незаметно перешли к научному изучению Ремизова, и здесь надо сказать, что в России оно не начиналось, а на Западе только чуть-чуть началось, хотя недостатка внимания к писателю не было, диссертации о нём писались. Если не ошибаюсь, только одна из них попала в печать. Есть неплохие специалисты по Ремизову, но некоторые из них не публиковали не только книг, но даже и статей о нём. Недавно в Париже появилась хорошая библиография ремизовских произведений, и к ней в Вене сразу сделали в рецензии шестнадцать страниц поправок и добавок — что хорошо демонстрирует трудности ремизоведения.

Ремизова трудно не только изучать, но и просто читать. Вышеупомянутого молодого человека легко понять. Взять, например, те же не понравившиеся ему *Крестовые сестры*. С каких «позиций» подойти к этому роману? Было бы нетрудно, если б тут был авангард; но авангарда нет. Авангард — это или разумное перераспределение элементов, или сведение к эстетическому скелету, или творчество не от «головы» или «сердца», а от печёнки и спинного мозга, или честная «реникса», или «долой искусство» — дырка от бублика. У Ремизова иное; он скорее реалист, но особого толка («тема моя — жизнь с её чудесным»). На поверхности *Крестовые сестры*, как часто у него, безысходный-беспросветный русский роман с «проблемами» («но человека человек», есть Бог или нет, кто виноват), только заметно стилизующий: там гоголевское эхо, тут оборот из Достоевского. Однако рядом — нечто дразнящее, какое-то нежелание (или невозможность?) честно, «по-русски» ответить: да или нет. Лейтмотивы он печатает в разрядку, и они как будто не только дают ключ, а прямо-таки вбивают в голову читателю какую-то идею, но некоторые из них только запутывают. Зачем-то в романе целых три Веры, но даже если они все три «крестовые сестры», ими это сословие не исчерпывается. А некоторые героини, непонятно, принадлежат к ним или нет. Вообще нередко Ремизов пишет «как не на-

до» (в отличие, например, от Горького, который всегда «как надо»). О главном часто надо догадываться; Готов, пружина действия, прячется где-то за кулисами; некоторые части вроде как не нужны или тонут в полутьме: болтовня заглушает важное. Присмотревшись, обнаруживаешь, что и стилизация вовсе не подражательная, а часто пародическая: Ремизов как бы коллекционирует наиболее набившие оскомину ситуации из русских романов и пьес. Стилистика — тоже камень преткновенья. Ремизов — виртуоз «подсловья, которым богата речь». Раннего Ремизова ещё сравнительно нетрудно читать; только отдельные словечки время от времени гонят к Далю и к энциклопедиям. В позднем труднее идти за «извилистой мыслью» писателя. Иногда фразу не понимаешь, пока не найдёшь правильную интонацию (как при чтении письма от малограмотного, где нет знаков препинания или они поставлены неправильно). Впечатление «непричёсанности» усугубляется ещё и тем, что многие книги Ремизова неуловимы по жанру. Даже его fiction до крайности разнородна. В *Посолони*, например, к фольклорным миниатюрам, расположенным по временам года, прибавлена «поэма»-повесть о Алалае и Лейле (этакая ремизовская «Дорога на океан»), а в конце читатель получает целые страницы учёных примечаний, как будто это диссертация (впрочем, и в тексте Ремизов любит давать годы рождения и смерти, как в учебниках или словарях).

Вероятно, первая задача сейчас — это описать всё творчество Ремизова, что при его феноменальной плодовитости дело нешуточное. Пусть некоторые его книги совсем небольшие, и все-таки 83 — цифра внушительная, и я не удивлюсь, если сам Хорст Лампл, пожалуй, лучший сейчас ремизовед, не видел воочию всех его книг. Хотел бы я посмотреть на коллекционера, который собрал их все! Читая *Бахчисарайский фонтан*, мы помним, что есть *Капитанская дочка*. С Ремизовым дело обстоит иначе. Те (до сих пор немногие), кто читал три-четыре известные его вещи, не

подозревают, что у него ещё по меньшей мере с десяток значительных книг. Потому-то и необходимо описать, по возможности, всё. Даже более или менее знакомое — *Посолонь, Пруд, Трагедия о Иуде, Повесть о Стратилатове (Неуёмный бубен), Крестовые сестры, Пятая язва, Взвихренная Русь* — не дают представления о таких шедеврах, как *В поле блакитном, Россия в письменах, Ахру, Кукха и По карнизам*.

Мне хотелось бы особенно рекомендовать вниманию читателей послевоенный период Ремизова, по-моему, самый замечательный и, к сожалению, в полной мере не оценённый. Здесь, буквально, что ни книга, то шедевр, а проза достигает предела выразительности и утончённости. Среди них есть такие, которые просто обязан знать каждый образованный русский: собрание снов *Мартын Задека*, мемуары необычные *Мышкина дудочка* и более обычные *Подстриженными глазами*, демоника *Бесноватых* (может быть, лучший пример переписывания Ремизовым старинных повестей на свой лад).

Сны, память и переписывание — три основные темы-аспекта ремизовского творчества, и часто не знаешь, где начинается одно и кончается другое. Лично для меня вершины этого творчества — две книги послевоенного периода: *Огонь вещей* и *Мелюзина. Огонь вещей* — одно из самых значительных произведений русской критической эссеистики. В том, что Ремизов говорит в нём о Гоголе, с ним равняется только Андрей Белый, а к *Мёртвым душам* Ремизов здесь приблизился, возможно, ближе всех других. Очерк о снах у Пушкина должен войти в любую антологию русской критики и изучаться в русских средних школах. *Мелюзина* — «переписанная» западная легенда, и о ней трудно говорить: это сама поэзия.

В Ремизова нужно вчитываться, о нём надо писать, его необходимо изучать — а для этого его нужно издавать: и раннее, и позднее, и не видевшее света. В конце концов, когда-нибудь в читательском сознании выкристаллизуется

новый образ Ремизова: не юродивого (каким его выставял не один критик), а одного из самых серьёзных писателей России, писателя необычайного диапазона и своеобразия, важный ключ к предреволюционному русскому ренессансу, продолжавшемуся в эмиграции. Тогда, вероятно, мы поймём, почему он называл *Выбранные места* Гоголя «одной из музыкальнейших книг русской литературы» и зачем он образował Обезьянью Палату (которую, право, неплохо возобновить).

Во всяком случае, теперь вовсе не обязательно выбирать между Ремизовым и Буниним. Ведь вкус — не только в правильности выбора, но и в широте этого выбора. Надо уметь ценить и Баратынского, и Бенедиктова, «и блеск Алябьевой, и прелесть Гончаровой».

(Владимир Марков. О свободе в поэзии)

Un mio sogno di vecchia data: un mondo senza parole.
«Un sogno da scrittore».

E all'improvviso sotto i piedi appare la «terraferma»: il mito.

Dio creò il mondo — il diavolo il tempo.

La cosa più vicina alla realtà è la cosa più lontana da lei.

Le donne — i primi scultori, gli uomini — i primi pittori.

Il bene è separato dal male da una barriera sottile il cui nome è: persona.

La scienza comincia con il voyeurismo.

Ecco le forme del dialogo: polemica (Europa), insegnamento (India), conversazione (Cina), la doppia confessione (Russia).

Le persone guardano il mondo solo attraverso gli occhi della loro professione.

Ci sono libri che è semplicemente impossibile leggere all'aria aperta.

Io non so perché vivere. Ma io non so perché non vivere. «L'asino di Buridano».

Talvolta sarebbe utile guardare noi stessi dalla nuca.

Senza Dio «tutto è permesso». Anche Dio è permesso.

L'epoca della stabilità arriva quando ai figli e ai padri vengono insegnate le stesse cose. Mi pare che stiamo vivendo in un'epoca del genere.

L'umanità cammina con i talloni in avanti.

Come un boa constrictor con un coniglio, l'uomo inghiotte la sua giovinezza, poi nel silenzio e mezzo addormentato, la digerisce fino alla sua morte.

La musica viene creata dal silenzio, non dal suono.

Trenta volumi di Hegel e tre righe di Basho. Chi ha la meglio?

(Trattini)

В сознании мастера

НОЯБРЬ

28

среда

Безумству храбрых поём мы песни — и не только потому, что один-единственный храбрец обеспечивает процветание множеству певцов. Состояние нынешней молвы о «ленинградских шестидесятниках» убеждает, что запоздалость избавляет гомеров от потребности в улиссах и ахиллесах. В чём в самом деле разница между безумством храбрых и литературной бойкостью? И при чём тут ахиллеса?

Летом 1967 г. Анри Волохонский женился на моей сестре и поселился в нашем доме, тут же наполнившемся такими блистательными говорунами, как Алексей Хвостенко, Леонид Ентин, Юрий Сорокин. Вскоре выяснилось, что последний не только словесен, но и мастеровит. Это сблизило нас

и, малое время спустя, мы приступили к работе, повлекшей многолетнее соавторство. Изделие — металлический сувенир к юбилею генетика Лобашёва — получило известность под названием «дрозофила». Образ действий был охарактеризован Волохонским как «суетщательное рукоблудие».

Ревнивые приятельские счёты! Все мы изъявляли рукодельные намерения, но один Волохонский не зашёл дальше сообщений о своей умелости. Все мы были склонны поумничать. Эрудиция и риторические наклонности обеспечивали Волохонскому первенство в этой домашней перипатетике, если бы не логическая зоркость и полемическая находчивость Сорокина. Все мы считали себя идеальными друзьями. Сорокин оказался единственным из нас, кто не был лишён дара дружбы. Мне доводилось убеждаться в его готовности вступить в дело, в драку, в пир, в беду, не колеблясь и ни на что не претендуя в дальнейшем.

Что же до мастеровитости Сорокина, то она была скорее артистичной, чем какой-либо иной. Застенчивое прикосновение к материалу, агрессивная грация действий инструментом, сомнамбулическое витание в пространстве верстака, изуверская придирчивость к итогам собственных усилий — не страха ошибки, но страха прекращения творящего действия ради.

И, разумеется, не ради страха лишиться заработка, хотя Сорокин принадлежал к редчайшей разновидности вольнодумцев, способных к свободе без иждивенчества. Его пример опровергает мнение о том, что неблагоприятное внимание «органов» обрекает на нищету. Более того, доходы от его «ненасильственного сопротивления» служили источником ссуд (обычно безвозвратных) для близких и не очень близких знакомых. Можно добавить, что с 1957 г. (после исключения из Военмеха за участие в небезызвестных обсуждениях выставки Пикассо) он не вступал в согласие с режимом — пусть даже в качестве абитуриента, рабочего сцены или, скажем, институтского лаборанта.

Произведения Сорокина — художественнаяковка, чеканка, ювелирные украшения — были достаточно успеш-

ны, чтобы обеспечивать упомянутые доходы, но отнюдь не исчерпывали его артистических проявлений. Дружба с Бродским, Волохонским, Аронзоном имела тщательно скрываемую подоплёку: Сорокин сочинял стихи. Способность к трезвой самооценке — естественное свойство сознания мастера — исключает мысль о робости перед мэтрами как возможным мотиве этой скрытности. Более вероятно неприязнь к репутации ученика, подразумеваемой такой дружбой независимо от того, каковы именно реальные отношения. Так или иначе, но Сорокин начал показывать свои стихи в конце семидесятых, годы спустя после гибели Аронзона и эмиграции Бродского и Волохонского.

Его стихи станут более понятны, если знать, что поэт был щедро наделён способностью замечать и трактовать красоту формализмов бытия, хотя никогда не пытался строить на этом свою карьеру. Впрочем, карьера предполагает оседлость. Между тем, Сорокин был прозван Путешественником, поскольку исколесил север России, Заволжье, Крым, Кавказ, Среднюю Азию, Сибирь. Эти странствия — не род занятий, но форма существования — помогают понять природу его феномена. Творческое действие как внезапная модуляция навигационного состояния. Точь-в-точь как у бунинского героя, бешено мчащегося в телеге, чтобы крикнуть случайно-встречному: «Эх, барин, журавли улетели!» Совокупность действий строит не столько творческое наследие, сколько факсимиле годовых колец дерева жизни.

Его стихи покажутся менее странными, если догадаться, что поэт не стремится навязать читателю свои истины. Строго говоря, ему нет дела ни до читателя, ни до истин. Он делает нас случайными свидетелями откровений и ценит не итог откровения, но пребывание в откровении — единственный неоспоримый знак успешности земного существования.

*(Феликс Равдоникас. Предисловие
к «Бессмертию кристалла» Юрия Сорокина, 1999)*

Мне ничуть не трудно согласиться с учёными, которые считают, что рассказ о сотворении мира происходит от более ранних языческих мифов. Конечно, надо понимать, что значит слово «происходит». Повествования не плодятся, как мыши; их рассказывает человек, и каждый рассказчик или меняет их, или нет. Менять их он может и намеренно, и бессознательно. Если он меняет их намеренно, в дело идут его воображение, его чувство формы, его этические взгляды, его представление о том, что назидательно, полезно или просто занятно. Таким образом, в так называемое (не совсем точно) развитие повествования непрерывно вмешиваются люди. Люди же, да и никто вообще, не могут делать ничего доброго, если Бог не поможет. Когда длинный ряд изменений превратил легенду, не имевшую религиозного или философского смысла, в историю о творении из ничего и о трансцендентном Творце, я ни за что не поверю, что некоторых рассказчиков, хотя бы одного, не вдохновлял Бог.

Таким образом, миф, который мы находим у многих народов, поднят Богом над самим собой, признан Им и призван служить тому, чему он сам по себе служить не мог. Обобщая, скажу: по-видимому, Ветхий Завет состоит из всего, из чего состоит любая словесность, — в нём есть хроники (нередко очень точные), стихи, политические и нравственные рассуждения, любовные истории и многое другое, но всё это служит слову Божию. По-разному, конечно: пророки пишут, ясно ощущая Божью руку; летописец, быть может, просто записывает события; стихотворцы, сложившие «Песнь Песней», наверное, ни о чём и не думали, кроме самого приятного, мирского смысла. Кроме того, и это очень важно, всё перемножено на труд и иудейской, и христианской Церквей, сохранивших, отобразивших и освятивших именно эти книги. Прибавьте ещё труд тех, кто правил и издавал их. Каждому помогал Бог, но не каждый об этом знал.

Свойства сырья вполне ощутимы. Мы встретим нелепости, ошибки, противоречия, даже грех <...>. Ветхий Завет — Слово Божие, но совсем не в том смысле, что каждая фраза в нём верна и безупречна. На нём — печать Божьего слова; а мы — с Божьей помощью, почтением к толкователям, которые были мудрее нас, и во всеоружии того ума и той учёности, какие нам отпущены, — примем это слово, но не как энциклопедию и не как энциклику. Мы войдём в него, настроимся на его волну и тогда поймём всю полноту сообщаемой им вести.

Нам, людям, это кажется истинным расточительством. Какая, в сущности, несовершенная и неполная возгонка мирского сырья! Насколько бы лучше прямо получить чистый свет последней истины, и притом упорядочению, в системе, чтобы мы могли заучить всё это, как таблицу умножения. Поневоле позавидуешь тем, кто верит в совершенную непогрешимость Писания и Церкви. Но остережемся рассуждений вроде: «Бог делает всё как лучше; это — лучше, значит, Богу надо сделать именно это». Мы смертны и не знаем, что для нас лучше, и нам опасно предписывать Богу, как Ему поступать, тем более, что здесь, на земле, мы и не видим Его дел со всех сторон...

(Клайв Льюис. Размышления о псалмах // Избранные трактаты. Литературное приложение к журналу «Часы», 1985)

Прославление Олега Соханевича

В море Чёрном плывёт «Россия»
Вдоль советских берегов,
Волны катятся большие
От стальных её бортов.
А с советских полей
Дует гиперборей,

Поднимая чудовищный понт,
Соханевич встаёт,
В руки лодку берёт
И рискует он жизнью своей.

Как библейский пророк Иона
Под корабль нырнул Олег,
Соханевич таким порядком
Начал доблестный свой побег.
Девять дней и ночей
Был он вовсе ничей,
А кругом никаких стукачей,
На солёной воде,
Ограничен в еде,
Словно грешник на Страшном суде.

На турецкий выходит берег
Соханевич молодой,
Турки вовсе ему не верят,
Окружая его толпой.
И хватают его,
И пытаются его:
— Говори, — говорят, — отчего?
Ты не баш ли бузук,
Ты нам враг или друг,
И откуда свалился ты вдруг?

— Плыл, приплыл я сюда по водам,
Как персидская княжна,
От турецкого народа
Лишь свобода мне нужна.
Я с неволи бежал,
Я свободы желал,
Я приплыл по поверхности вод,
Я не баш, не бузук,
Я не враг и не друг
И прошу не чинить мне невзгод.

Турки лодку проверяли,
Удивлялися веслам
И героя соблазняли,
Чтоб увлечь его в ислам.
— Если ты, — говорят,
Десять суток подряд
Мог не есть и не пить, и не спать,
То тебе Магомет
Через тысячу лет
Даст такое, что лучше не взять.

— Не тревожьте, турки, лодку,
Не дивитесь веслам,
Лучше вместе выпьем водки —
Лишь свобода наш ислам.
В нашей жизни одно
Лишь свободы вино,
И оно лишь одно нам мило,
Нам свобода мила,
Вот такие дела,
И прошу не неволить меня.

Возле статуи Свободы
Ныне здравствует Олег,
Просвещённые народы
Мы друзья ему навек.
Лишь такими, как он,
От начала времён
Восхищается наша земля.
Он прославил себя
И меня и тебя,
Смело прыгнув за борт корабля.

*(Алексей Хвостенко,
Анри Волохонский, 1977)*

ДЕКАБРЬ

1.12.01

Всё-таки удивительно, как активны немецкие философы (под ними подразумеваются профессора философии) в публичном пространстве: по радио, в газетах по актуальным темам они главные эксперты, их мнение распространяют в массы, а они чувствуют себя призванными. Это *новые священники*.

ДЕКАБРЬ

1

суббота

7.12.01

Увидела всю эту предновогоднюю праздничную бургерскую жизнь, в Берлине и здесь: немцы выходят на улицу жить — едят, пьют, гуляют, покупают, развлекаются. Все чувствуют себя довольными и радостными, с чистой совестью, что хорошо поработали год, а теперь вот праздник. Я как-то стесняюсь покупать, разгуливать. Всё-таки нас всех растили *революционерами*, в героической морали, противниками спокойной упорядоченной буржуазной жизни с церковью в воскресенье, с рынком в субботу.

18.12.01

Осознала, что здесь за распределение силовых линий, после сегодняшней лекции, где собрался народ послушать спортвиссеншафтлера. Женщины здесь гораздо менее сексуальны в своём поведении, чем русские, потому и не привлекательны в большинстве, а мужчины гораздо мощнее, чем у нас, эротизируют пространство, у них инициатива и сила. То есть распределение ролей совсем другое, другое соотношение активности между мужчинами и женщинами. Коротко говоря, хотя это принципиально и из этого складывается вся жизнь, у нас активность проявляют женщины, они привлекают, излу-

чают, эротизируют, причём всё вокруг, независимо от своего статуса и возраста. Главная установка наших женщин: всегда привлекать, влюблять в себя и т.д. Отсюда на бессознательном уровне микродвижения, одежда, причёска. Ну, про наших мужчин не объясняю: они ленивы и неповоротливы, любят к тому же водку. Здесь же наоборот: активны и привлекают, излучают что-то в пространство и делают жесты мужчины, конечно, на бессознательном уровне. Женщины же немецкие — редуцированы или нарочно себя редуцируют.

Заметила, что немцы (может быть, европейцы) живут очень открыто, чтобы не сказать демонстративно, ну, что ли, меньше стесняются, меньше у них интимное пространство, всё делается на виду. Как будто нет ничего такого, что они делали бы при закрытых дверях, какая-то вывернутая наружу жизнь. Переодеваются, моются, медитируют, думают... всё публично. Не могу привыкнуть к тому, что дверь в душевую принципиально не закрывается: три кабинки с прозрачными стёклами, так и хожу до сих пор по ночам. Сауна — только совместная. Шторы никто никогда не закрывает, кроме меня, люди напротив уже с подозрением на меня посматривают, что я там скрываю.

Поделилась с Хартвигом ощущением времени в Грайфсвальде. А именно, здесь преследует ощущение, что не успеваешь, что нужно ещё что-то сделать, что нужно всё время куда-то бежать. Действительно, ночью я ложусь поздно, а утром вскакиваю в половине восьмого без будильника с чувством, что всё проспала, и уже и мысли нет о том, чтобы поваляться в кровати и вспомнить свои сны. Какое-то нервное ощущение, что не успеваешь, что должен ещё и ещё. Хотя формально забот меньше, чем в Питере.

Я спросила, почему так. Харри сказал: потому, что тут больше возможностей провести время, а Хартвигом сказал: потому, что здесь постоянная гонка, можно заработать больше и больше денег и это бесконечно, остановиться в этом процессе невозможно: зарабатывать, экономить — и так по кругу.

6.01.02.

Вдруг подумала, что мера чувствительности или восприимчивости к жизни, к её ритмам, изменениям, диспозициям (в отличие от «ограниченной» и чрезмерной чувствительности к запахам или звукам) — это *мера доверия*.

Кажется, психоанализ придумали и им занимаются люди, не способные любить человека, чувствовать его, ситуативно реагировать, прощать и каждый раз начинать сначала. Потому они и придумывают сложные системы и объяснения, загоняя его, слабого и неуверенного, в устойчивые структуры и понятия.

09.01.02

Поняла, почему трудно жить и реализовываться в России. Первая версия была — из-за неуважения и непризнания по отношению друг к другу, из-за отсутствия культуры не то, чтобы доброй воли, но хотя бы привычки сдерживать злую волю.

Теперь немного вариация. Здесь у людей дистанция по отношению друг к другу больше, что известно. Никто не лезет ни в душу, ни в дела, ни в стратегии и планы другого. Не вмешивается в положительном смысле. Если человек хочет что-то реализовать, то не окажется так, как у нас, где все его осудят, попробуют на каждом шагу помешать (иногда бессознательно), а то и того хуже, начнут двигаться в том же направлении, чтобы перехватить, задеть, снять его уникальность. Здесь люди даже близко не смеют приблизиться к темам другого, а уж об уважении к уникальности и не говорю — в ней основа западной морали.

Интересно, что немецкие студенты не готовятся в философы или в политологи, в социологи или психологи. Они чаще всего выбирают *практическую* специальность: учитель, теолог-священник. И уже потом, отработав положенную практику и сдав экзамены, можно решать, не заняться ли научной работой по философии или другой дисциплине. Но чтобы сразу решить: я буду писателем, учёным, художником и т.д. — такого я не встречала.

17.01.02

Про создание «фигур» прочитала у Карла Шмитта, который считает это признаком модерна. Конечно, Юнгер, как писатель модерна, описывает Партизана (у Шмитта тоже есть книга, посвящённая этой фигуре), Воина, Рабочего. А некоторые полагают, будто это только русские *создают мифы вместо настоящей философии*. Создание героической или мифологической фигуры подобно созданию модели, определению понятия. В чём отличие между мифологическим персонажем, определяемым рядом поступков и дающим имя характеру или даже целому комплексу, и модельным образованием, например, понятием. И то, и другое — в дискурсе. Штегмайер учит думать иначе, работать иначе с текстом, учит своему методу. Вообще, это вопрос, насколько нужно учить методу, а не воодушевлять смыслом, ибо он своими выступлениями не задевает. Поэтому и тяжело, ломает, что учиться методу сложно.

Вопрос, кто такой философ, у нас наталкивается на вопрос, кто популярен как философ. То есть историки философии, блестящие знатоки Гегеля, подобные Штегмайеру, не считаются у нас философами. Философ — это тот, *кто имеет свой проект*, свою автономную мысль, метафору, слово, жест... Это значит, что он умеет самостоятельно пользоваться своим разумом и популярен благодаря ему. Но эта популярность чаще всего письменная.

25.01.02

Я вдруг поняла, почему можно не любить (Набоков) Берлин. Немецкий дух, в существовании и своеобразии которого я не сомневаюсь (во многом миф о нём справедлив, это для меня *слишком мужской дух* — дух воинственный, государственный), не может проявить свои лучшие стороны в мультикультурной мега-атмосфере большого города. Это дух, по сути своей, провинциальный, не хочется сказать местечковый, но дух поместья, княжества, бурсы, небольшого университетского города. Германии, возможно, не идут большие города.

28.01.02

Два разных объяснения возникли у нас по поводу коллекции жуков, которую почти всю жизнь собирал Юнгер, а представила нам её его эмоциональная домоправительница и смотрительница дома-музея. Для Валеры <Савчука> собирание жуков, которые покрыты панцирем и представляют собой воинственный характер, — это трансформация юнгеровского опыта Первой мировой, где самым мощным оружием были танки. Его интуицию подтверждает немецкое слово «танк» — Panzer.

Моя же версия в том, что стиль Юнгера пророческий, он пишет о судьбе цивилизации, о течениях и тенденциях времени. На противоположном полюсе такого всеобщего анализа возникает интерес к частностям, к насекомым и их жизни.

28.02.02

День прощания и рождения сложился на удивление славно, мне хотелось устроить радостную встречу... Получилось что-то среднее между русским и немецким: были бутерброды и напитки — как это обычно делают немцы, и торт с чаем — как у нас.

Говорили попеременно на русском, немецком, английском... а потом, уже изрядно повеселев, обсуждали, в чём состоит европейская идентичность. Вопросы ставил Нуридин — азиатский человек, отвечал Хартвиг, не соглашался Петер — датчанин и японец в одном лице. Хартвиг говорил, что европейцев отличает Dissense, возможность разных мнений, возможность отклонений от общего мнения, которые при случае могут сыграть свою роль, вступить в силу, оказаться решающими. Возможность отдельного индивидуального пути плюс антично-греческий агон — то, что отличает европейцев. Ну, а японцы отличаются способностью перенимать, не изменяя своей традиции.

Прощались долго, допоздна, до первых птиц, целовались и крепко обнимались.

Берлин своей скоростью и потоками всё стёр, превратил в память, в тоску и лёгкую грусть об ушедшем. Еду домой, опять полная луна, теперь убывающая.

(Гульнара Хайдарова, Записки из Грайсфельда)

ДЕКАБРЬ

2

воскресенье

Не в том беда, что голова седа,
Не в том беда, что полночь на пороге,
Что мёртвая замшелая вода
В который раз обнюхивает ноги.

А в том беда, что голова седа,
А в том беда, что полночь на пороге,
Что чёрная нездешняя вода
Несёт, как дикаря в его пироге.

(Елена Елагина)

ДЕКАБРЬ

3

понедельник

3 декабря 2000. Кровать поставили вдоль стены, спать головами на Восток. Так спится глубже, чем поперёк меридиана. В результате приснился Хлобыстин с лекцией «Неизбежность шедевра» и мой сон в кустах. Природа в тумане. Вчера Инга сказала: «Ну и что?» — в смысле вчерашнего дня. Как бы день потерял, ничего не произошло экстраординарного. Ничего не произошло: никого не убило, не вырвало, — и слава богу. Страданий же не было, сказал я, закрывая глаза в тёмном блаженстве. Завтра пойдём ловить рыбу в сети Интернет. Но сеть сегодня была занята, вместо Интернета очутились в музее Тимура. Музейная лепота. Храм памяти. Сияющая белизна без пятнышка крови. Только ятаган уж больно широк и стрела реальна и неотёсанна. Астролябия Улугбека не по годам заумна. Карта завоеваний напомнила мне рисунки умалишённых. От Углича до Дели, кони пили в Ниле, ели траву в Варшаве. Завидная сверхизбыточность. Потом пошло на убыль.

На бульваре всё то ж. Шашлыки, немецкая музыка, зимние ивы повесили свои кудри в обезвоженный фонтан. Кипарисы только стоят торчком. На брюхе у меня фотоаппарат. Навожу на Ингу. Она смотрит смиренно, пробуя мимику: уголки губ. Дома рисуем, совершенствуем мастерство к Но-

вому году. Воскресный фильм привносит излишнюю динамику в размеренность вечера: форсированный комизм.

Разобрал, на ночь глядя, угол с книгами, не без пыльной тряпки. Из паутиного адка принёс в кабинет несгораемый запас. «Мёртвые души», например, развалились на части (карманный вариант). Есть книги, которым уже 20 лет. Этикие герои Дюма. Выдохшиеся барбосы. Рассказывал Инге, что видел в Москве: пир-духа. Приснился Алекс с вопросом «что такое постмодернизм?» — спрашивал меня как по-своему умного человека. Я описал. «Это внешние проявления, — сказал Алекс, — то, что там всё летает на самолетах. А в чём суть?» — «Постмодернизм — это такой гомосексуализм», — сказал я. Но Алекс был не удовлетворён ответом.

4 декабря 2000. Опять дождь. На полу в кабинете натекла лужа дождя. Читаю книжку Макса Нордау «Вырождение». «Это всё неврастения», — говорит он о настроениях конца прошлого века. Сам-то он бодрится. К концу дня нарисовал маленький шедевр. Домик на опушке.

5 декабря 2000. Приснился отрезанный член и писание заявления о пришивании его на место: заявление было написано с большой долей поэзии и остроумия. Пришили, но профессор выразил сомнения в правильности срастания. Очнулся: всё на месте. Ах ты подлый грязный сон! Бью подушку и сплю дальше, понимая, что всё это негативное влияние ч/б телевизора.

А в реальности — подступление зимы. Отправился в милицию за постоянной пропиской, набрал бумажек, которые вопрошают о смысле жизни. По заполнении их обнаружится тихая бессмыслица. Как на это посмотрят начальники. Дятел выбивает дерево уже не первый год. Он буквоежка. Гоголь.

Читаю рассыпавшегося Гоголя. Дошёл до ночной серенады про поручика, в окошке которого всё горит свет

и он всё не может наглядеться на бойко сточенный каблук. Уснул вместе с этим несусветным каблуком.

6 декабря 2000. Вот и солнце. Пройтись, что ли, по солнцу?

Повысовывал нос за окно, но так и остался в комнатах. Инга принесла с охоты двух увесистых толстолобиков: один ещё открывал пасть. Зажарили бандитов. Кошка сунула извне голову в форточку: подайте плавники! Угостили головой размером с кошкину. Урчание на всю Вселенную. Инга сделала четыре большие работы, так сказать, одним махом. Ночью — футбол.

7 декабря 2000. После Нового года — большие планы. Купить компьютер. Научиться Интернету. Начать английский. Рисовать дорогие картины. Издать книжку. Покататься на лыжах с гор. Приехала Инга с деньгами, пошли в поход на базар. Давно я не был на базаре. На 8 тысяч сделали 31 покупку! Холодец, хурма, корейские грибы, огурцы, яблоки, абрикосовые косточки, окорок и зелёный лук. Красная гвоздика — под ноябрь. Мыло для рук. Зашли в ресторанчик корейской кухни: почитать меню. Салат из бамбука. Это на будущее. Сегодня — проба всего по чуть-чуть. Мёд с вареньем. Чай с верблюжьей колючкой. Зимние маленькие мухи так и выются над столом. Под «Стариков-разбойников» печенье-таблетки «Курувазье».

Под мелодию урчания соков читаю «Смерть в кредит». Рисовали холсты. Вчера было землетрясение в Самаре.

8 декабря 2000. Снилось, что сплю на снегу. День обещает быть теплым. Поехали с Ингой на другой рынок — в сорок раз больше вчерашнего. Истратили 5 тысяч. Купили золотого корня, боярышника, бабочку с изюмом. Пил немецко-узбекское пиво, оглядываясь на сумерки. Обратного неслись на такси под луной. Курил «Родопи». Дома завари-

ли борщ. Открыл чемоданчик с рукописями от 80-х годов. С любопытством полистал тетрадки. Вполне развитые тексты. С ароматом времени: мне 19–20 лет. Тогда я не ленился писать, был в письменности по-настоящему, как писатель. Это сейчас я работаю в жанре «записки для туалета». В юности же был маньяк.

(Сергей Спирихин, Кони́на, отрывки)

→ 9 декабря: Кони́на, 2

От автора

Эта книга <«Воланд и Маргарита»> написана 20 лет назад. Основная работа над ней длилась три года: с 1983-го по 1986-й. Варианты рукописи разошлись по друзьям и знакомым; отрывок был опубликован в ленинградском самиздатском журнале «Часы» (№ 61 за 1986 г.). О полной публикации не думалось, да и время было такое, что в стол писалось легко.

Исследований «Мастера и Маргариты» имелось уже немало, моя книга возникла как результат глубоко личных переживаний и размышлений. Когда появилось желание понять суть обаяния романа М. Булгакова, у меня не было ни готовой концепции, ни сверхзадачи, ни желания полемизировать с другими исследователями. Текст создавался легко, он раскручивался, как клубок ниток, стоило только отыскать начало. Первый вариант книги возник очень быстро — месяца за четыре, остальное время ушло на доработку.

Маститый булгаковед вправе, конечно же, предъявить этой книге серьёзную претензию: в ней разбирается «текст-гибрид», слияние многих редакций, впервые опубликованных в 1973 году А. Саакянц. Он складывался из различных версий (рукописей М. Булгакова, правок его вдовы, склеек и т. д.) и заслужил нелестную оценку исследователей. Как отмечает В. Лосев: «Строго говоря, такой вариант не имеет права на существование. Но именно этот текст переиздавался в течение многих лет многомиллионными тиражами во всём мире».

Так называемый «правильный текст» был впервые опубликован в 1969 году в Германии издательством «Посев», затем — уже в Советском Союзе — в киевском двухтомнике 1989 года (изд-во «Дніпро»), позже — в московском пятитомнике. Мне следовало бы, вероятно, воспользоваться этими источниками.

Парадокс, однако, заключается в том, что рукописи живут своей жизнью, не всегда предполагаемой автором, и текст-гибрид «Мастер и Маргарита» общается с читателем своевольно и широко. Роман читают и разбирают с самых разных точек зрения — все они взаимодополняемы и по-своему убедительны. Моя работа, естественно, не претендует на всеохватность, ибо меня волновал в первую очередь секрет притягательности и обаяния «Мастера и Маргариты». Какие-то мои размышления и «дешифровки» могут, вероятно, показаться слишком субъективными и неполными.

В общем, после знакомства со строго научным изданием «Мастера и Маргариты» я свою книгу переделывать не стала, ибо ядро булгаковского романа всё равно осталось неизменным.

Приношу свою искреннюю благодарность тем, кто помогал мне в работе: Владимиру Александрову, всячески способствовавшему созданию первого варианта и подготовке книги к публикации; Борису Останину, трудами которого была устранена невнятность авторской речи; Юрию Кривоносову — за многочисленные ценные замечания; Никите Скородуму — за помощь в работе с источниками по мифологии; Сергею Ионову и Татьяне Лотис — за постоянную поддержку. А также всем, кто прочёл мои размышления о романе М. Булгакова, — это согревает сердце и вселяет надежду.

Т. Поздняева

Москва, 2006

(Татьяна Поздняева. Воланд и Маргарита, СПб., 2007)

→ 12 марта / 2017: Воланд и Маргарита

146

Что за смех, что за радость, когда мир постоянно горит? Покрытые тьмой, почему вы не ищете света?

147

Взгляни на сей изукрашенный образ, на тело, полное изъянов, составленное из частей, болезненное, исполненное многих мыслей, в которых нет ни определённости, ни постоянства.

148

Изношено это тело, гнездо болезней, брэнное; эта гнилостная груда разлагается, ибо жизнь имеет концом — смерть.

149

Что за удовольствие видеть эти голубоватые кости, подобные разбросанным тыквам в осеннюю пору?

150

Из костей сделана эта крепость, плотью и кровью оштукатурена; старость и смерть, обман и лицемерие заложены в ней.

151

Изнашиваются даже разукрашенные царские колесницы, также и тело приближается к старости. Но дхамма благих не приближается к старости, ибо добродетельные поучают ей добродетельных.

152

Малозначащий человек стареет, как вол: у него разрастаются мускулы, знание же у него не растёт.

153

Я прошёл через сансару многих рождений, ища строителя дома, но не находя его. Рождение вновь и вновь — горестно.

154

О строитель дома, ты видишь! Ты уже не построишь снова дома. Все твои стропила разрушены, конёк на крыше уничтожен. Разум на пути к развеществлению достиг уничтожения желаний.

155

Те, кто не вёл праведной жизни, не достиг в молодости богатства, гибнут, как старые цапли на пруду, в котором нет рыб.

156

Те, кто не вёл праведной жизни, не достиг в молодости богатства, лежат, как сломанные луки, вздыхая о прошлом.

(Дхаммапада, Глава о старости)

ДЕКАБРЬ

6

четверг

Пришла пора изложить вам, как я хожу в аспирантуру. Профессора у нас все чистые англосаксы: Дукачек, Спиц, Денич и Загоря. Студенты — тоже; пока я выявил израильянина, палестинца, доминиканца, барбадоску, корейца, японца и много всяких акцентов, которые я категорически не понимаю. Ещё много негров, но есть, впрочем, и считанные американцы белого вида. Чтобы пройти курс обучения, надо набрать 60 так называемых «кредитс» (очков, что ли): каждый предмет стоит от 3 до 4 очков, так что мне надо пройти их за два года от 20 до 15, пока я хожу на три семинара. Один посвящён теоретическим проблемам международных отношений, и в чудовищном списке литературы я с радостью обнаружил и «Государство и революция», и «Марксизм и вопросы языкознания», жаль, не вывез конспектов. Мы всё обсуждаем вопросы типа: как так получилось, что мир разделён на государства, или чем отличается принцип самоопределения от права на самоопределение

(понятия не имею, и мне на это наплевать). Прочесть надо три основные книжки, равно как и несколько побочных глав и статей. Семинары длятся по два часа, но можно курить, была надпись, чтобы не курили, её тут же содрали и выбросили.

Университетская библиотека чудовищно безобразна, то есть по сравнению с теми, к каким я привык, курам на смех, что в ней было, давно разобрано или разворовано, так что вопрос о покупке учебников стоит ребром, и я уже ухлопал на это дело полсотни, хотя ничего ещё и не прочёл. Клёво живём, если книжка стоит в комке 11.95, устанешь учиться. Задание на следующую неделю: написать труд в 2 (две) страницы, на стр. 1 — как я понимаю концепцию территориального государства и геополитики, на стр. 2 — что я об этом думаю. Чёрная барбадоска всё время говорит о Барбадосе и смотрит на меня многообещающе, хотя, боюсь, её уже перехватил доминиканец; как Германия, мы пришли к столу этих яств не вовремя. <...>

Но самый весёлый семинар — про проблемы индустриальных обществ, причём создаётся впечатление, что речь идёт исключительно о западных обществах. В общем, ругаем Запад, что несложно. Один профессор (их там два, тандем) — «либерал», по его собственным словам, что совсем уж скверно, но второй (югослав Денич) — марксист, вот как замечательно, и я уже попёр на него на втором занятии, сказав, в числе прочего, что югославская экономика разваливается на мелкие части, и марксист тогда пообещал (шутя) меня завалить, но либерал сказал (серьёзно), что поставить мне пять баллов. Марксист хитёр, умён и образован донельзя, и должен-таки меня на экзамене скушать, это в нём, кажется, есть, и уже завтра, если заловит, то пощиплет, поскольку надо было прочесть три книжки, а я их попросту не достал. У двух профессоров из четырёх акцент хуже моего, и одного из них это, кажется, угнетает; эх, жисть-жестянка. Это — самый главный профессор, увы, что-то не везёт мне в последнее время. Зачем я хожу в эту школу, мне всё ещё не вполне ясно, но на службу ходить — ещё хуже.

<декабрь 1977>

(Владимир Козловский, Письма из Америки)

→ 15 декабря: Козловский, 3

2 декабря 1991

Дорогой Борис,

ДЕКАБРЬ

7

пятница

посылаю Вам подборку стихов молодого поэта <Михаила Грона-са> (он кончает в этом году филфак МГУ) с моим вступлением: может быть, Вы найдёте ему место в следующих «Эксцентрах»?

Можно попросить Вас, если Вам это не понравится, передать тексты в «Вестник» Шейнкера? У меня нет другого экземпляра.

Я, по-итальянски говоря, *sto per partire*, то есть, вот-вот отплыву на баснословном пароходе.

Всего Вам доброго!

С уважением, Ваша О. <Седакова>

Что есть счастье?

ДЕКАБРЬ

8

суббота

— Что есть счастье? — спросил китайский император у своего старого министра.

— Счастье, — ответил тот, — это когда твой отец умирает, ты умираешь, твой сын умирает...

— Какие дерзкие слова! — воскликнул император и велел бросить министра в темницу, но спустя несколько дней послал за ним и спросил:

— А что же в таком случае есть несчастье?

— Несчастье, — невозмутимо ответил министр, — то же самое, что и счастье, только в обратном порядке: твой сын умирает, ты умираешь, твой отец умирает...

Восхищённый мудростью министра, император велел немедленно его освободить и щедро наградить.

ДЕКАБРЬ

9

воскресенье

9 декабря 2000. Приснилась обратная дорога А — С. Автобус остановился в Р. С сожалением подумал: что-то мало погостил в Т. Вошёл в кабинет: нет, нет, я всё в Т.: на полу, на газетах рассыпаны ягоды боярышника! Да и Инга сама вот она, умывает в цветных штанах лицо! За окном тиши-

на: суббота. Половина первого. Попили из нового чайника трав со сливовым вареньем. Нашли салфетки и засунули их за воротник. Медленное, ещё сонное курение, как на глубине. Дым идет слоями, напоминая соседнюю галактику. Нарядился в клетчатую рубаху-после-бани. На зимнем пейзаже дорисовал два чёрных дерева на юру. Какой-то засранец в это время взорвал в саду петарду; хотел вздрогнуть, но не вздрогнулось. Птица поскрипывает как-то механически, скорее по привычке, чем по вдохновению пола. Появился рыжий кот на полусогнутых лапах, что-то нашёл в листве и принялся грызть, тряся башкой. Его зовут Мурзик! Возможно, его так звали, когда он был маленький. Теперь он уже ни на что не откликается.

«Вот и лопата. Я должен всё приготовить для прихода моих превращающихся героев. Двор мой тих и светел. Лишённая листьев липа помнит, как мы сидели под ней много, много лет тому назад, белые, жёлтые, розовые, и говорили о конце века. Тогда зубы у нас были все целы, волосы тогда у нас не падали, и мы держались прямо», — это я вечером полплыл по Вагинову. «Пока я пишу, летит ненавистное время».

10 декабря 2000. После Н. года буду писать книгу «Вариант философии». А пока — встал рано, в половине девятого, на фоне чёрных стволов заметно движение микроскопического снега. Дошло все-таки и досюда. Пошёл на заре в магазин за рисом: буду делать рыбный салат. Наварил компоту, дочитал до точки «Козлиную песнь». Доспал то, что не доспал. В козлинопесенном настроении попил свежедушистого компота с золотым корнем. Обдумал вариант будущей книги, полистал Мерло-Понти... «вся та сфера бытия, где наше собственное бытие — стремится постоянно и чудесным образом присутствовать» может быть. Мой вариант будет забавнее. Смахну сейчас тряпкой пыль с холста, пойду рисовать огромный зимний пейзаж. Радиолa рoзoвaя уже нaчинaeт дeйствoвaть.

11 декабря 2000. Работа вобрала в себя все последние достижения моей новогодней живописи. Эта вещь уже XXI века — и не потому, что она громадная, а потому что в XXI веке мы все, очевидно, умрём. По ней будут судить о степени моего истощения, о степени полноты. Словом, памятник. На нём изображены сумерки, в которых мерещатся ёлки, изгиб реки прорезает заснеженную равнину с кустиками трав. На первом плане дремлет воробей. Подпись. Пришёл Игорь с бульвара, пошли пить пиво, есть жерех, отдыхать от свершений. В природе — полнолуние, зимние деревья окрашены этой японской луной. Видел в зажжённом окошке лётчика, сидящего на кухне. Поднялся к Блоку на поклон. Созерцал изменения своего созерцания. Мимолетная грусть. Инга нашла запропастившегося Стерна. Нарисовала за время моего отсутствия пейзаж полдня, какой выдался в прошлый год при затмении солнца. Освещённость вполсилы, поблекшие, как бы присыпанные пеплом цвета, предумышленная порча мира. Но ведь это на время, не навсегда. Холодок опасности. Те звери, которые были, присмирели. Затаились, чтобы опять застрекотать.

12 декабря 2000. День путешествия за справками. Накупили живых трусков для новогодней лотереи. Напекли оладий. «Белое солнце пустыни» здесь под цензурой, смотрели его подпольно: напрямую из Москвы. Сфотографировался на память и на документ. При ночной лампе, держа две книги на животе, читать то Стерна, то Селина то попеременно, то одновременно. Если бы еще удалось на них пристроить де Сада, то это был бы уже животворный треугольник, магический коктейль.

13 декабря 2000. Смотрели старые фотографии, смеялись, потому что на них изображены то такие музыканты-интеллектуалы, то весёлые проходимцы (мы). Со временем наши физиономии становятся всё более асимметричны,

всё менее притягательны. Уходит шарм талантливости, за-растает печать одарённости. Из носа уже растут волосы ужаса — о чём говорить. Пошёл к другу молодости — Кари-му Иегубаеву (Султановичу). У него тоже — болит бок: про-дуло за компьютером. Попили пива с селёдкой (селёдка — деликатес), посидели за компьютером, наблюдая за чудеса-ми фотошопа; проклятый мир превращений, Паганини нулей, Сатья Баба Клоперфильд. Возвращался через дождь. Вокруг шиповник алый цвёл, стояли тёмных лип аллеи. Старый запас. Нет, нет. Да, да. Пора учиться брать мышку за хвост. <...>

21 февраля 2001. Ничего не мог написать: ни о време-ни, ни о бессоннице, ни о поэзии, ни о болезни. Польский художник ежедневно (до сих пор) заполняет холсты белы-ми цифрами, дошел уже до 25 миллионов. Он старится по мере заполнения знаков, записывает процесс на видеолен-ку. Кроме писания цифр он не делает ничего. Для него было событием, когда он перешёл с первого миллиона на второй: помню, как у него дрогнула рука при написании двойки:

1 999 999, 2 000 000, 2 000 001, 2 000 002 — и трата времени жизни пошла на следующий виток.

(Сергей Спирхин, Коница)

История культуры, которая есть в своей существенней-шей части история человеческой символики, имеет свою «арифметику» и свою «алгебру». Первая занимается теми значениями символов, которые текстуально засвидетель-ствованы для данной эпохи, для данного — и притом воз-можно более узко взятого — культурного круга. Полезность такого анализа и его принадлежность к позитивному исто-рико-культурному знанию никому не придёт в голову брать под сомнение. В рамках «арифметики» мы имеем право привлекать для выяснения смысла памятника первой поло-

вины XI века только тексты этого же столетия (т. е. прежде всего «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона). Но что делать с теми фактами, которые мы встречаем в русле той же самой мировоззренческой традиции, в том же самом потоке, но, так сказать, выше по течению? Может ли до конца исчезнуть из состава не прерывающегося потока традиции то, что однажды в него вошло? Вопрос стоит так: мы знаем, что христианство преемственно по отношению к Ветхому Завету, и мы знаем, что оно пришло на Русь в греческих мыслительных и словесных формах; вытекает ли из этого, что те символические сцепления, которые текстуально засвидетельствованы лишь для отдалённых эпох иудейской веры и эллинской мысли, могут иметь хотя бы косвенное касательство к интерпретации древнерусского христианского памятника и текста?

Отвечать на такой вопрос следует с большой осмотрительностью. Ясно, что в памятнике XI столетия бессмысленно искать содержание мысли израильских пророков или греческих мудрецов с той непосредственной осязательностью, с которой мы вправе искать в нём содержание мысли того поколения русских людей, глашатаем которого был митрополит Иларион. Но это древнее мыслительное содержание и не отсутствует там в том смысле, в котором оно заведомо отсутствует в памятниках, скажем, ацтекской цивилизации. В плоде тоже «нет» породившего его цветка, но его там «нет» по-иному, чем в плоде другого растения или в кристалле, и природа этого цветка имеет существенное касательство к природе плода.

Здесь дело идёт о высшей математике гуманитарных наук, в которой есть свои «бесконечно малые», не поддающиеся недвусмысленному обнаружению сами по себе, но весьма осязательно влияющие на общий баланс. Обойтись без их учета невозможно, — в особенности же при работе над тем специфическим материалом, о котором идёт речь в этой статье.

Ибо, во-первых, столь высокоразвитая и жизненная традиция, как христианство, к концу своего первого тысячелетия являет такую сквозную целостность и замкнутость, такую степень взаимной «пригнанности» входящих в её состав символических структур, что в каждом фрагменте его содержания уже как бы дано в свёрнутом виде всё целое. Иначе был бы невозможен известный каждому исследователю средневековой культуры феномен, когда заведомо не столь уж начитанный автор рассуждает на темы мистического умозрения так, как если бы в совершенстве изучил тексты Плотина и Прокла, — просто потому, что копь скоро зерно христианизированного неоплатонизма через посредство Псевдо-Ареопагита вошло в состав общехристианской традиции и органически с ней срослось, это зерно может вновь и вновь самопроизвольно развёртывать из себя всё многообразие форм неоплатонического философствования. Поэтому за спиной средневекового деятеля Церкви, государства или духовной культуры, если он работает в послушании традиции, всякий раз стоит вся эта традиция со всем своим прошедшим, хотя, разумеется, не как предмет исторического знания в современном смысле, а как смутно угадываемая глубина древности, мудрости и святости. Но для человека значимо не только то, что он «знает» в рационалистическом смысле этого слова.

Здесь можно заметить, что, во-вторых, средневековый человек был гораздо более нас склонен эмоционально переживать невыявленные для него значения литургической, художественной и тому подобной символики. За понятным смыслом явственно присутствовала некая «премудрость», некая смысловая перспектива, просвечивание иных значений, которые совсем не нужно было логически выяснять для того, чтобы прочувствовать факт их существования. Обладает ли человек этим невыясненным имплицированным смыслом символа? На этот вопрос можно с равным основанием дать как положительный, так и отрицательный

ответ: такова диалектика символических импликаций. Но средневековые видели только позитивную сторону этой диалектики (отсюда, между прочим, роль, которую оно приписывало вере, т. е. приятию некоторого невыясненного и до конца невыяснимого мыслительного содержания).

Наконец, в-третьих, исследуемые в настоящей статье образы, мифологемы и идеи относятся к особо устойчивым достижениям человеческой духовной и душевной жизни. Мы увидим, как они возникают задолго до рождения христианства и, войдя в христианский круг символов, вновь и вновь выплывают, удерживая изначальную свою суть.

(Сергей Аверинцев. К уяснению смысла надписи над конхой центральной апсиды Софии Киевской, 1972)

Дорогой Миша,

пользуюсь неожиданной оказией, чтобы передать тебе эти несколько строк, новый журнал «Лабиринт/Эксцентр» и поздравления: тебе присуждена премия Андрея Белого за 1991 год.

Журнал делался в спешке и с некоторым рекламным уклоном, потому так много мелкого по объёму материала и старых текстов, взятых из «Часов» и других самиздатских журналов; дело поправимое, тем более что «Л/Э» нацелен на *новейшие* тексты. Позволь призвать тебя в наши авторы; лучше всего, чтобы тексты были «эксцентровые» (хотя и не совсем понятно, что это значит) или хотя бы «лабиринтные». Двойное название журнала объясняется его двойным родителем: «Лабиринт» — екатеринбургская компания, «Эксцентр» — петербургская (Саша Горнон и я). Издание, как нетрудно догадаться, неприбыльное, зато слегка гонорарное: какое-то количество рублей мы передадим любому твоему знакомому или родственнику в СССР/СНГ.

Видел мельком «Логос» (философский журнал Гриши Тутьчинского и С^о) с твоей статьёй об Я. А. <«Учение Якова Абрамова»>. Не помню, рассказывал ли тебе, что кто-то из

рецензентов «Логоса» не уловил мистификации, принял всё за чистую монету и сокрушался, что такие выдающиеся мыслители, как Я. А., до сих пор пребывают «в этой стране» в безвестности.

Ещё из издательских дел: мне удалось пристроиться в крошечное издательство (моя новая работа после котельной): выпустили две первые книги К. Кастанеды, готовим «Тибетскую книгу мёртвых» <...>. С бумагой, типографией, доставкой — невероятно дорого и вообще плохо; в следующем году обещают рост цен в 2–3 раза... Не знаю, удастся ли в таких условиях долго просуществовать «Л/Э», а ведь хотелось бы. Я понимаю, Миша, что ты «неделовой человек», но, может быть, подвернётся кто-нибудь из твоих новых американских друзей, которым мы могли бы прислать штук 200–300 журнала — для продажи или распространения по подписке (среди филологов, русистов, славистов и пр.), он получил бы за свои труды 50% <...>

Такие вот, в двух словах, дела. Ещё раз поздравляю с «престижной премией» (цитата из местной газеты), жду, когда приедешь в Петербург за рублём и рюмкой водки. Помимо Андрея Белого сочинили ещё одну премию <переделка премии Э/Е> — имени В. Жуковского — переводчикам-иностранцам, с особой силой и тщанием переводившим с русского языка на варварские (прежде всего новейшую литературу). Первые два лауреата — Ханс Бьёркегрэн (Швеция) и Виктор Ворошильский (Польша). <...> Вручали премию <Ворошильский по болезни не приехал> в местном Доме писателя в присутствии заинтересованной и тёплой публики и т.д. и т.п.

Пиши. С приятнью и памятью о тебе. Б. О.

P. S. Быть может, удастся перебросить журнал в США, используя официальные каналы по официальным адресам. В ближайшее время появятся второй и третий номера.

<декабрь 1991 года>

Счастье — это когда не нужно говорить, что это такое.

Чистый холст — это бессознательное картины.

Весь секрет детских сказок в том, что они сочинены взрослыми людьми.

Самоубийца ошибается только один раз.

Фрейдительство.

Суть богемы — в компенсации утраченного творчества посредством его театрализации.

Верёвка самоубийцы чаще всего начинается плестись из его пуповины.

Друзей приходится искать. Враги появляются сами.

Глубок человеческий ум. Но счастье зарыто глубже.

Умирать не страшно. Страшно кончать жить.

Из попыток начать жить может сложиться судьба.

Из зарытых в землю талантов вырастают сорняки комплексов.

Только сердце бьётся за жизнь человека до самого конца.

(Андрей Коряковцев.

Как покончить жизнь самоубийством,
не причинив вреда себе и окружающим?)

→ 8 января / 2019: Коряковцев, 3

Этот день, тринадцатое декабря, был одним из самых незабываемых дней в моей жизни. Я уже не имел контроля над ситуацией, решение было принято, и я тут же почувствовал его психологический эффект. Я не мог думать о будущем — у меня не было будущего. В назначенный час я беру своё плавательное снаряжение и иду на корму лайнера, потом прыжок в темноту и... полная неизвестность. Я не мог думать о прошлом — оно исчезло, отпало само собой. Все моё внимание сосредоточилось на настоящем. Я живу в этом отрезке настоящего, и он, как шагреньевая кожа, неумолимо сокращается.

Я не вышел на завтрак. На обеде я присутствовал, но ничего не ел — желудок должен быть совершенно пуст перед длительным заплывом, я знал это по опыту. Утром я проделал очистительные упражнения йоги — выпил два литра воды и пропустил её через кишечник, минуя мочевого пузыря, а также несколько других, довольно сложных промывок вместе с дыхательными упражнениями. Обычно я никогда не ел перед водолазными погружениями — даже с небольшим количеством пищи в желудке становилось трудно дышать.

С того самого момента, ранним утром тринадцатого декабря, когда я осознал себя по ту сторону некой невидимой черты, я почувствовал, как у меня «проснулась душа». Сознание перешло в сердце, я уже не видел и не слышал — я чувствовал. Это огромная разница — слышать звук или чувствовать его. Я чувствовал океан, облака, людей, музыку. В сердце была невыносимо приятная боль, которая усиливалась от любимой мелодии или просто улыбки. Я не мог ни о чём думать. Мне казалось, что я вижу мир в первый раз. Я замечал каждый свой шаг, каждое мимолетное чувство, подробности обстановки корабля, природы, поведения людей. Я легко мог читать их мысли и чувства. Мне казалось, что не заметить моё новое состояние невозможно, но взгляды окружающих были так поверхностны, так быст-

ро перебежали с одного предмета на другой, что им было не до меня и даже не до себя. Мой взгляд ни разу не встретился ни с чьим столь же пронизательным взглядом. Я вдруг стал понимать японских камикадзе, римских гладиаторов, контрабандистов, вообще всех тех, кто ждёт поединка или часа побега...

<...>

Я спустился по трапу на корму главной палубы. Там стояла раскладушка, и на ней сидели трое матросов. Подойдя к фальшборту, я постоял несколько мгновений. Нельзя было прыгать прямо у них на глазах. Мне представилось, как они немедленно дадут знать по телефону (он висел у них над головой) на капитанский мостик, последует сигнал «Человек за бортом» и меня тут же начнут искать прожекторами.

Я опять поднялся на шлюпочную палубу и стал обдумывать создавшееся положение. Времени уже совсем не оставалось — через полчаса, согласно моим расчетам, лайнер минует остров.

Прыгать во что бы то ни стало, даже на глазах у всей команды!

Я снова спустился вниз. Два матроса куда-то исчезли, а третий стелил постель на раскладушке, повернувшись ко мне спиной.

Я облокотился одной рукой о фальшборт, перебросил тело за борт и сильно оттолкнулся. Заметить мой прыжок было трудно — так быстро я оказался за бортом.

Полет над водой показался мне бесконечным.

Пока я летел, я пересек некий психологический барьер и оказался по другую его сторону совсем другим человеком.

Траекторию полета я рассчитал хорошо. Оказавшись за бортом, я резким движением развернул тело ногами к корме, а спиной к поверхности воды. Некоторое время я летел в этом горизонтальном положении, пока не почувствовал, что сила инерции стала ослабевать и я падаю по-

чти вертикально, спиной вниз. В этот момент я стал плавно поворачивать тело так, чтобы войти в воду ногами под небольшим углом. Я пролетел эти пятнадцать метров в полной темноте и удачно вошёл в воду ногами под острым углом, не выронив сумки с плавательными принадлежностями, чего очень боялся. Меня сильно скрутило струей воды, но в последний момент я успел крепко прижать сумку к животу.

Всплыв на поверхность, я повернул голову и... замер от страха. Возле меня, на расстоянии вытянутой руки — громадный корпус лайнера и его гигантский вращающийся винт! Я почти физически чувствую движение его лопастей — они безжалостно рассекают воду прямо рядом со мной. Какая-то неумолимая сила подтягивает меня ближе и ближе. Я делаю отчаянные усилия, пытаюсь отплыть в сторону — и увязаю в плотной массе стоячей воды, намертво сцепленной с винтом. Мне кажется, что лайнер внезапно остановился — а ведь всего лишь несколько мгновений назад он шёл со скоростью восемнадцать узлов! Через моё тело проходят устрашающие вибрации адского шума, грохот и гудение корпуса, они медленно и неумолимо пытаются столкнуть меня в чёрную пропасть. Я чувствую, как вползаю в этот звук... Винт вращается над моей головой, я отчетливо различаю его ритм в этом чудовищном грохоте. Винт кажется мне одушевленным — у него злорадно улыбающееся лицо, меня крепко держат его невидимые руки.

Внезапно что-то швыряет меня в сторону, и я стремительно лечу в разверзшуюся пропасть.

Я попал в сильную струю воды справа от винта, и меня отбросило в сторону.

Затаив дыхание, я старался оставаться под поверхностью воды до тех пор, пока большое световое пятно кормовых прожекторов пройдёт мимо. Какое-то время было совсем темно, потом я попал в полосу яркого света. Мне каза-

лось, что меня заметили и поймали в луч прожектора. Но вскоре наступила полная темнота. Я выбросил ненужное уже полотенце, надел маску с трубкой и сделал несколько глубоких вдохов. Вода была довольно тёплой, при такой температуре можно плыть очень долго. Я надел ласты и перчатки с перепонками между пальцами. Сумка стала больше не нужна. Мои часы со светящимся циферблатом показывали 20 часов 15 минут по корабельному времени, я выбросил их позже, когда заметил, что они остановились.

Лайнер стремительно удалялся.

Я чувствовал огромное облегчение — ведь только что я ушёл живым и невредимым от страшного вращающегося винта. Человек не может одновременно воспринимать несколько опасностей, они неразличимы в момент страха и только потом набрасываются на него по очереди.

И тут на меня обрушилась тишина. Ощущение было внезапным и поразило меня. Это было, как будто я оказался по другую сторону реальности. Я все ещё не до конца понимал, что произошло. Тёмные океанские волны, колючие брызги, светящиеся гребни вокруг казались мне чем-то вроде галлюцинации или сна — достаточно открыть глаза, и всё исчезнет, и я снова окажусь на корабле, с друзьями, среди шума, яркого света и веселья. Усилием воли я старался вернуть себя в прежний мир, но ничего не менялось, вокруг меня по-прежнему был штормовой океан. Эта новая действительность никак не поддавалась восприятию. Но время шло, меня захлёстывали гребни волн, и нужно было тщательно следить за тем, чтобы не сбить дыхание.

И я, наконец, полностью осознал, что совершенно один в океане.

(Слава Курилов. Один в океане)

→ 29 января: Игнатова — Очарованный странник

Кого-то из русских бомбисток (Фигнер? Засулич?) богатые родственники пригласили к себе на дачу и развлекают её фарфором, фикусами, альбомами, бонбоньерками.

— Верочка, тебе наша дача понравилась?

— Очень. Так понравилась, что противно. Взрывать бы к чёрту!

ДЕКАБРЬ

14

пятница

Сегодня остался с одной мелочью (а билет в метро, между прочим, стоит полтинник, не считая уикендов), зато из аспирантуры пришло письмо: извините, стипендию задерживаем, денег у нас нет, но послезавтра точно вышлем, как трогательно, и зато есть здесь добрая традиция раздавать на улицах бесплатно сигареты в целях грабительницы-рекламы. В прошлый раз я десять пачек (правда маленьких, по 5 штук) настрелял, а сегодня всего одну, но и то дело. Пабло нашёл напротив квартиру всего за 140 долларов, и туда уже было переехала его приятельница-француженка, однако сперва она нашла на кухне две крысиных норы, а потом отодвинула холодильник и обнаружила под ним огромную мёртвую крысу величиной с котёнка; до починки пришлось ей жить у знакомых. Узнал я, наконец, сколько тут стоит газ и электричество (до сих пор всё это входило в квартплату), получив счёт за предыдущий месяц: 10 с чем-то за свет и 3 с чем-то за газ, это по-божески. Пабло достал мне бесплатно лампу, кресла, диван и ещё какое-то барахло, так что получу стипендию и побегу покупать замок (только здесь я понял, как работают замки, и даже могу оный вставлять и вынимать нужной стороной; а если бы вы только знали, сколько есть на свете разновидностей замков, например, так называемый полицейский, который стоит 60 гринов и имеет два чугунных толстых бруса, перехватывающих всю дверь, или замок, у которого, кроме чего положено, выдвигается длинный штырь и упирается в пол; много есть замков). И доски для полок (50 или 40 ц. за фунт, т.е. 1.20–1.10 за метр), не считая кукурузного масла «Мазола» и палки для штор, а то соседи напротив видят, что им, может быть, вполне интересно видеть, но я всё равно затыкаю окно старой простыней. Вот как красиво живём, и что-то я рас-

ДЕКАБРЬ

15

суббота

писался, а ведь мне ещё читать к завтраму про пороки капитализма, а то югослав-марксист выпустит мне кишки скальпелем своего хитроумного анализа. Ну, не анекдот ли всё это, живу, как во сне. Вокруг одни иностранцы, англосаксов неделями не вижу, тротуары завалены чёрными мешками с мусором, а также заполнены красивыми женщинами всех цветов, три дня лил дождь, а если бы он лил три года, то город был бы чист, как Тверской бульвар, на моём углу мёрзнут чёрнокожие проститутки, и это значит, что данный район скоро превратится в помойку, ибо за ними приходят сутенёры с выбрасывающимися ножами и шпана, у стены университета блатной негр обдуривает евреев в три карточки, по углам маскируются его стрёмщики, а толпу заводит ужасно везучий поднатчик, пропагандисты из секты любавичей раскинули посреди Нью-Хейвена агитшатёр и шустрят вокруг него в своих чёрных шляпах инженеров-прорабов, у банка «Барклай» ходит клоун-негр на ходулях и рекламирует вклады в банк, бородатые евреи на 86-й улице обращают иудеев в христианство, на каждом углу — по своему психу, калеки издят в колясочках, слепые ходят с собаками, в китайских ресторанах в конце обеда подают т.н. «форчун кукиз», т.е. сухие печенья, в каждом из которых — предсказание судьбы, вчера в моём было сказано, что предстоят «перемены в домашних обстоятельствах», на что я вскричал: опять, небось, квартиру ограбят, чем не прекрасная жизнь?

(Владимир Козловский. Письма из Америки)

500 блюд для северян

Бутерброд с сыроежками

Небольшие сыроежки отварить в сильно подсоленной воде, мелко нарезать и смешать с майонезом. Смесью намазать ломтики белого хлеба.

Суп с крапивой по-армянски

В кипящий бульон положить мелко нарезанный и обжаренный репчатый лук, приготовленный рис

(его нужно промыть, на 5 минут положить в кипящую воду, затем откинуть на сито). Довести бульон до кипения, прибавить крупно нарезанные картофелины. За 15 минут до окончания варки положить молодую крапиву.

Рыба солёная по-колымски

Рыбное филе уложить рядами в эмалированную посуду, пересыпав смесью соли и сахарного песка. Каждый слой рыбы переложить тонко нарезанными кружочками лимона. Сверху положить груз, после того как рыба даст сок (примерно через сутки), переложить её: верхний слой вниз, нижний — вверх.

Выдерживать трое суток в прохладном месте.

Сморчки в сметане

Проваренные сморчки нарезать, обжарить с луком; когда будут готовы — залить сметаной, посыпать зеленью. Можно подать к ним отварной картофель.

Огурцы с мёдом

Огурцы (солёные или свежие) нарезать продолговатыми дольками, положить на тарелку и полить жидким мёдом.

(500 блюд для северян, Магадан, 1989, с изменениями)

Дорогой г-н Карлос Кастанеда!

Позвольте поздравить Вас с 60-летием и поблагодарить за Ваши замечательные книги.

Уже более двадцати лет русские читатели, знающие английский язык, с напряжённым вниманием следят за отчётами о Вашем духовном продвижении, о путешествии

ях в те невероятные миры, дверь в которые распахнул Вам незабвенный дон Хуан.

Лишённые возможности издавать Ваши книги в условиях жёсткой цензуры 70-х годов, русские любители и ценители Вашего творчества самостоятельно переводили их и распространяли в сотнях машинописных копий по всей России. «Учение дона Хуана» и другие Ваши сочинения ходили в российском самиздате 70–80-х годов наряду с трудами К.-Г. Юнга и «Тибетской книгой мёртвых» и имели такую же популярность.

Политические и экономические перемены, произошедшие в России, открыли «культурной оппозиции» путь к типографским станкам и издательским компьютерам. В этом смысле моя судьба вполне характерна: в 70-е годы — соредактор машинописного журнала «Часы», в приложении к которому тиражом в 10 экземпляров вышли Ваши книги, ныне — редактор частного издательства Чернышёва, первой продукцией которого стали Ваши книги «Учение дона Хуана» и «Особая реальность».

Уважаемый г-н Кастанеда, Вам трудно, наверное, представить все те сложности, с которыми столкнулось наше издательство по причине роста цен на бумагу, типографские услуги и т.п. Учитывая это, а также молодость нашего издательства и необходимость Ваших книг для России, прошу Вас разрешить нам (насколько Вы вправе дать такое разрешение) издать в русском переводе «Путешествие в Ихтлан» и «Легенды о силе». Обе эти книги защищены Гаагской конвенцией, которую СССР подписал весной 1973 года. Мы были бы рады получить от Вас (или от издательства «Саймон и Шустер», обладающего правами на Ваши сочинения) юридический документ, позволяющий нашему издательству (директор — Игорь Чернышёв) издать упомянутые книги. Издательство гарантирует Вам выплату гонорара.

Позвольте также пригласить Вас в Россию — с помощью Петербургского фонда культуры мы постараемся оплатить Ваше пребывание в Петербурге и Москве.

С сердечным уважением,
Ваш давнишний читатель, переводчик и издатель
Борис Останин.

P. S. Письмо сходного содержания я отправил в издательство «Саймон и Шустер».

15 декабря 1991 г.

Николай Угодник

Душа моя сирая, только скорбями богата,
Одари, Никола Зимний, узельцами злата,
Уневести её, Угодник, дарами своими.

В белом узельце — хлеба частица,
В алом узельце — кровь-водица,
Ну а в третьем, золотом — Божье имя.

(Ольга Кушлина. Считалки с Богом)

ДЕКАБРЬ

18

вторник

Русский бог Никола

Хорошо известно, что Никола (св. Николай) занимает совершенно исключительное место в русском религиозном сознании. Никола, несомненно, наиболее чтимый русский святой, почитание которого приближается к почитанию Богородицы и даже самого Христа. Это особое положение Николы на Руси неоднократно отмечали иностранные наблюдатели, которые констатировали, что русские воздают Николу поклонение, приличествующее

ДЕКАБРЬ

19

среда

самому Богу <...>. По словам Одерборна (1582), «Russos omnes S. Nicolaum tanquam Deum adorare», и это мнение находит подтверждение в свидетельстве самих русских: так, некий инок Афанасий, сторонник еретика Феодосия Косого, заявлял в те же годы: «Николу... аки Бога почитают православнии» <...>.

Равным образом иностранцы свидетельствовали об особом почитании Николина дня у русских: Де-Ту в начале XVII в. говорит о празднике вешнего Николы как «о празднике, предпочитаемом суеверными москвичами самой Пасхе» <...>. Опять-таки, это свидетельство подтверждается русскими источниками: Феофан Прокопович считал нужным учить простолюдинов, «дабы святого Николая не боготворили», ввиду того, что те «память святого Николая выше Господних праздников ставят» <...>.

Особенно характерно бытующее представление о том, что Никола входит в Троицу: ещё в XIX–XX вв. можно встретить мнение, что Троица состоит из Спасителя, Богородицы и Николы <...>. По свидетельству Вармунда, посетившего Россию в конце XVII в., русские могли даже считать Николу четвёртым лицом Троицы. <...>

Н. Витсен и Г. Давид в своих описаниях Московии XVII в. свидетельствуют, что русские настолько почитают св. Николая, что, по их мнению, когда Бог умрёт, св. Николай займёт его место <...>. Аналогичное свидетельство приводит поляк Мартын Стадницкий, бывший в Москве при Лжедмитрии. Он рассказывает о проповеди, слышанной им в подмосковном селе Вяземы, где священник прославлял Николу Чудотворца и «свою речь заключал так, что коли бы Бог старый змерл, Микула Богом бы был».

(Борис Успенский. Филологические разыскания в области славянских древностей, 1982)

Жених кудрявый молодой
бежит с поднятой головой
но я изображаю сон
задравши вверх больные ноги
во сне отец мой гран-масон
плывёт по огненной дороге

— Ты здесь молчишь как две скалы
меж ног пускаешь водопад
а над тобой парят орлы
толпой глядят на влажный сад

— Когда я ноги поднимаю
приоткрываю мягкий вход
жених кричит: — Тебя я знаю! —
и мне ложится на живот

Тапира тёмное движенье
вздымает столб полночной пыли
Луна с улыбкой наслажденья
летит на масляной кобыле

Так и живём пусть небогато
держа в руке свою лопату
жених весь день читает книжки
а ночью гладит мне подмышки

Мы разевая красный рот
смеёмся хором круглый год
и поклонившись брату стулу
на полночь отбываем в Тулу

(конец 1970-х)

ДЕКАБРЬ

21

пятница

<...>

Спиною к телеграфному столбу
Сидела женщина. Её черты,
Казалось, были сызмальства знакомы
Душе моей. Но смертная печать
Видна уже была на лице женском.
И тишина.
Так в клубе деревенском
Кинемеханик вечно пьян. Динамик,
Конечно, отказал. И в темноте
Кромешной знай себе стрекочет старый
Проектор. В золотом его луче
Пылинки пляшут. Действие без звука.
Мой тяжкий сон, откуда эта мука?
Мне чудится, что мы у тех времён
Без устали скитаемся наощупь,
Когда под звук трубы на ту же площадь
Повалим валом с четырёх сторон.
Кто скажет завершающее слово
Под сводами Последнего Суда,
Когда лиловым сумеркам Брюллова
Настанет срок разлиться навсегда?
Нас смоем с полотняного экрана.
Динамики продует медный вой.
И лопнет высоко над головой
Пифагорейский воздух восьмигранный!

(Сергей Гандлевский, отрывок, 1977)

ДЕКАБРЬ

22

суббота

В юности человек пытается приобщиться к философии не столько в поисках видения мира, сколько в поисках стимулирующего средства; набрасываясь на идеи, угадываешь безумие их автора и мечтаешь подражать ему, а то и превзойти его. Отрочеству импонирует высотное жонглирование; в мыслителе оно любит бродячего акробата;

в Ницше мы любили Заратустру с его позами, мистической клоунадой, с ярмаркой вершин...

Его преклонение перед силой объяснялось не столько эволюционистским снобизмом, сколько, проецируемым им во внешнюю среду внутренним напряжением, хмельным возбуждением, интерпретирующим будущее и принимающим его. Ни к чему иному, кроме как к искажённому образу жизни и истории, привести это не могло. Но пройти через это, через философскую оргию, через культ жизненной силы было необходимо. Те, кто отказался сделать это, не познают никогда падения с облаков, являющегося противоположностью этого культа, не увидят его гримас; они не припадут к источнику разочарования.

Мы вместе с Ницше верили в непреходящий характер трансов; благодаря зрелости нашего цинизма мы пошли дальше, чем он. Сейчас идея сверхчеловека кажется не более чем досужим вымыслом, а ведь когда-то она представлялась столь же достоверной, как результат опыта. Итак, обольститель наших юных дней уходит постепенно в тень. Но *который* из него — если он был *несколькими* — всё ещё остаётся? А остаётся эксперт по деградации, *психолог*, психолог агрессивный, а не просто наблюдатель, как моралисты. Он всматривается в людей как враг, и он создаёт себе врагов. Но врагов этих он извлекает из себя, так же как и пороки, которые он обличает. Например, когда он обрушивается с критикой на слабых, он всего лишь занимается интроспекцией, а когда атакует упадочничество, описывает своё собственное состояние. Все его инвективы оказываются обвинениями против него самого. А о своих слабостях он говорит открыто и возводит их в идеал; когда же он занимается самобичеванием, христиане или социалисты могут отдыхать. Диагноз, поставленный им нигилизму, неопровержим: дело в том, что он сам является нигилистом и не скрывает этого. Памфлетист, влюблённый в своих противников, он не смог бы вынести *самого себя*, если бы не

боролся с самим собой, если бы не размещал свои беды за пределами собственной личности, в других людях: *он мстил им за то, кем он был*. Занимаясь психологией как герой, он предлагает страстным поклонникам Безвыходного самые разные варианты тупиков.

Мы оцениваем плодотворность его творчества по тем возможностям, которые позволяют постоянно его отвергать, не исчерпывая его. Обладая чрезвычайно подвижным умом, он умеет варьировать свои приступы дурного настроения. Буквально обо всём у него есть высказывание и за и против: таков прием тех, кто, будучи не в состоянии писать трагедии, распыляясь на многочисленные судьбы, предаются интеллектуальным спекуляциям. Однако так или иначе, но, продемонстрировав свои кликушества, Ницше помог нам сбросить покров стыдливости с наших собственных кликушества; его беды оказались для нас спасительными. Он открыл эру «комплексов».

(Эмиль Чоран. Горькие силлогизмы, 1952)

Елисей, конечно, не мог слышать скрипа оборванной штакетины, за которой спрятался Тихон. Мальчишка так соскучился по снегу, что, даже когда совсем стемнело, всё ещё продолжал болтаться по дворам и улицам, пока не дошёл до края деревни. Он плёлся вдоль замерзшей реки по ту сторону изгороди. Проходя мимо пустыря, он, отодвинув болтавшуюся доску забора, оглядел заброшенную лужайку. Ему подумалось, что поляна, летом заросшая крапивой и лопухами, только зимой получала право называться пустырём. Теперь, когда лопухи завяли, и всю поросль примяло снегом, ничто больше не мешало игравшему с самим собой в перегонки ветру без конца носиться над землёй от забора к пониклым домам. Вьюга засыпала пустырь костенеющей снежной крупой. Когда ветер на мгновение затихал, то тишину нарушало только это шелестящее ше-

буршание снегопада и холодный шорох инея. Тихон уже высунулся из-за доски, как вдруг сквозь метель разглядел чью-то фигуру. Признав Елисея, он спрятался назад и впопыхах оборвал рукав единственной зимней куртки, зацепившись о проклятый, не к месту вбитый, заржавелый гвоздь, торчавший из заборной доски. Но любопытство заставило его позабыть о разорванном рукаве, и сквозь щелку в заборе Тихон начал наблюдать за странным поведением бродяги. Он удивлённо смотрел на то, как безумец топчется на месте, словно разучившись ходить, как не может сделать и шага в направлении изгороди, окружившей пустырь, и моста, перекинутого через реку. Каждый шаг давался ему с таким мучением, словно, делая его, он терял несколько лет жизни.

Продвигаясь по проторённому маршруту, бродяга, наконец, не осознавал, что река оледенела и мост потерял всякий смысл, ведь выйти из деревни теперь можно было в любом месте. Или ему зачем-то нужно было в последний раз пройти по мосту? Или он направлялся вовсе не к мосту? Или он перепутал направление? Но зачем он пытался найти то, что никогда не терял? Зачем он двигался к тому месту, где и так уже находился? Почему существовало нечто, что требовало начать движение? Что создавалось благодаря этому пути? Создавалось ли что-нибудь? Могло ли что-либо созидаться? И как назвать это странное, лишённое предела путешествие — бесцельным путем или беспутной целью? Почему в поисках новой тропы он вновь и вновь наткнулся на собственные следы? Почему пустыня оказывалась лабиринтом, мнимый выход из которого на самом деле был погрязанием внутри? Почему не умирала надежда выбраться? Почему ему хотелось заглянуть за горизонт? Почему к этому пределу можно приближаться вечно? И почему для каждого представление о пределе всегда было своим, не таким, как у другого, но, в конечном счете, между ними не было никакой разницы? И неужели, при-

близившись к пределу и даже переступив через него, нам всё равно не дано его коснуться? Неужели не существует той минуты, когда мы подступим к нему вовремя — не слишком рано и не слишком поздно? Как узнать, что преодоление не оказалось иллюзией? Неужели мы не способны понять, переступили ли предел или только готовимся к этому? И почему мы думаем, что это может понять кто-то другой? Почему эта черта неприметна, почему она не занимает места в пространстве? Почему, подступившись к ней, мы всегда её теряем? Почему нас не успокаивает вера в её отсутствие? И почему мы не можем знать, существует она или нет?

Спрятавшаяся под снегом, лишённая всякого смысла дорога то и дело ускользала из-под ног, вынуждая бесконечно оступаться в этом возвращавшемся к самому себе, лишённо-му и пункта отбытия, и точки следования пространстве. Тихон смотрел на облитую мертвенным лунным светом фигурку, похожую на крохотную пешку в пространстве гигантской шахматной доски, с которой за долгие годы стёрлась чёрная краска и вместе с ней — и само разделение на клетки. И фигурка эта застыла перед ураганным ветром, дувшим из ледяных обителей необозримой пустоши. Вокруг босых ног виднелись тёмные прогалины. Неспособная сделать ход, фигурка замерла в бесконечности космоса, но что удивительно: она не падала, как будто ветру было не под силу уронить её. Мальчик всматривался в белое пламя не разыгранной партии — пламя, в котором всё сущее горело, не сгорая. Фигурка больше не шевелилась, но сохраняла за собой угрожающую возможность возобновить движение. Ничто, кроме таявшего под босыми ногами снега, не выдавало в бродяге жизни.

(Анатолий Рясков. Пустырь)

ЛЕОНИД ПАВЛОВ:

Не знаю, насколько моё выступление пришлось по вкусу, но мне хотелось бы получить ваше разрешение — вступить в ваш литературный клуб. (*Общий смех, аплодисменты.*) Если это возможно, то я предоставлю все необходимые материалы.

ДЕКАБРЬ

24

понедельник

РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА:

— Вы говорили о невозможности развития культуры, а сами вступаете в клуб!

ЛЕОНИД ПАВЛОВ:

А Вы, наверное, меня не поняли. Именно потому, что дальнейшее развитие культуры невозможно, я хочу вступить в клуб. (*Смех.*) А если бы культура легко развивалась, не надо было бы и вступать. Вступать надо именно в трудный момент. (*Смех, аплодисменты.*)

(Клуб-81, декабрь 1985 года.

Обсуждение доклада «Молния и радуга.

Пути культуры 60–80-х годов»)

Великое в малом

О Боже, как же я, в ничтожестве своём
Могу вместить Тебя, бездонный водоём!

Раб, дитя и друг

Бог для рабов — судья, для друга Он — любовь,
А для детей своих — Он сердце, плоть и кровь.

Желание того, кто Бога возлюбил

Аз быть тройным хочу: сиять, как Херувим,
Светиться, как Престол, гореть, как Серафим.

Два ока у души

Два ока у души: на мир глядит одно,
Другое же затем, чтоб вечность зреть, дано.

ДЕКАБРЬ

25

вторник

Чудесное Рождество

Мария есть кристалл, а Сын — Небесный Свет:
Пронзив Её собой, Он не оставил мет.

Конец года

Год старый под конец, каким бы ни был даром,
Уж исчерпал себя: так разумеют те,
Кто обновился весь, родившись во Христе:
А коли нет, живи и оставайся в старом.

(Ангел Силезский. Херувимский странник)

ДЕКАБРЬ

26

среда

Над холмом твоего лба
громоздит гужевое небо
первозданные облака.
Ощущенье любви нелепо

выпадает за окоём
в островерхих его оправах.
И веснушки твои огнём
пробегают на горних травах.

(Игорь Бурихин, 1977)

Дорогая Марьяна Львовна!

Позвольте поздравить Вас с Рождеством, Новым годом, но более всего — с Вашей чудесной повестью «Девочка перед дверью». А Вы ещё сомневались, правильно ли сделали, что напечатали её <в журнале «37»>? Конечно, правильно. Не ждате же, в самом деле, «конца века», когда — вдруг да? — появится возможность увидеть её в «серьёзном издании». <...>

Хоть я и не мастер на похвалы, да и многие, видимо, уже высказали в адрес «Девочки перед дверью» свои симпатии, осмелюсь всё же добавить свой письменный голос к хору её любителей и почитателей. К сожалению, журнал находился

ДЕКАБРЬ

27

четверг

в моих руках всего один день, почему и не могу перечислить поименно и построчно персонажей, эпизоды и фразы, которые особенно понравились или показались значительными и нужными. Надеюсь всё-таки, что когда-нибудь получу «Девочку перед дверью» во временное, а то и в «вечное» пользование — и тогда сумею добавить к нынешним словам куда более обстоятельные и обоснованные. Готов даже сколотить в будущем, пусть крошечную, статью об этом серьёзном, искреннем, честном и очень грустном произведении.

Марьяна Львовна, не знаю, как для читателя вообще, но для меня, знающего Вас лично, повесть имеет свой дополнительный смысл, который попробую сейчас обозначить.

В жизни мы то и дело сокрушаемся о том, как мало знаем близких, а то и совсем их не знаем. Всякий человек безнадежно удалён от нас, уединён, существует сам по себе, лишён общего с нами основания, которое мы тщетно отыскиваем в общности политических и эстетических взглядов, чем-то напоминает греческую статую — не ту, что в греческом храме V века до н.э., а ту, что в современном музее. Откуда она? Как здесь оказалась? Зачем? Что для нас значит? Неизвестно, неизвестно, неизвестно. И вот уже в ней угадывается скрытая угроза, пусть даже тысячу раз известно, что она «не снимется с места», не обрушится на меня, не прибьёт до смерти. В какой-то мере это верно и для людей. Они выпирают из «небытия» внезапными статуями, угрожают, даже не тая угроз, и никакое знание их слов, верований, даже мыслей не проясняет их вполне — всё чего-то не хватает, какого-то иного то ли знания, то ли «воздуха»...

И вдруг — о чудо! — на страницах появляется их детство, а вместе с ним долгожданный и желанный воздух. Странно, но именно так: что, казалось бы, можно ожидать от детства? — сто возражений найдётся: у всех оно почти одинаковое, да и изменился человек со времён своего детства невероятно, стал разумным, «духовным» и т.д. И всё же: отныне воздух есть, спорить не о чем. К тому же никто и не требует, чтобы воздух оказался единоподобным статуе, а тем более человеку, достаточно и того, что он есть.

С появлением Вики <героиня «Девочки перед дверью»> у читателя появляется тот самый воздух, о котором я говорю:

отныне Вы для него не просто человек, но «человек с детством». То, что у Вас, у меня, у всякого другого было детство, делает нас в каком-то неуловимом, но значительном смысле сообщниками, «людьми одной судьбы». Детство — та черта, за которой человек выступает в своём извечном статусе и, вместе с тем, живым, внезапным, незакреплённым; в царстве вечности и изменения, слитых воедино, из детства произрастает тот общий корень, то единение людей, которое не всем удаётся во Христе: братство по детству. Узнавание детства («будьте как дети!») — не в виде отрывочных и случайных анекдотов, да ещё выправленных взрослым сознанием, а в мифо-поэтическом облике отличной литературы — даёт невероятно много для обретения братских форм. — Помилуйте, — скажет кто-то, — но ведь детство у всех было! — У всех? Не знаю, не знаю. Но у Марьяны Львовны оно точно было — Вика из «Девочки перед дверью» меня в этом убедила. <...>

Удачных мест в повести так много, что все не перечислить. Она удалась — и по частям, и как целое; в лучшем смысле слова повесть классична (соразмерна, неизбежна, легка). Надо ли ещё раз напоминать, Марьяна Львовна, что я — не любитель петь хвалебные гимны, и если всё-таки отваживаюсь на них, то лишь потому, что хочу подтвердить то удивительное впечатление, которое произвела на меня Ваша изящная и светлая, горькая и обнадеживающая «Девочка перед дверью».

Б. О.

27 декабря 1976 года

(Письмо Марьяне Козыревой, черновик)

Загляделась я в полынью.
На невнятную жизнь мою
по воде неясной гадаю —
закраснулась вода, зажглась:
это облако, отразься,
занебесным коснулось краем.

(Елена Игнатова)

— Я, Шан, слышал от учителя, что человек, который обрёл гармонию, во всём подобен другим вещам. Ничто не может его ни поранить, ни остановить. Он же может всё — и проходить через металл и камень, и ступать по воде и пламени.

— А почему ты этого не делаешь? — спросил <вэйский> царь Прекрасный.

— Я, Шан, ещё не способен открыть своё сердце и очистить его от знаний. Хотя и пытаюсь говорить об этом, когда есть досуг.

— Почему не делает этого учитель?

— Учитель способен на это, — ответил Цзы-ся, — но способен и не делать этого.

(Даосская притча)

Ich kann nicht über das Nicht-Wollen, es gibt keine Kraft,
Aber es gibt noch den Willen zu wollen über das Nicht-Können.

Gern oder nicht, aber Worte vergisst man nicht, selbst wenn ihre Kreise von Müdigkeit erlahmen,

Und gern oder nicht kehre ich die Kreise der Müdigkeit zurück,

Um über das Nicht-Wollen meine Ankunft bei ihnen zu erwarten, denn seit jeher

Erwarten die Kreise der Wörter, wenn immer ich über das Nicht-Können

Auf meine Kreise zurückkomme.

Aber ich will nicht über das Nicht-Können meinen Wörtern entgegen eilen —

Obwohl ich nicht ihre Kreise in Erwartung der Rückkehr über das Nicht-Wollen Verlangsamem kann.

Ich habe schon keine Kraft mehr, die Ewigkeit der Rückkehr zu erreichen.

Aber es gibt ihn noch, den Willen, die Unendlichkeit der Erwartung hinter mir zu lassen,

Die Rückkehr zu erleben, von der nicht ewigen Kraft zu leben,
Und durch den unendlichen Willen für immer zu bleiben.

Ich habe keine Kraft mehr, die Ewigkeit der Rückkehr zu beschleunigen,

Aber es gibt noch den Willen, die Unendlichkeit der Erwartung zu erleben.

Die nicht ewige Kraft und der unendliche Wille überwältigen mich mit den Kreisen der Wörter —

Überwältigen all jene, die auseinander stieben und die Wenigen, die meine Annäherung an sie erwarten —

Gern oder nicht.

Aber durch die Ewigkeit der Rückkehr oder die Kreise der Schwäche dauere ich fort.

Gern oder nicht.

Weil die Kraft nicht ewig ist, aber ewig der Wille zur Rückkehr.

*(Валерий Молот. Не вечна сила,
но вечна воля возврата, 1986)*

Прощание с друзьями

В широких шляпах, длинных пиджаках,
С тетрадами своих стихотворений,
Давным-давно рассыпались вы в прах,
Как ветки облетевшие сирени.

Вы в той стране, где нет готовых форм,
Где всё разъято, смешано, разбито,

Где вместо неба — лишь могильный холм
И неподвижна лунная орбита.

Там на ином, невнятном языке
Поёт синклит беззвучных насекомых,
Там с маленьким фонариком в руке
Жук-человек приветствует знакомых.

Спокойно ль вам, товарищи мои?
Легко ли вам? И всё ли вы забыли?
Теперь вам братья — корни, муравьи,
Травинки, вздохи, столбики из пыли.

Теперь вам сёстры — цветики гвоздик,
Соски сирени, щепочки, цыплята...
И уж не в силах вспомнить ваш язык
Там наверху оставленного брата.

Ему ещё не место в тех краях,
Где вы исчезли, лёгкие, как тени,
В широких шляпах, длинных пиджаках,
С тетрадами своих стихотворений.

(Николай Заболоцкий, 1952)

2019 ГОД ЯНВАРЬ

ЯНВАРЬ

1

вторник

В 1930 г. Уиндхем Льюис и Чарльз Ли выпустили в Лондоне «антологию плохих стихов» под названием (идушим от Вордсворта) «Чучело совы». В предисловии составители утверждают, что «есть плохие плохие стихи и хорошие плохие стихи» и что книга составлена из второй разновидности. Иначе говоря, есть скверные стихи, от которых получаешь удовольствие особого рода.

Установить и определить природу такой поэзии составителям «Чучела совы» не удаётся — и они это знают. Они, например, уверены, что эти стихи «innocent of faults of craftsmanship». (Владислав Ходасевич, как увидим ниже, не согласился бы). Главным их качеством Льюис и Ли считают bathos, падение от великого к смешному — и именно у крупных поэтов (Вордсворт, Теннисон) они находят наилучшие образцы такого «неожиданного нарушения тональности». К этому составители антологии прибавляют избыток риторичности при недостатке юмора (т.е., когда поэт с лучшими намерениями начинает пороть звучную чушь) — и здесь они близко подходят к поэтическому идеалу, представленному у русских Козьмой Прутковым.

Несколько лет спустя, независимо от «Чучела совы», проблемой «хороших плохих стихов» занялся В. Ф. Ходасевич, опубликовавший в газете «Возрождение» (Париж) от 23 января 1936 г. статью «Ниже нуля». Однако у Ходасевича иной подход и иной объект. Он исходит из положения, что в русской поэзии с середины XIX века «выработалось

немало весьма банальных ценностей, из которых некоторые достигали поразительной величины». Он цитирует действительно поразительные строки из поэмы об Иуде, написанной известным ему директором московского страхового общества (и, таким образом, биографически предшественником Уоллеса Стивенса):

И вот свершилось торжество:

Арестовали божество,

Повис Иуда на осине —

Сперва весь красный, после синий.

Ходасевича интересуют только современники. Он разбирает стихи неведомых эмигрантов-стихослагателей, опубликованные в разных пунктах русской диаспоры — от Парижа до Нарвы и Харбина, из которых у него составила коллекция. Отмечая их забавные нелады с грамматикой и версификацией, он, однако, демонстрирует своих «гениев бездарности», главным образом, тематически. Считая себя, «по меньшей мере, равными Данте и Гете», эти поэты склонны к «глубокой» тематике, большею частью религиозной и философской. Примеры Ходасевича нередко очень хороши, но, в общем, дальше примеров он не идет.

Сформулировать, что такое «гений ниже нуля», так же трудно, как определить, что такое гений. Однако проблема как «минус-гениальности», так и «хороших плохих стихов» перед критиком и учёным стоит, особенно после того, как получили права эстетического гражданства «китч» (от нем. *Kitsch*) и «кэмп» (от англ. *camp*). «Кэмп» живо обсуждался в Америке в середине 60-х гг. Сейчас не редкость такие вещи, как Гарвардская премия за плохую актерскую игру (эта премия считается большой честью) или книги вроде «50 ужаснейших фильмов»; было уже два ежегодных конкурса имени Бульвер-Литтона на самое плохое начало романа (тоже плохого).

О китче и кэмпе написано немало. Первый можно определить как ширпотреб красоты. В русское «Чучело совы» китч, пожалуй, не годится: он не возбуждает усмешки удовольствия. Правда, может быть, стоит походя отметить, что отечественный китч родился на самых верхах — где-то у Пушкина в его Гвадалквивирах и «испанках молодых», убитых впоследствии Козьмой Прутковым. Он был продолжен и узаконен Лермонтовым в «красивых» и «глубоких» «Трёх пальмах», а также в пэане нимфомании «Тамаре». Пушкин, впрочем, кажется, осознавал, когда творил китч (по крайней мере, в «Чёрной шали», но здесь можно спорить, китч это или кэмп). Как видим, китч некогда был иным, тяготеющим к экзотике и мелодраме (сейчас он скорее склоняется к сентиментальности). Если искать китч у поэтов ближе к нам по времени, то у Блока это будут, может быть, «Свет в окошке шатался», «Тёмная, бледно-зелёная», «В голубой далёкой спаленке», «Сын и мать» и (*horribile dictu!*) «Девушка пела в церковном хоре». Иной китч, «эстетический», у Ахматовой: «Муж хлестал меня узорчатым» (вспомним «золото с кружев» её первого супруга), «Меня покинул в новолунье» и, конечно, «Сероглазый король». Чемпион залихватского футуристического китча — Василий Каменский. В поздних стихах часто впадает в китч (т. е. дешёвую красоту) Заболоцкий («Гроза», например).

Кэмп уже имеет прямое отношение к теме этой статьи, он «совиный» по природе. Английское определение кэмпса подчеркивает его «чересчурность» (*too much*). Он не бывает тонким. В нём есть навороченность, накрученность («барочность», если угодно). Не зря среди шуточно установленных семи кэмповых чудес света наряду с римским памятником Виктору-Эммануилу фигурирует Красная площадь. Однако для нас важно другое: в кэмпе налицо нечто, возбуждающее одобрение и, одновременно, неодобрение. Мы ощущаем нарушение вкуса, но это «нравится». На подобном основании в XIX веке отрицался Бенедиктов — хо-

тя термин «кэмп» ещё не существовал и эстетический феномен был никому не знаком. Интересно, что восприятие Бенедиктова происходило по стадиям: сперва одобрение, потом отвержение. В XX веке для Шкловского кэмпом были стихи Манделштама: «на границе смешного», «как будто писал Козьма Прутков».

Гений кэмпа в русской поэзии — Игорь Северянин (вряд ли такой поэт есть у других народов), и там, где он отходит от кэмпа, он становится посредственностью. Зато в кэмпе у него и мощная фантазия, и могучие теноровые «верхи»: он не просто говорит о «монбланной ноте», он её в то же время берёт — верхнее «до», какое и не снилось Блоку. Есть у Северянина и китч («В парке плакала девочка»). Из Ахматовой я бы причислил к кэмпу «Сжала руки под тёмной вуалью», «Песню последней встречи», «Не будем пить из одного стакана» и «А, ты думал, я тоже такая» (последнее — кэмп великолепный). Из Блока возьмём «Я стар душой», «Я был весь в пёстрых лоскутьях», «Девушке», «Клеопатра», «Не пошёл на свиданье», «Униженные» (особенно за концовку), цикл «Чёрная кровь» и (опять *horribile dictu*) «Шаги Командора». Кэмп возможен в переводе. Например, если знать бодлеровское «L'invitation au voyage», то перевод Мережковского («голубка моя, умчима в края») — кэмп (как и некоторые переводы Вейнберга из Гейне), если же не думать о подлиннике, то китч.

Задача этого очерка не определена; это попытка выяснить, возможно ли русское «Чучело совы», можно ли для такой антологии подобрать стихи, оставив за бортом бесчисленные вирши русских графоманов (которые, кстати, теперь уже выучились авангарду, и американские профессора печатают о них статьи в научных журналах). Речь даже не о том, что поместить в такую антологию, а скорее о том, в каком направлении работало бы сознание составителя. <...>

(Владимир Марков. О свободе в поэзии)

Читаю стихотворение и дохожу до строк, где «замёрзшие рыбы с белыми глазами»

январь

2

среда

Она, написавшая это,
Как она выглядит?
Сколько ей лет?
Что видит она из окна своей комнаты?
Потом вспоминаю, что год или больше
в этом мире её не было с нами.

*(Аркадий Драгомощенко.
В лёгком теле прежнего рождения)*

→ 1 января/2017: Самойлович. Как описать уныние
тех рыб

январь

3

четверг

Вечером, сидя у окна, читал бесполезное письмо. Заходящее солнце отбрасывало на белый лист тень от куста, между ладоней трепетала тень птицы. Только тень, только трепет. Слова опадают, словно листья осенью; только и остаётся, что старательно собирать их и сплести в веночек непонимания. Вместо времени — сфероид яблоневого плода, сжавший время в себе, остановивший его, бестрепетно прислушивающийся к шевелению червя. Всё та же смерть, разве что медленная, трепещущая.

<1980?>

январь

4

пятница

Навылет пролетает самолёт
пустое небо. Выпавший пилот
как патефон о родине поёт
четыре километра напролёт.

А самолёт пропеллером мутит
как воду воздух. Сам себе летит

по небу мёртвых — слушая иврит —
туда где на балконе Бог стоит.

Господь возьмёт из воздуха его
пропеллер остановит у него:
«Все собрались и только одного
тебя мы ждали. Тише. Ничего».

(Андрей Санников, 1980-е)

Chiklin, with Nastya in his arms, entered the smithy; Yelisei remained standing outside. The smith was pumping air into the furnace, with the bellows and meanwhile a bear was beating with a hammer on a white hot iron strip on the anvil.

«Faster, Mish, because, after all, you and I are a shock brigade!» — said the smith.

But even without urging the bear was working so zealously that all about there was an odor of burning fur scorched by the sparks from the metal, but the bear did not feel it.

«Well, no, enough!» — said the smith.

The bear ceased hammering and, stepping back, thirstily drank half a pail of water. Then, wiping his fatigued proletarian face, the bear spat into his paw and once again set to work hammering. This time the smith put him at hammering out a horseshoe for a certain individual farmer from the outskirts of the collective farm.

«Mish, you are going to have to finish that faster; in the evening the boss will come and there will be liquid refreshment!» And the smith indicated his neck as a pipe for vodka. The bear, understanding this future enjoyment, began to make the shoe with great energy.

«And why did you come here, person?» — the smith asked Chiklin.

«Let your helper go so he can point the kulaks out to us; they say he has long years of experience».

The smith considered a bit and then said:

«Have you got the activists' consent? After all the smithy has its production and financial plan, and you are going to spoil its fulfillment».

«I have got full consent», — answered Chiklin. «And if your plan is not fulfilled then I will come here myself to you to complete it... Have you heard of Mount Ararat — well I would no doubt have piled it all up myself if I had put the earth from my spade in one pile!»

«All right he can go then», — said the smith of the bear. «Get on over to the Org-Yard and ring the bell so he will hear the signal for lunch time for otherwise he won't budge — he worships our discipline».

While Yelisei walked indifferently about the Org-Yard, the bear made four horseshoes and asked for more work. But the smith sent him out for firewood to be made into charcoal, and the bear brought back a whole suitable fence. Nastya, looking at the sooty, singed bear, was gladdened that he was for us, and not for the bourgeois.

«He is tormented too, and that means he is on our side, right?» — said Nastya.

«Of course!» — answered Chiklin.

The bell rang and the bear momentarily stopped his work. Up to that point he had been breaking the fence into tiny bits, but now he straightened up and sighed dependably; enough of that, so to say. Putting his paws into the pail of water so as to wash them off to make them clean, he then went out to get his food. The smith pointed Chiklin out to him and the bear went calmly behind the human being, bearing himself, as if accustomed to it, erectly, walking on his back paws only. Nastya touched the bear on the shoulder, and he also brushed her lightly with his paw and yawned with his whole mouth, from which the odor of past food was emitted.

«Look, Chiklin, he is all gray!»

«He has lived with human beings, so he got gray with grief».

The bear waited for the girl to look at him once again, and when she did he winked at her with one eye; Nastya laughed and the blacksmith striker-bear hit himself in the stomach so that something down there rumbled — which made Nastya laugh even more. But the bear paid the child no heed.

(Andrei Platonov. *The Foundation Pit*, 1973)

→ 5 января/2017: Платонов — Река Потудань

Чудо

Когда я думаю о Лондоне, я обычно вижу Юстонский вокзал. Но когда я размышляю о том, что в Лондоне несколько миллионов жителей, я не пытаюсь представить их на фоне этого вокзала и не считаю, что все они живут там. Короче говоря, хотя у меня *такой образ* Лондона, то, что я думаю или говорю, относится не к этому образу, иначе это было бы чистойшей ерундой. Слова мои и суждения потому и осмысленны, что относятся не к моим зрительным ассоциациям, а к настоящему, объективному Лондону, который не уложится полностью ни в какой зрительный образ. Другой пример: когда мы говорим, что Солнце находится от нас на таком-то расстоянии, мы прекрасно понимаем, что мы имеем в виду, и можем вычислить, сколько времени занял бы космический полёт на той или иной скорости. Но эти ясные *рассуждения* сопровождаются заведомо ложными умственными образами.

В общем, думать — одно, воображать — другое. То, о чём мы думаем или говорим, обычно бывает совсем не таким, как наше зрительное представление. Вряд ли у кого-нибудь, кроме человека, мыслящего только зрительными образами и получившего художественное образование, сложится верная картина того, о чём он думает; как правило, мы не только представляем всё в искаже-

нии, но и прекрасно это знаем, если хоть на минуту призадумаемся.

Пойдём немного дальше. Однажды я слышал, как одна женщина говорила маленькой дочке, что если съешь слишком много аспирина, можно умереть. «А почему? — возразила дочка. — Он не ядовитый». «Откуда ты знаешь?» — спросила мать. «Если его раздавить, — сказала дочка, — там нет страшных красных штук». Разница между мной и этой девочкой в том, что я знаю, как неверен мой образ Лондона, а она не знает, как неверен её образ яда. Но девочка ошиблась лишь в одном; и мы не можем вывести из её слов, что она ничего не знает о яде. Она прекрасно знала, что от яда можно умереть, и даже неплохо разбиралась в том, что ядовито, а что — нет в доме её матери. Если вы придёте в этот дом и она скажет вам: «Не пейте вот этого! Мама сказала, что оно ядовитое», я не советую вам отмахнуться от неё на том основании, что «у ребенка — примитивные взгляды, которые давно опровергла наука».

Итак, к нашему первому выводу («можно думать верно, а представлять неверно») мы вправе прибавить ещё один: можно думать верно даже тогда, когда считаешь истинным своё неверное представление.

Однако и это не всё. Мы говорим о мысли и воображении, а ведь есть ещё и язык. Я не обязан называть Лондон Юстоном, а девочка может говорить о яде, не поминая красных штук. Но очень часто, толкуя о вещах, не уловимых чувствами, мы вынуждены употреблять слова, которые в прямом своём смысле обозначают вполне осязаемые предметы или действия. Когда мы говорим, что *улавливаем* смысл фразы, мы не думаем, что гонимся за смыслом и ловим его, как охотники. Все знают это явление, и в учебниках оно зовется языковой метафорой. Если вам кажется, что метафора — просто украшение, причуда ораторов и поэтов, вы серьёзно ошибаетесь. Мы просто не

можем говорить без метафор об отвлечённых вещах. В труде по психологии и по экономике не меньше метафор, чем в молитвеннике или сборнике стихов. Всякий филолог знает, что без них обойтись нельзя. Если хотите, прочитайте две книги, которые я назвал <«Поэтическая речь» О. Барфилда и «Символизм и вера» Э. Бивена>, а из них вы узнаете, что читать дальше. Этого хватит на всю жизнь; сейчас же и здесь мы скажем просто: всякая речь о вещах, не уловимых чувствами, метафорична в самой высшей степени.

(Клайв Льюис. Чудо // Пока мы лиц не обрели, М., 2000)

Нет, я прекрасно понимал, что вспоминать — пустое слово, и на самом деле вспомнить то, чего не помнишь, никак нельзя, а то, что помнишь, нечего и вспоминать. И всё-таки мне хотелось думать, что запечатлённые на этих фотографиях разные и непохожие люди, быть может, специально спрятались для того, чтобы я отыскивал их в памяти, а они являлись бы мне в различных видах и картинах. И пусть бы под этими картинками, как в букваре, было твёрдо и определённо написано, почему и зачем всё произошло так, как произошло. А когда, рассмотрев изображения и прочитав подписи под ними, я пойму причины случившегося — ведь только после превращения в слова становится ясно, что происходит, — вот тогда пройдёт нужда в этих умственных свиданиях, и расколдованные души персонажей воспарят к самим себе с улыбкой разума и свободы, которых они наконец-то сподобились. <...>

Сейчас все те, на кого я в детстве смотрел зачарованным взором, безжалостно покинули меня, оставив на память о себе этот обычный в семейном кругу альбом с облупившейся кожаной обложкой. Он интересен только мне, никто, кроме меня, ничего особенного в фотографиях в альбо-

ме никогда не замечал. Зато я легко улавливаю в каждом снимке какую-нибудь нечаянную деталь, тот непредвиденный мостик, который соединяет меня с отображённым человеком внутри его жизненного круга. Почуввав благодаря этой случайной подробности дух времени, скользнувший наподобие ветерка у меня по лицу, я закрываю глаза, стараюсь удержать в себе то, что навсегда ушло. А потом наощупь иду по воображаемой дороге, пытаюсь не оборачиваться назад, чтобы вывести прошлое из плена, совместить его с настоящим, исполнить то, что не удалось Орфею. Ах, поверьте, это увлекательная задача! С годами начинаешь понимать: наша жизнь меньше всего состоит из нас — она состоит из вошедших в неё *не наших* жизней, из этого вороха спутанных цветных ниток ни за что не вытянуть собственной нити, сколько бы ты не воображал, что она — самая главная и самая яркая. Но и то правда, что о ком бы я ни говорил, какое бы личное местоимение в ход ни пускал, всё будет в какой-то мере повествованием о себе...

(Вера Резник. Флейта)

ЯНВАРЬ

8

ВТОРНИК

Наши добродетели — продолжения чужих пороков.

Бежать из сумасшедшего дома бессмысленно: это всё равно, что бежать из одной его палаты в другую.

Есть такие события, рассказать о которых способен только немой.

Смерть болеет жизнью.

Пока пишу — надеюсь.

Брак между жизнью и смертью называется судьбой.

Небо — это увеличительное стекло, сквозь которое звёзды смотрят на нас.

Жизнь — это приключение, случившееся со смертью.

Самоубийство — кража смерти у судьбы.

Самоубийство — оборотная сторона нарциссизма.

Несчастливая любовь? Измена друга? Слава богу! Ещё одной иллюзией меньше!

Пьяный друг лучше мёртвых двух.

Совершить самоубийство — проще простого. Я делал это уже множество раз.

(Андрей Коряковцев.

Как покончить жизнь самоубийством,
не причинив вреда себе и окружающим)

Всю ночь Брауна донимали гудки локомотива, дизельного тягача, каких давным-давно уже не выпускали, одышечного и позеленевшего, громадного. Машинист сигналил не переставая. В полумраке вагонов, где какое-то подобие света распространяли только дежурные лампы, пассажиры бурчали что-то не открывая глаз, без сомнения потревоженные настойчивостью этих двух беспощадных нот, но главным образом терзаемые мрачными видениями, которые осаждали в эту эпоху любую человеческую душу, поскольку даже самые невосприимчивые знали, что человечество находится на стадии исчезновения. Одно мычание гудка сменяло другое. Чёткое либо охрипшее, в зависимости от усилия, которое прикладывала машина. Должно быть, на пути то и дело попадались естественные препятствия, растянувшиеся между рельсами люди или животные. Брау-

ну никак не удавалось заснуть. Он дремал пять минут, четверть часа, потом вновь просыпался. Когда поезд описывал кривую или маневрировал по зубчатым участкам пути, фары на несколько мгновений выхватывали рельефы, столь же безжизненные с виду, как и холмы шлака. Потом всё вновь охватывала темнота, плотная и необузданная. Ниразу едкий пучок прожекторов не застиг врасплох какое-либо проявление жизни, будь то заблудшая коза или скитающийся по обочинам беженец, тоже заплутавший или ищущий смерти. Браун вскоре перестал всматриваться во тьму. Его больше не интересовал пейзаж. Он подрёмывал, его мысли блуждали среди похожих земель, которые он видел на фотографиях в журналах, издававшихся в те времена, когда у людей ещё хватало сил и технических познаний, чтобы исследовать ближайшие планеты, во времена, когда люди как вид полагали себя навсегда привитыми от смерти и вымирания, во времена, когда они полагали себя вечными. Он посещал марсианские равнины, огибал кратеры и вереницы чернеющих дюн, потом снова оказывался на своём сиденье из обшарпанного кожаменителя, окружённый опустившимися и дурно пахнущими тенями. И снова издавала двойной гудок сирена локомотива.

Так и прошла ночь: воспоминания о гудах чёрного и белого щебня, раскатистые разгоны и кряхтение дизельного движка, тряска, запахи пота, грязного белья, назойливые, режущие ухо сигналы, полудрёма, размышления об умирающем человечестве, о чёрной войне, которая увлекла его в бездну, о невозможности возрождения, о конце.

Поезд взревел в тысячный раз и замедлился, потом покатил по мосткам, перекинутым через пересохшую реку. Металлические конструкции, железные балки и тросы вибрировали под колесами, словно на грани разрыва. Всё тряслось. Путники немедленно откликнулись на этот тарарам. Внезапно все будто поняли, на какой стадии пути находятся, и повставали со своих мест. Дыхания после стольких ча-

сов бездействия отдавали блевотиной и смертью. В сочетании с испарениями, исходившими от исподнего, всё это создавало атмосферу братской могилы. Браун дышал ею с отвращением, потом с переменным успехом начал вновь свыкаться с коллективом. Рядом с ним бритоголовый мужчина лет пятидесяти разворачивал свёрток, чтобы проверить, не обокрали ли его за ночь. Развязать узлы никак не удавалось, но он остервенело упорствовал, с подозрением поглядывая на соседей.

Браун повернулся к окну. Небо рассупонилось над утлом ровным свинцово-серым слоем, каковой почти ничего не освещал и вызывал желание вновь погрузиться в сон. Чередую тянулись холмы. Согласно карте, поскольку железная дорога шла вдоль берега, в поле зрения должен был попасть океан, но пока он оставался невидимым. Его скрывали за собой чуть тронутые травами желтоватые увалы, к которым теперь в общем и целом сводился пейзаж. Потом показались какие-то куцы лагеря, шатки сооружения из старых китайских военных грузовиков, некоторые из которых не обуглились и сохранили кое-как приспособленные в качестве крыш брезентовые навесы. От кабины к кабине тянулись верёвки с бельем. Подчас лагеря казались заброшенными, но некоторые выглядели ещё обитаемыми. По тропинкам бесцельно слонялись выжившие. Их было немного. У большинства свисали длинные косы, бившие их при ходьбе по хребту, некоторые скручивали волосы в кокон и прятали его под фетровой шляпой. Вышагивали они все неспешно, будто понимая, что это их никуда не приведёт. По пятам за ними сновали собаки, по отдельности или анархическими сворами. В деревушках сутились женщины, хлопотали над очагом и пищей. Рядом с ними не было ни грудных младенцев, ни малых детей. Два мальчугана неслись какое-то время со всех ног наперегонки с поездом, затем остановились. В отсутствие товарищей по играм им не с кем было побе-

гать взапуски. Лица у них были как у взрослых, диковинных взрослых.

Последние, подумал Браун. После них некому будет подхватить эстафету. Они состарятся в одиночестве. Будут одни. А потом никого.

В открытое окно теперь проникал свежий ветер. Снаружи для этих широт была самая что ни на есть нормальная температура, между тепло и холодно. Всё подавляла тусклость.

— Подъезжаем к Нью-Ягаяну? — спросил Браун у восседавшей напротив него матроны.

Та склонила в сторону Брауна свою не слишком любезную грузность. У неё были маленькие узкие глаза, не слишком орошаемая, слежавшаяся кожа, побледневшая от бессонницы. Её губы, подрагивая, собирались в складку, которая выражала недовольство, с трудом подавляемое отвращение, чем-то напоминая стародавние времена, когда богатею приходилось общаться с бедняком. Она сделала усилие, чтобы ответить Брауну. Наверное, воспринимая его как умственно отсталого, который заслуживает элементарного сочувствия.

— Да, вот-вот приедем, — сказала она.

— Вы подскажите, когда надо будет выходить? — сказал Браун.

Он знал, что говорит просто так, чтобы ничего не сказать. Ветка оканчивалась в Нью-Ягаине, ошибиться было невозможно.

— Не парьтесь, — сказала она.

— Поезд останется в депо для проверки на тридцать шесть часов, — вмешался пятидесятилетний, вновь затягивая узел на свёртке, который незадолго до этого наконец развязал. — Дальше он не пойдёт. Проворонить Нью-Ягаин не сможет даже полный кретин.

Он рассмеялся. В его словах сквозило желание как-нибудь оскорбить Брауна.

— Даже международный эксперт, — добавил мужчина.

Браун хотел было заметить, что он-то никак не относится к категории международных экспертов, но не нашёл слов. Его бормотание заглушил стук колёс.

— Не парьтесь, вам скажут, — сказала матрона.

— В любом случае, если это кольцо, то дальше не уедешь? — пошутил Браун.

— Там все сходят, — пояснила женщина. — Вам скажут.

Она помахала ладонью перед своей грубой физиономией, словно для того, чтобы отогнать порхающих между нею и Брауном микробов слабоумия.

Браун ответил благодарной улыбкой, потом сглотнул слюну и опустил глаза. Изображать умственное убожество было одной из рекомендуемых Организацией для прикрытия техник, но он не испытывал особой гордости от её применения. Матрона напротив него колебалась, вероятно, заметив некоторую вымученность его идиотизма, но будучи не в силах наверняка определить, насмехается ли он над ней. Потом выпрямилась на своём сиденье и недовольной гримасой и общей напряжённостью заявила о своём намерении больше с ним не разговаривать.

Браун вытащил из-под сиденья составлявший весь его багаж чемоданчик. Его соседи уже собрали свои манатки, закутались в плащи и прочее тряпье, всю ночь раскачивавшееся у них над головами. Задрапированная чёрным ворсистым габардином матрона, похоже, была зачарована тем, что медленно проплывало за окнами. Пол загромождал багаж, нельзя было пошевелить ногой, не споткнувшись о препятствие. Болтовня зачахла, а вскоре окончательно стихла. Как будто балансируя на грани перепалки, люди искоса поглядывали друг на друга, не скрывая злобы.

Поезд сохранял прежнюю скорость ещё минут пять, после чего пошёл и того медленнее. Браун увидел, как мимо проплывает широкая надпись «НЬЮ-ЯГАЯН». Теперь поезд шагом продвигался между одноэтажными домами.

Пути пересекали город. Слева, когда их не скрывали стены, виднелись серые воды океана, несколько барашков. Рейд должен был находиться самое большое в трёх сотнях метров. Появился второй указатель с названием города, выведенным большими буквами на жестяной пластине, затем колёса ужасно заскрежетали и состав замер.

Ни матрона, ни пятидесятилетний не соизволили подсказать Брауну, что поезд прибыл. Они оказались на ногах одновременно со всеми остальными, словно боясь утратить своё право на выход, они агрессивно выгребали во внезапно возникшей в коридоре толкотне. Браун последовал общему движению и был немедленно зажат между телами, подпихнут чемоданами, коленями, ноздри его затопил душок волосяных покровов, поношенных тканей и потных подмышек.

Через минуту он высадился на перрон вокзала Нью-Ягаяна, на самом деле — на уложенный на главной улице обычный бетонный настил.

(Антуан Володин. Кризис в отеле «Тон Фон»-2)

→ 12 января / 2019: Кризис в отеле «Тон Фон»-2, 2

ЯНВАРЬ

10

пятница

Рыба плавает во мгле
отражаясь на луне
тихо машет плавниками
по спине большой ползёт
на груди находит камень
как свисток его грызёт

Эль:

Человек не Бог не камень
он звезда и молоток
из ноздрей пускает пламень
и садится на цветок

что ни день дождём исходит
сито мелкое трясёт
только зря он в небе бродит
зря он бублики сосёт

Бог в подземном самолёте
с поперечною ногой
под окном царит в полёте
улетает чуть живой

Эль:

Человек лицо купает
на базар с доской идёт
там рассаду покупает
в землю ниточки кладёт

— Уходи скорей направо —
говорит ему скала
— Впереди бежит орава
с острым обликом орла

Руки сдвинул старый крест:
— Больше нет свободных мест!
Если кто желает смерти
тот её чернорабочий
только зря хвостом ты вертишь
в темноте в объятых ночи

Эль:

Человек без ног без рук
забывает тонкий крюк
и дымится на пригорке
шестиногим муравьём
погружаясь как тетёрка
в неглубокий водоём

(конец 1970-х)

...С упавшими запряжёнными в сани лошадьми вообще не ясно, что на снеговой дороге делать.

То есть мне ясно, что ничего поделаться нельзя.

На белеющем меж сугробов пустом и узком пути сплошь ледяные желваки, разъезженные снежные колеи, меж которых смерзшиеся из зернистого снега гребни, а кое-где залоснённые полозьями места. Во всё это вмёрзли или клоки сена, или какая-нибудь рванина, или лошадиный же навоз. Бульжник, хотя и в ледяной скорлупе, тоже виднеется.

И вот санный полоз попадает на несколько сено или на что-то ещё, тоже несколько, и копыто заиндевелой лошади, какое-то её копыто с болтающейся плохой подковой соскальзывает с ледяного желвака, который твёрдости базальта. Подкова отскакивает, сани скособочиваются в одну сторону, лошадь в другую! И в оглоблях, постромках, во всей упряжи валится на бок. Главный ужас события — оглобли. Вернее, та, которая над лошадью, потому что на второй она лежит и тяжело дышит, имея в глазах выглядывающую из-за ближнего столба смерть с татарскими глазами. Верхняя эта оглобля бывает расположена по-разному, и уточнять её положение нет смысла. Скажем только, что лошадь или зажата перекошенными этими жердинами, или шея её притиснута дугой, верней, дуга жмёт на хомут, а хомут не даёт шее, а значит, и лошадиной голове сдвинуться.

Вникнем же в событие. Распрячь лошадь, дабы освободить её движения, невозможно. Это бесспорно. Поднять с чьей-либо помощью — тоже никак. Соответственные лебёдки, быть может, на свете где-то есть, но в тех местах лошади не падают. Да и как такое устройство возможно доставить куда надо и когда надо?

Устроить над лошадью народное подъёмное приспособление из двух пересекающихся в виде андреевского креста или славянской буквы «хѣръ» оглобель с перекину-

тыми через их перекрестье вожжами, чтобы, соборно ухнув, хоть на чуть-чуть приподнять конягу, в нашем случае невозможно, ибо вторая оглобля — под лошадью, а даже будь она свободна, в подснежный булыжник ничего не вколотишь, да и нечем, да и на что влезать для высокого такого вколачивания?

Собравшийся народ, будь его хоть сколько, тоже лошадь не поставит. Да ещё в перепутанной упряжи и оглоблях, раскорячившихся, как соскочившие троллебуйские штанги (но это образ из других обстоятельств. Забудем его. Никаких тут штанг ни в воображении, ни в наличии быть не может).

Можно, конечно, оглобли и дугу перепилить, постромки, где выйдет, распутать, где нет — разрезать. И что дальше? К тому же — это портить добро и абсолютная фантазия.

Словом, гужевой народ в таковых обстоятельствах всегда озадачивался, а писателей рвущая душу сцена, наоборот, занимала, — поскольку у милосердия получался разнотык с безвыходностью и необходимостью. Как родовые, например, муки.

Впервые запрягши коня, люди обрекли себя на эту нравственную одноходовку, ибо не в силах человеческих что-либо поделать с упавшей лошадью. Нужна всё равно лошадиная сила.

Ну хорошо! Возница, матерясь, обошёл свою беду с морды и потянул за поводья. Это как мёртвому припарки. Лошадь пытается тянуть за поводьями шею, но сделать это не может, потому что у одного глаза — хомут, дуга, ледяной желвак, а в другом маячит татарская смерть.

И остается — бить. Но не просто, а так, чтобы конь от боли обезумел. Кнутом по глазам, сапогами под пах, дубиной по ребрам, по морде, по каждому мордину месту, и если ты возница — то есть зимой бесчувственная тварь, то стань бесчувственным тысячекратно, обнаружь

в себе дурь и злобу крепостных предтеч, заплачь дымными слезами тягиной курной избы, исплюйся ненавистью двуперстников-страстотерпцев, бей, как налима ради печенки мучают, как хлеб молотишь или как бабы щепетильно мелким крестом вышивают, и, не слабея в ударах, а, наоборот, зверея, десятерея, хренея, подливая кровь к глазам, сломав об лошажью морду кнутовище, отчего зверея ещё больше, — бей её! И уж совсем сатанея, что спичек вот нету — *тряпку* каку поджечь и под хвост ей сунуть, бей, блядь такую, бей паскудину такую, бей, мужик, понял! Чего запыхался?..

А в белое декабрьское небо глядит конёв глаз, и для убедительности «глаз» этот заимствован автором у самого Достоевского.

Конёв глаз. Конь лежа дёргается и размахивает горизонтальными ногами, чтобы хоть за что-то зацепиться. Однако вспомните помянутое в отчаянии упомянутым писателем словечко «садче!» Оно же — единственный шанс. Лошадь ведь не понимает, что нужно самой исхитриться встать, а разлеглась и татарскую смерть ждёт, и сейчас ищет увернуться от боли, и сперва колотит горизонтальными ногами, рвётся — но оглобли же! но дуга же! — вот она и машет, но задевает ногами только наледи, и когда ты уже озверел так, что страшной боли никому знать не доводилось, производит какой-то неописуемый рывок, кости у ней *хрусут*, оглобли *хрусут*, чегой-то ещё *хрусет*, а ты вдесятеро сильнее, мужик! А все кто есть, в том числе кроме Достоевского, советуют: «Садче! Садче её! — подзадоривают. — Садче!» И ты — садче. И она как вздёрнется — и встала.

(Асар Эппель. Чернила неслучившегося детства // Дроблёный сатана, 2002)

...на окружённом со всех сторон грудами собранного металлалома пятачке пляжа, маячил в птичьей позе какой-то человек. Раскорячась на китайский манер на корточках, чуть ли не касаясь ягодицами устилавшей землю тёмной гальки, он переваливался по-утиному от бахромы одной волны до кромки следующей. С одной стороны пляж ограничивала стена отбросов, с другой — стапельная установка для спуска на воду, какие использовались некогда на малых верфях. Возведена она была из бетона и, утратив все свои деревянные части, походила на руины, что лишней раз подчёркивало её полную нынешнюю бесполезность. Человек, склонившись над пенными венчиками там, где они переставали сверкать, обследовал выброшенные за ночь приливом катышки горючего. Казалось, он что-то ищет. Иногда он протягивал руку, хватал замызганный мазутом камешек или тёмно-коричневую гальку и тут же швырял её перед собой, в водовороты и мраморные узоры зыби. Качая головой, бросал камень и по-утиному перебирался на метр-другой дальше.

Браун подошёл поближе.

Человек что-то цедил сквозь зубы. Он произносил едва слышные фразы, затем раскачивался слева направо, держа ухо остро, и внезапно замечал что-то недовольным тоном или возражал, поддерживая таким образом оттеняемый паузами одинокий диалог.

У этого типа не все дома, подумал Браун. Скорее всего это тот самый диссидент, которого мне велено испытать и, если понадобится, убрать.

— Добрый день, — сказал Браун.

Тот резко обернулся и смерил Брауна взглядом, жёлтым, мрачным взглядом, полным отчаяния и подозрительности.

У него была физиономия нервической, своенравной чайки, грязные перья ерошились на щеках, на узком лбу, на затылке. Глаза не останавливались надолго на одной

и той же точке. Они обследовали Брауна, потом вернулись к океану, к ручейкам у его ног, вокруг грубых прохудившихся башмаков.

— Что вам здесь надо? — спросил он.

— Мне рассказали о вас, — осторожно заявил Браун.

— Организация? — сказал Куско.

— Да, — сказал Браун, довольный тем, что вот так, без двусмысленностей, завязывается разговор.

— Они не сообщили, как вас зовут, — произнёс Куско.

— Браун, — сказал Браун.

— Если вы пришли, чтобы вырвать у меня самокритику, Браун, должен сразу заявить, что вы её не получите, — предупредил Куско.

— Плевать мне на вашу самокритику, — сказал Браун. — Я приехал из-за отеля «Тон Фон». Я должен в этом самом отеле что-то сделать.

— Вот оно что! — воскликнул Куско. — Отель «Тон Фон»!..

<...>

— Скажите, что я должен делать в отеле «Тон Фон», — разорвал тишину Браун.

— Пойдёте туда сегодня ночью, — сказал Куско самым обычным повседневным тоном, как будто давно уже ждал этого вопроса. — Между четырьмя с четвертью и четырьмя двадцатью там произойдёт инцидент. Вы ведь из службы действия, сами поймёте, что надо делать.

— Вы видели это во сне? — спросил Браун.

— Ну да, — сказал Куско. — Во сне. Сны, по крайней мере, у нас ещё достойны доверия.

— Выкладывайте-ка подробности, — потребовал Браун, пожав плечами. — Инцидент какого рода?

— По-моему, это сон, но не уверен, — сказал Куско в некотором смущении. — Всё, что я знаю, это что вы вмешаетесь.

— Во что?

— В этот сон.

— Не понимаю, — признался Браун.

— Представится чуть ли не единственная возможность подготовить то, что наступит после потомков, — сказал Куско. — Предупреждаю, Браун, на вас ложится колоссальная ответственность.

— Не понимаю, к чему вы клоните, — пожаловался Браун. — Давайте, Куско, хватит излагать ситуацию так абстрактно. Поконкретнее. Я что, должен буду зайти в отель? Понадобится применить силу? Следует взять оружие?

— Вам случится кого-то увидеть, — сказал Куско.

— Ага, — кивнул Браун. — Кого-то.

— Надо будет пойти к нему навстречу, — запинаясь, выдавил Куско.

Теперь Куско говорил уклончиво, с недомолвками. Он нервно дёргался, заламывал перемазанные мазутом скелетоподобные руки, пританцовывал с ноги на ногу. Он явно боялся всё испортить, сообщив больше, чем нужно.

— Пойти навстречу, чтобы сделать что? Как с ним поступить? — настаивал Браун.

— Я не могу сказать вам всё, — с огорчением произнес Куско. — Вмешательство от меня не зависит. Решать будете вы.

— Но помогите всё же немного, Куско, — проворчал Браун.

— Надо будет до него добраться, — выдавил Куско.

По его телу пробежала дрожь. Браун вдруг понял, что Куско уже ничего не разглядывает, ни пенистые волны, ни агонизирующего в клее краба. Его глаза закатились, виднелись только самые краешки радужной оболочки и зрачка, цвет которых менялся от серовато- до тошнотно-жёлтого.

Он на грани сомнамбулического транса, подумал Браун. Одержимые и медиумы — вот с кем мы теперь работаем, чтобы спасти мир.

— Нужно оказаться на той же ступени, — продолжал Куско.

— О чём вы, Куско? О настоящей лестнице или снова о шкале человечности?

— Она будет там и её там не будет, надо постараться до неё дотянуться, — не отвечая, бубнил Куско.

— Вы достали меня своими загадками, — сказал Браун.

Куско сделал гневный жест, судорожное и яростное «прощай», словно хотел раз и навсегда порвать с Брауном.

Браун вновь погрузился в безмолвное созерцание океана. Он размышлял о том, как может развернуться операция в отеле «Тон Фон», а заодно взвешивал все за и против по делу Бояна Куско. Судя по всему, у Куско не осталось больше достоинств, за которые следовало бы сохранять его в Организации, но здесь, на свалке в Нью-Ягаине, он никакой угрозы не представлял. Его единственным собеседниками были, похоже, крабы. Если он и передаёт им доступную информацию, подумал Браун, им не хватит времени её воспользоваться. Они все при смерти. Дальше секреты не пойдут и так и канут.

Взгляд Брауна устремился вдаль. Ни единого суденышка. Своё присутствие в пейзаже обозначали только обломки кораблей. Маслянистые развалы округляли призраки танкеров или подорванных катеров. Ближайшие обломки принадлежали плавучей базе. Вплоть до самого горизонта царили свинцовые оттенки, а выше небо становилось светло-аспидным. По-над берегом сеялся едва заметный дождь. Оттенял все контрасты.

Этот тип — псих, но безвредный, подумал Браун.

Они больше не разговаривали. Вода перед ними билась, разбивалась, разбегалась, струилась, закипала, отступала. Издалека, из-под корпуса плавучей базы доносились плеск и глухие удары; в какой-то момент Брауну показалось, что он разобрал на обломке часть названия. «Довжен...» Напи-

сано кириллицей. Довженко, подумал Браун. Украинская фамилия.

— Ладно, — выдохнул он, поднимаясь с корточек. — Чтобы убить время, схожу-ка на экскурсию по холмам.

— Ну да, — сказал Куско с оттенком былой агрессивности. — Успешной прогулки. И до завтра.

— Почему это до завтра? — спросил Браун.

— Полагаю, вы дисциплинированный агент Организации, — заявил Куско с саркастической усмешкой. — Я — местный связной. После операции агент обязан представить отчёт местному связному, такова стандартная процедура...

(Антуан Володин. Кризис в отеле «Тон Фон»-2)

Поцелуй — и в дым, в дым,
Был он слишком молодым —
И я недолго плакала,
А на губах горчит.
И паровоз, и паровоз
Опять стучит.

Ту-ту-ту!
Мы простимся на бегу,
Три минуты — но счастливая иду.
Ту-ту-ту!
Проводник разносит чай,
Ну, до свидания, малышка,
Не скучай.

Наши речи — бред, бред,
И сюжета проще нет.
Я пою уже другому,
А на губах горчит.
И паровоз, и паровоз
Опять стучит.

Ту-ту-ту!
Мы простимся на бегу,
Три минуты — но счастливая иду.
Ту-ту-ту!
Проводник разносит чай,
Ну, до свидания, малышка,
Не скучай.

Ну куда ж ты, стой, стой,
Скоро будешь ты седой,
И у меня трясутся руки
И в глазах темно.
И паровоз, и паровоз
Охрип давно.

Ту-ту-ту!
Мы простимся на бегу,
Три минуты — но счастливая иду.
Ту-ту-ту!
Проводник разносит чай,
Ну, до свидания, малышка,
Не скучай.

(Лариса Неделяева)

Р. S. ПОСЛЕСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЯ

Знакомые и родственники Б. О.: Александра Александровна — Александра Петрова, Аркадий — Аркадий Драгомощенко, Борис Иванович — Борис Иванов, Влад — Владислав Кушев, Игорь — Игорь Чернышёв, Кирилл — Кирилл Козырев, ККК — Константин Кузьминский, Лика — Лилия Останина, Максим — Максим Кузьмин-Пригон, Никифор — Никифор Останин, Слава — Болеслав Мартынов, Швейк — Владимир Швейгольц.

Переводчики и переведённые авторы: Василий Алексеев (Пу Сун-лин), Владимир Быстров (Бернанос), Ольга Волчек (Монтерлан), Евгений Воропаев (Юнгер), Виктор Гольшев (Уайлдер), Анна Глазова и Михаил Шишкин (Вальзер), Нина Гучинская (Ангел Силезский), Григорий Дашевский (Жирар), Аркадий Драгомощенко и Владимир Кучерявкин (Уайнбергер), Алла Еланская («Изречения египетских отцов»), Николай Заболоцкий (Пшавела), Илья Кормильцев и Наталия Трауберг (Льюис), Виктор Лапицкий (Володин), Наталья Ликвинцева (Вейль), Вера Маркова (Басё, Исса), Виталий Михейкин и Елена Антонова (Гроф), Борис Пастернак (Яшвили), Зей Рахим (Кавабата), Давид Самойлов (Норвид), Дмитрий Сильвестров (Хёйзинга), Дмитрий Стукалин (Павич), Софья Тарханова и Юлиана Яхина (Бютор), Лидия Успенская (Флоровский), Елена Шварц (Махадеви), Вероника Шимановская (Уэйр) и др.

Б. М.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- А. Х. В.: Вальс-жалоба Солженицыну — 3 августа; Прославление
Олега Соханевича — 30 ноября
- Аверинцев: Надпись над конхой — 10 декабря
- Айрапетян: Толкуя слово — 22 октября
- Алейников: Элегия — 3 июля
- Ангел Силезский — 25 декабря
- Андреев: В подвале — 21 августа; Большой шлем — 12 сентября
- Barbudos: Чему учит техника — 9 ноября; Взорвать бы к чёр-
ту — 14 декабря
- Басё — 16 августа
- Бахчанян: Свои в доску объявления — 12 ноября;
- Безумие Дэниела О'Холигена — 25 августа, 3 сентября, 17 октя-
бря
- Бернанос: Униженные дети — 4 июля, 31 августа
- Бурихин: Над холмом твоего лба — 26 декабря
- Бютор: Изменение — 14 сентября, 29 сентября
- Вальзер: Прогулка — 4 октября
- Ванталов: Приобщаемся в дуракавалянию — 11 июля
- Воланд и Маргарита — 4 декабря
- Володин: Никита Курилин — 15 июля, 27 июля; Кризис в отеле
«Тон Фон»-2-9 января/2019, 12 января/2019
- Гандлевский: Осенью восьмидесятого года — 11 октября;
Сон — 21 декабря
- Горичева: Святые животные — 12 августа
- Григорьев Д.: Реки, которые нас уносят — 5 сентября; Памяти
Аронсона — 13 октября

Григорьев О.: Чиж чижу из клетки — 21 сентября

Григорян: Первый, второй и третий человек — 5 августа, 15 августа

Дети пишат Богу — 1 сентября

Дивлюсь я на небо — 1 октября

Документы: Планы ИСИ: 15 сентября; Гонорар Лихачёву — 18 сентября; Быково — 20 сентября

Драгомощенко: В лёгком теле прежнего рождения — 2 января/2019

Дхаммапада — 5 июля, 5 декабря

Евреинов: Оригинал о портретистах — 25 июля, 20 августа, 7 сентября

Елагина — 2 декабря

Ерёменко — 25 октября, 10 ноября

Жолковский: Пропп и классика — 22 августа; Тименчик-губернатор — 8 сентября

Заболоцкий: Прогулка — 14 октября; Прощание с друзьями — 31 декабря

Замечательные чудачки и оригиналы — 10 сентября, 7 ноября

Записки мелкотравчатого — 19 августа, 20 октября

Записки мракобеса: Шафаревич — 4 августа; Корчак — 6 августа; «Россия и Евразия» — 8 августа; Жабогинский — 19 октября, 13 ноября; Вебер — 30 октября; Вейль — 19 ноября

The Conception of Buddhist Nirvana — 19 сентября

Игнатова: Загляделась я в полынью — 28 декабря

Игры и задачи: Узник — 2 июля; Рети (ничья) — 2 августа; Аноним (мат в 3 хода) — 13 августа; Добрый напёрсточник — 1 ноября; День казни — 8 ноября

Избранничество в религии — 14 августа, 26 октября

Исса — 29 августа, 14 ноября

Как покончить жизнь самоубийством, не причинив вреда себе и окружающим? — 23 октября, 12 декабря, 8 января/2019

Кальпиди: Пермь — 24 августа; Две половинки — 21 октября

Canço dels enamorats — 18 августа

- Кисина: Взлётная полоса — 3 ноября
Клуб-81–24 декабря
Козырева: Девочка перед дверью — 6 июля
Кондратьев: Путешествие Луки — 25 сентября; Нигилисты — 16 ноября
Корвин: Император — 24 июля
Котлован — 5 января/2019
Кривулин: Приказано трезветь — 9 июля
Кубик Рубика — 1 августа
Кудряков: Радуга под левым предсердием — 11 ноября
Кузмин: Переселенцы — 18 октября
Кузьмин-Пригон: Разговоры — 7 октября
Кушлина: Вильгельм Вильгельмович — 27 сентября; Считалки с Богом — Николай Угодник — 18 декабря
- Летцев: Имена — 23 июля, 23 сентября
ЛО ИИЕТ АН СССР — 28 июля
- Льюис: Размышления о псалмах — 22 ноября, 29 ноября; Чудо — 6 января/2019
- Марков: Неизвестный писатель Ремизов — 7 июля, 26 ноября; Чучело совы — 1 января/2019
Миронов — 16 июля
Молот: Вечна воля возврата — 30 декабря
Монтерлан: Дневники 1930–1944—18 июля, 7 августа
Мост короля Людовика Святого — 20 июля
- Назаров — 6 ноября
Насилие и священное — 4 ноября
Неделяева: Был оркестр в ударе — 27 октября; Поцелуй — и в дым, в дым — 13 января/2019
Новейший Плутарх: Пшедомбский — 14 марта; Авалокитешвара-Чхандогия — 11 апреля; Бенито — 8 мая; Филиппов — 16 июня
- Один в океане — 13 декабря
Осень Средневековья — 2 сентября, 9 октября, 24 октября
Открыл Америку: Роза Азора — 28 августа

- Парадокс об актёре — 31 июля, 5 октября
Пелевин: Жёлтая стрела — 23 ноября
Петров: Круг — 31 октября
Письма: Нишанбаевой — 29 июля, 17 августа; от Кузьминско-го — 30 сентября; от Гаспарова Чудаковой — 3 октября; от Ленковой — 25 ноября; от Седаковой — 7 декабря; Эпштейну — 11 декабря; Кастанеде — 17 декабря; Козыревой — 27 декабря
Письма из Америки — 29 октября, 6 декабря, 15 декабря
Поэты группы «Мухомор»: Девушка-кондитер — 28 сентября
Притчи: Петух — 17 сентября; Об управлении царством — 17 ноября; А теперь посидим — 20 ноября; Что есть счастье? — 8 декабря; Обретший гармонию — 29 декабря
Пшавела — 10 июля, 26 июля
Пунктиры — 9 августа, 13 сентября
500 блюд для северян — 28 октября, 16 декабря
- Равдоникас: Исчисляющий слух — 11 августа; В сознании мастера (о Сорокине) — 28 ноября
Рассказ странника — 24 июня
Резник: Флейта — 7 января/2019; Из жизни Петрова — 19 июля; Марфуша — 30 августа; Захватывающая радость — 21 ноября
Рецензии (Кислов) — 14 июля
Русский бог Никола — 19 декабря
Рясов: Пустырь — 15 октября, 5 ноября, 23 декабря
- Самodelки: Почти ничего — 8 июля; Камень — Петру — 12 июля; Я поднимаю слово ИРФА — 10 августа; Ли Бо — Калигула — 9 сентября; Паркетное домино — 6 октября; Метро с эскалаторами — 18 ноября; Читаю Бодрийяра — 24 ноября; Trattini — 27 ноября; Жених кудрявый молодой — 20 декабря; Сидя у окна — 3 января/2019; Рыба плавает во мгле — 10 января/2019
Самойлович — 1 июля
Санников — 4 января/2019
Селищев — 15 ноября
Скидан: Речь о Кондратьеве — 22 сентября
Советские цены — 4 сентября

Сорокин: Народ безмолвствует — 16 января; Летний Сад — 6 сентября

Соханевич — 23 августа

Спирихин: Деревянная подложка — 30 июля, 27 августа; Кони-на — 3 декабря, 9 декабря

Трагедия и комедия — 26 августа

Улановская: Осенний поход лягушек — 12 октября

Флоровский: Затруднения историка христианина — 21 июля

Фолкнер: Медведь — 24 сентября

Хайдарова: Записки из Грайсфельда — 10 октября, 1 декабря

Цзацзуань — 2 октября

Чаваньга и окрестности — 17 июля

Челеста Бартока — 16 сентября

Чоран: Горькие силлогизмы — 22 декабря

Чудиновская: Тризна — 11 сентября; Мы исчезнем — 16 октября

Эппель: Облако, сарай — 13 июля; Упавшая лошадь — 11 января/2019

Эхо Нарцисса — 22 июля

Яшвили — 26 сентября

СОДЕРЖАНИЕ

Книга-календарь
(1 июля 2018 года — 13 января 2019 года)

Р. С. Послесловие составителя

Алфавитный указатель

Литературно-художественное издание

Останин Борис Владимирович

ТРИДЦАТЬ СЕМЬ И ДВА

**Схемы, мифы, догадки, истории
на каждый день 2018 года с 7 января**

Вторая половина

Художественный редактор *Е. Саламашенко*
Корректор *Л. Иванова*
Верстка *М. Залиева*

Подписано в печать 30.11.2017.
Формат издания 60×90 1/16. Усл. печ. л. 24,0.

Издательство «Пальмира».
197022, Санкт-Петербург,
Инструментальная ул., д. 3, лит. К.

Отпечатано: Акционерное общество
«Г8 Издательские Технологии».
109316, Москва, Волгоградский пр., д. 42, корп. 5.
Тел.: 8 (499) 322-38-30.
www.letmeprint.ru

12+ | Издание не рекомендуется детям младше 12 лет